

- [Кнут Гамсун](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке TheLib.Ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Кнут Гамсун
Мистерии

Весьма загадочные события произошли прошлым летом в маленьком норвежском городке на побережье. Неожиданно для всех там появился какой-то странный тип, некто Нагель, натворил невесть что и исчез так же внезапно, как и прибыл. Однажды к нему даже приехала таинственная молодая дама, одному богу известно зачем, и уехала спустя несколько часов, не решаясь, видимо, дольше задерживаться. Впрочем, все началось не с этого...

Все началось с того, что часов в шесть вечера к пристани причалил пароход, и на палубу вышли несколько пассажиров, среди них – господин в желтом костюме и белой бархатной кепке. Это было несомненно 12 июня, потому что на многих домах в тот день развевались флаги по случаю помолвки фрекен Хьеллан, а об этой помолвке объявили именно 12 июня. Посыльный гостиницы «Централь» быстро поднялся на борт, и пассажир в желтом костюме указал ему на свой багаж; потом он предъявил билет боцману, стоявшему у трапа, но, вместо того чтобы сойти на берег, принялся расхаживать взад-вперед по палубе. Видно было, что он сильно взволнован. И только когда пароход прогудел третий раз, господин в желтом костюме спохватился, что еще не заплатил по счету в ресторане.

Он побежал было расплачиваться и вдруг заметил, что пароход уже отвалил от причала. На мгновение он застыл в растерянности, но тут же помахал посыльному и крикнул, подойдя к перилам палубы:

– Ладно, доставьте мои вещи в гостиницу и приготовьте мне номер!..

А пароход тем временем шел в глубь фьорда.

Человека в желтом костюме звали Юхан Нильсен Нагель.

Посыльный погрузил на тележку его багаж, состоявший всего-навсего из двух небольших чемоданов и шубы – да, шубы, хотя лето было в разгаре, – а кроме того, саквояжа и скрипки. Ни на одной из вещей не было монограммы владельца.

На другой день около полудня Юхан Нагель подкатил к гостинице в карете, запряженной парой лошадей. С тем же успехом он мог бы вернуться пароходом, это было бы даже куда удобнее, но он почему-то предпочел карету. При нем оказался еще кое-какой багаж: на переднем сиденье стоял чемодан, рядом лежали дорожная сумка, пальто и портплед, набитый какими-то вещами. На ремнях, стягивающих портплед, были вытиснены инициалы Ю.Н.Н.

Еще не успев выйти из кареты, он спросил хозяина гостиницы, приготовлен ли для него номер, а когда его отвели на второй этаж, он тут же принялся осматривать стены комнаты, выясняя, достаточно ли они толсты и не будет ли до него доноситься шум от соседей.

Потом он вдруг спросил служанку:

– Как вас зовут?

– Сара.

– Сара. – И тут же: – Я могу здесь перекусить? Так вас, значит, зовут Сара. Послушайте, – продолжал он, – не была ли в этом доме прежде аптека?

– Была, но много лет тому назад.

– Так, так... Много лет тому назад, говорите. Да, здесь была аптека, я понял это, как только вошел в коридор. Не то чтобы я уловил какой-то запах, но все же как-то сразу почувствовал... Да, да.

Во время еды он не проронил ни единого слова. Те два господина, которые накануне вечером вместе с ним прибыли сюда на пароходе, а теперь сидели за дальним концом стола, перемигнулись и даже позволили себе пошутить над его вчерашней незадачей, но он сделал вид, что ничего не слышит. Он быстро поел, отрицательно покачал головой, когда ему подали десерт, и вдруг, повернувшись винтом, стремительно вскочил. Затем он порывисто закурил сигару, выбежал на улицу и исчез.

Отсутствовал он очень долго и вернулся в гостиницу поздно ночью, за несколько минут до того, как часы пробили три. Где он был? Позже выяснилось, что он ходил в соседний городок и проделал пешком, причем туда и обратно, весь тот долгий путь, который в то же утро проехал в карете. Вероятно, у него там было неотложное дело. Когда Сара отворила ему дверь, она увидела, что он весь взмок от пота. Все же он улыбнулся девушке и явно был в превосходном настроении.

– Бог мой, какой у вас роскошный затылок, детка! – воскликнул он. – Не приносили ли мне, пока я отсутствовал, почту? Нагелю, Юхану Нагелю? Ух ты! Сразу три телеграммы! Послушайте, сделайте мне личное одолжение: уберите, пожалуйста, вон ту картину, чтобы она не мозолила мне глаза. Такая тоска лежать в постели и все время на нее глядеть. Ведь у Наполеона III вовсе не было зеленой бороды. Премного благодарен!

Когда Сара вышла, Нагель остановился посреди комнаты. Он стоял, не двигаясь. Отсутствующим взглядом уперся он в одну точку на стене. Он словно застыл, и только голова его все больше и больше склонялась набок. Так простоял он очень долго.

Роста Нагель был ниже среднего, лицом смугл, а его странный тяжелый взгляд не вязался с тонко очерченным женственным ртом. Был он широкоплеч, на вид лет двадцати восьми – тридцати. Во всяком случае, никак не старше тридцати, хотя виски его уже были чуть тронуты сединой.

И вдруг, разом, Нагель очнулся от своей задумчивости; движение, которое он при этом сделал, было таким неестественно резким, что выглядело нарочитым; можно было подумать, будто он так долго пребывал в оцепенении только для того, чтобы как можно более эффектно из него выйти, хотя и был один в комнате. Затем он вынул из кармана брюк ключи, мелочь и какую-то медаль на жалкой ленточке, вроде тех, что дают за спасенье на водах, все эти предметы он разложил на тумбочке возле кровати, а бумажник сунул под подушку, потом извлек из кармана жилета часы и пузырек с наклейкой «Яд». Прежде чем положить часы на тумбочку, он с минуту держал их на ладони, но пузырек поспешно снова сунул в карман. Потом снял с пальца кольцо и умылся; волосы он небрежно откинул назад рукой, причем в зеркало даже и не взглянул.

Нагель уже лежал в постели, когда вдруг спохватился, что оставил кольцо на умывальнике; он тут же вскочил, словно не мог обойтись без этого грошового железного колечка, и надел его на палец. Наконец он распечатал все три телеграммы, но не успел дочитать до конца и первой, как у него вырвался короткий глухой смешок. Так он лежал один в комнате и смеялся. Зубы у него были на редкость красивые. Потом его лицо стало снова серьезным, и он отшвырнул все три телеграммы с полнейшим равнодушием. В них

говорилось, однако, о весьма важном деле, речь шла ни много ни мало о шестидесяти двух тысячах крон за имение, более того, предлагалось выплатить всю эту сумму незамедлительно и наличными в случае, если сделка состоится безотлагательно. В этих сухих кратких деловых телеграммах решительно не было ничего смешного; ни под одной из них не стояло подписи. Спустя несколько минут Нагель уже спал. Две свечи, которые он забыл погасить, освещали его грудь и гладко выбритое лицо, неяркий свет падал и на распечатанные телеграммы, валявшиеся на столе...

На другое утро Юхан Нагель отправил посыльного на почту, и тот принес ему пачку газет, в том числе и иностранных. Но писем не было. Футляр со скрипкой Нагель положил на стул посреди комнаты, словно специально для того, чтобы все обращали на него внимание, но футляр он так и не раскрыл и к инструменту не притронулся.

Все утро он ничем не занимался, не считая того, что писал письма да читал какую-то книгу, расхаживая взад-вперед по комнате. Потом он вышел на улицу и купил в соседней лавчонке пару перчаток, а когда случайно забрел на рынок, отдал десять крон за рыжего щенка, которого тут же преподнес хозяину гостиницы. Щенка он, всем на потеху, назвал Якобсеном, несмотря на то, что щенок этот оказался к тому же сучкой.

Таким образом, весь день он, собственно говоря, ничем не был занят. Дел в городе у него никаких не было, визитов он никому не наносил, ничьих контор не посещал и, видно, не знал здесь ни души. В гостинице были несколько удивлены его явным равнодушием ко всему, даже к своим личным делам. Все три телеграммы по-прежнему валялись распечатанными на столе в его номере – он не прикоснулся к ним с того вечера, как их получил. Умел он также не отвечать на прямой вопрос. Хозяин дважды пытался выяснить у него, кто он такой и для чего пожаловал к ним в город, но оба раза Нагель уклонился от ответа. В этот день разнесся слух еще и о другой его странной выходке. Хотя он в городе ни с кем не был знаком, он позволил себе остановиться у кладбищенских ворот перед одной из здешних молодых барышень и очень низко ей поклонился, чем заставил ее густо покраснеть. После этого дерзкий незнакомец, ни словом не объяснив своего странного поведения, свернул на проезжий тракт, миновал пасторскую усадьбу и углубился в лес. Впрочем, этот путь он

продельывал и все последующие дни. И с этих прогулок он так поздно возвращался в гостиницу, что всякий раз для него приходилось отпирать уже запертые на засов двери.

На третий день утром, как раз когда Нагель выходил из своего номера, его остановил хозяин гостиницы, учтиво поклонился ему и сказал несколько любезных слов. Они вместе проследовали на веранду, сели друг против друга, и хозяин завел разговор о том, что намерен послать в другой город ящик свежей рыбы.

– Не посоветуете ли вы мне, как лучше всего отправить этот ящик?

Нагель взглянул на ящик, улыбнулся и покачал головой.

– Увы, я не разбираюсь в таких делах, – ответил он.

– Жаль. А я думал, что вы много путешествуете и знаете, как это обычно делается.

– О, нет, что вы, я совсем мало путешествую.

Пауза.

– Видимо, вы занимаетесь э... другими вещами. Вы коммерсант?

– Нет, я не коммерсант.

– Выходит, не дела привели вас в наш город?

Ответа не последовало. Нагель закурил сигару; он не спеша выпускал дым и глядел на небо. Хозяин наблюдал за ним.

– Не поиграете ли вы нам как-нибудь? Я видел у вас скрипку, – сказал хозяин, пытаясь снова завязать разговор.

– Нет, я давно не играю, – равнодушно ответил Нагель.

Вслед за этим он, не произнеся больше ни слова, встал и ушел. Но минутой спустя он вернулся и сказал:

– Послушайте, я вот о чем подумал: вы можете дать мне счет, когда пожелаете. Мне решительно все равно, когда платить.

– Благодарю вас, но это не к спеху, – ответил хозяин. – Если вы к нам надолго приехали, мы сделаем скидку. Я ведь не знаю, намерены ли вы здесь задержаться или нет.

Нагель вдруг оживился и поспешно ответил, причем лицо его безо всякой видимой причины вдруг слегка покраснело.

– Да, не исключено, что я проживу здесь некоторое время, – сказал он. – Все зависит от обстоятельств. А *propos*, я, возможно, вам еще этого не говорил: я агроном, сельский житель, сейчас возвращаюсь из путешествия и вполне вероятно, что задержусь здесь

у вас. Возможно также, я забыл вам представиться... Зовут меня Нагель, Юхан Нильсен Нагель.

При этом он подошел к хозяину, сердечно пожал ему руку и попросил извинить за то, что еще до сих пор не представился. На лице его не было и тени иронии.

– Мы могли бы вам предложить лучшую, более тихую комнату. Ведь ваш номер – у самой лестницы, это не всегда приятно.

– Нет, премного благодарен, в этом нет нужды. Комната у меня прекрасная, я вполне ею доволен. К тому же окно выходит на рынок, а это весьма забавное зрелище.

Хозяин помолчал немного и сказал:

– Значит, вы располагаете временем. Как я понял, вы намерены прожить здесь уж, во всяком случае, все лето?

– Два-три месяца наверняка, а быть может, и дольше. Точно я сам еще не знаю. Все зависит от обстоятельств. Поживем – увидим.

Тут мимо них прошел какой-то человек и поклонился хозяину гостиницы. Вид у этого человека был жалкий; он был очень мал ростом и крайне бедно одет. Казалось, он хромал на обе ноги, и каждый шаг давался ему с величайшим трудом, но все же передвигался он довольно быстро. Хотя он и поклонился очень низко, хозяин в ответ даже не поднял руки, чтобы коснуться своей шляпы. Нагель, напротив, тут же снял свою бархатную кепку.

Хозяин взглянул на Нагеля и объяснил:

– Этого человека у нас прозвали «Минутка». Он малость тронутый, но его очень жалко, в сущности, это добрейшая душа.

Вот и все, что было сказано тогда о Минутке.

– Я прочел, – начал вдруг Нагель, – несколько дней назад я прочел в газете, что где-то здесь в лесу нашли мертвеца. Кто был этот несчастный? Его фамилия Карлсен, если я не ошибаюсь? Он что, местный?

– Да, – ответил хозяин, – он сын одной здешней женщины, которая ставит больным пиявки, вон их красная крыша, там, внизу. Он приехал домой на каникулы и вдруг, ни с того ни с сего, наложил на себя руки. Это весьма прискорбно – юноша подавал большие надежды и вот-вот должен был стать пастором. Не знаешь, что и подумать, как-то не все тут до конца ясно. У него перерезаны вены на обеих руках, поэтому в несчастный случай поверить трудно. Теперь нашли и нож,

маленький перочинный ножик с белой ручкой. Полиция отыскала его только вчера поздно вечером. Скорей всего какая-то любовная история.

– Вот как? Да неужели еще кто-нибудь сомневается в том, что это самоубийство?

– Всегда надеешься на лучшее. Я хочу сказать, что есть люди, которые придумали такое объяснение: дескать, шел он, держа в руках раскрытый ножичек, споткнулся и упал, да так неудачно, что вспорол себе вены на обеих руках. Ха, ха, ха! Я полагаю, что в это трудно поверить, весьма трудно поверить. Но его, конечно, похоронят на кладбище. Нет, мало вероятно, что он просто споткнулся.

– Вы сказали, что нож нашли только вчера вечером. Разве он не лежал рядом с покойником?

– Нет, он валялся в нескольких шагах. Бедняга, должно быть, отшвырнул его прочь, распоров себе вены. Этот ножик нашли совершенно случайно.

– Вот как! Но какой ему был резон швырять нож, если он лежал со вскрытыми венами, ведь и так каждому понятно, что это невозможно сделать без ножа.

– Да, одному только богу известно, что у него было тогда на уме. Но как я вам уже говорил, это скорей всего какая-то любовная история. Сущее безумие! Чем больше я об этом думаю, тем ужаснее мне все это представляется!

– А почему вы считаете, что это любовная история?

– По многим причинам. Впрочем, утверждать здесь что-либо определенное трудно.

– А разве нельзя допустить, что он упал, ненароком споткнувшись? Ведь он лежал в такой дикой позе – ничком, лицом в луже, если я не ошибаюсь.

– Да, и он был весь в грязи. Но это еще ни о чем не говорит. Быть может, он хотел таким образом скрыть следы предсмертных мук на своем лице? Как знать...

– А он не оставил какой-нибудь записки?

– Он как будто на ходу писал что-то; впрочем, он частенько делал какие-то заметки, прогуливаясь по этой дороге. Вот люди и думают, что он раскрыл перочинный ножичек, чтобы очинить карандаш, или что-нибудь в этом духе, но споткнулся и упал, полоснув себя при этом

ножиком сперва по одной руке, а потом и по другой, причем оба раза аккурат у пульса, и все это в один и тот же миг! Ха-ха-ха! Но что-то вроде записки он все-таки оставил – в сжатом кулаке у него оказался клочок бумаги, на котором было написано: «Пусть будет сталь твоя такую же разящей, как „нет“ последнее твое».

– Что за чушь! А ножик был тупой?

– Да, тупой.

– Почему же он заранее его не наточил?

– Потому что это был не его нож.

– А чей же?

Хозяин медлит, но потом все же отвечает:

– Это был нож фрекен Хьеллан.

– Фрекен Хьеллан? – переспрашивает Нагель и, помолчав, снова задает вопрос: – Ну, а кто такая фрекен Хьеллан?

– Дагни Хьеллан, дочь нашего пастора.

– Вот как! Любопытно. Кто б мог подумать! Что, этот юноша был так сильно в нее влюблен?

– Да, что и говорить! Впрочем, в нее все влюблены, не он один.

Нагель погружается в свои мысли и больше ничего не спрашивает. Тогда хозяин прерывает молчание:

– То, что я вам сейчас рассказал, тайна, и я прошу вас...

– Да, да, конечно, – перебивает его Нагель. – Вы можете быть совершенно спокойны.

Когда Нагель вскоре после этого разговора пошел завтракать, хозяин уже стоял посреди кухни и хвастался, что ему удалось наконец-то толком поговорить с желтым господином из седьмого номера. Он агроном, сообщил хозяин, и только что вернулся из заграничного путешествия, говорит, что собирается прожить здесь несколько месяцев, в общем, бог его знает что это за человек.

Вечером того же самого дня случилось так, что Нагель познакомился с Минуткой. Между ними произошел нудный нескончаемый разговор, длился он битых три часа, не меньше. Вот как все это было, от начала и до конца.

Юхан Нагель сидел в кафе гостиницы и просматривал газету, когда в зал вошел Минутка. Другие столики тоже были заняты. За одним сидела грузная крестьянка с красно-черной вязаной шалью на плечах. По всей видимости, Минутку здесь хорошо знали, и хотя он вежливо поклонился во все стороны, присутствующие встретили его громкими возгласами и смехом. Даже крестьянка поднялась со своего места и сделала вид, будто хочет пуститься с ним в пляс.

– В другой раз, в другой раз, – бормочет он, уклоняясь от приглашения, и, направившись прямо к хозяину, обращается к нему, теребя в руках шапку:

– Я перетаскал уголь наверх, на кухню. Верно, сегодня уже нет больше работы?

– Конечно, нет, какая еще может быть работа сегодня?

– Конечно, нет, – повторяет Минутка и боязливо пятится.

Он был на редкость уродлив. Правда, у него были кроткие голубые глаза, но отвратительные передние зубы устрашающе торчали из-под губы. Особо отталкивающее впечатление производила его дергающаяся походка – результат давнего увечья. Волосы у него были с сильной проседью, а борода еще темная, но такая редкая, что сквозь нее просвечивала кожа. В прошлом этот человек был моряком, а теперь жил у родственника, который держал небольшую торговлю углем у пристани. Минутка почти никогда, а может быть, и вообще никогда не поднимал глаз на того, с кем говорил.

Его окликает какой-то господин в сером летнем костюме, сидящий за одним из столиков, энергичными жестами подзывает к себе и показывает на бутылку с пивом.

– Подойдите-ка сюда и выпейте стаканчик этого молочка для младенцев! Да еще мне хотелось бы посмотреть, как вы будете выглядеть без бороды, – говорит он.

Почтительно склонив голову, все еще теребя шапку в руках, Минутка направляется к столику, с которого его окликнули. Проходя мимо Нагеля, он кланяется ему и беззвучно шевелит губами. Он останавливается перед господином в сером и шепчет:

– Не так громко, господин поверенный, прошу вас. Вы же видите, здесь присутствуют посторонние.

– Бог ты мой, я хочу лишь угостить вас стаканом пива, а вы ругаете меня за то, что я слишком громко говорю.

– Вы меня не так поняли. Прошу извинения, но в присутствии чужих мне бы не хотелось, чтобы начинались старые шутки. Да и пить пиво я не могу, сейчас не могу.

– Что за новости! Вы не можете выпить пива? Не можете?!

– Нет, благодарю вас, не сейчас.

– Вы не сейчас меня благодарите? Позвольте, а когда же вы меня благодарите? Ха-ха-ха! Ведь вы сын пастора. Следите за своей речью.

– Вы меня не так поняли, но что поделаешь...

– Бросьте, не валяйте дурака. Что это с вами случилось?

Поверенный силком сажает Минутку на стул, тот покорно сидит несколько мгновений, но потом вскакивает.

– Нет, отпустите меня, – просит он, – я не в состоянии пить. Я теперь переношу питье еще хуже, чем прежде, бог его знает почему. Я и опомниться не успеваю, как уже пьян, пьян в стельку.

Поверенный встает, пристально глядит на Минутку, сует ему в руку стакан и приказывает:

– Пейте!

Пауза. Минутка поднимает глаза, откидывает со лба волосы и долго молчит.

– Хорошо, чтобы вам угодить. Но только несколько плотков, – добавляет он. – Я лишь пригублю, чтобы иметь честь с вами чокнуться.

– Пейте до дна! – кричит поверенный и отворачивается, чтобы не расхохотаться.

– Нет, до дна я не смогу. Никак не смогу. Почему я должен пить пиво, если моя утроба его не принимает? Не сердитесь на меня, не хмурьте из-за этого брови. Ну хорошо, я готов выпить все до дна, если уж вы так настаиваете. Надеюсь, пиво не ударит мне в голову.

Смешно, конечно, но я совсем не переношу спиртного. Ваше здоровье!

– Пейте до дна, до дна! – снова орет поверенный, – все, до капли! Вот так, это я понимаю. Ну-с, а теперь присядьте и начните корчить рожи. Для начала поскрипите немного зубами, а потом я отрежу вам бородку, и вы сразу помолодеете на десять лет. Но для начала – поскрежещите зубами!

– Нет, не буду я этого делать, не могу в присутствии чужих людей. Вы не должны этого требовать. Я в самом деле не буду, – говорит Минутка и поднимается, чтобы уйти. – Да и времени у меня нет, – добавляет он.

– Нет времени? Вот беда! Ха-ха-ха! Да, беда, ничего не скажешь. Времени нет, говорите?

– Да, сейчас нет.

– Послушайте, а что, если я вам скажу, что давно уже намерен купить вам новый сюртук взамен вот этого старья... Дайте-ка пощупать, да он ни к черту не годен. Глядите сами! Пальцем дотронешься, и ему конец. – Поверенный ткнул пальцем в маленькую дырочку в сюртуке. – Вот видите, материя так и ползет, совсем истлела. Нет, вы только поглядите, поглядите сами!

– Оставьте меня, Христом-богом молю! Что я вам сделал? И не рвите мой сюртук.

– Да говорят же вам, что я завтра подарю вам новый. Я обещаю вам это в присутствии – дайте-ка посчитать – раз, два, три, четыре... семь – в присутствии семи человек! Да что это с вами сегодня? Надулся, сердится! Готов нас всех растоптать. Да, да, готов! И все из-за того, что я, видите ли, посмел дотронуться до его сюртука.

– Извините меня. Я вовсе не сержусь. Вы же знаете, я стараюсь угодить вам во всем, но...

– Ну так угодите мне и сядьте вот сюда.

Минутка откидывает со лба прядь седых волос и садится.

– Вот и хорошо. А теперь угодите мне еще раз и поскрежещите немного зубами.

– Нет, этого я делать не буду.

– Значит, не будете? Да или нет?

– Боже милостивый, что же я вам такого сделал? Оставьте меня, пожалуйста, в покое. Почему я должен быть для всех шутком

гороховым? Вот тот незнакомый господин глядит в нашу сторону, я это заметил, он не сводит с нас глаз, и, должно быть, тоже потешается. Как только вы сюда приехали, чтобы занять место поверенного, в первый же вечер доктор Стенерсен научил вас издеваться надо мной. А теперь вы даете такой же урок вон тому господину. Один учит этому другого.

– Так как же, да или нет?

– Нет! Слышите вы, нет! – кричит Минутка и вскакивает со стула. Но, словно испугавшись своего отчаянного поступка, он тут же вновь плюхается на стул и бормочет: – Да я уже и не могу скрежетать зубами, поверьте мне.

– Не можете? Ха-ха-ха! Еще как можете! Вы отлично скрежете зубами!

– Богом клянусь – не могу.

– Ха-ха-ха! Вы же в тот раз скрежетали.

– Да, но тогда я был пьян, я ничего не помню, у меня все плыло перед глазами. А после я два дня болел.

– Что правда, то правда, – говорит поверенный, – вы тогда были пьяны, с этим я не спорю. Но к чему, позвольте вас спросить, вы болтаете об этом при посторонних? Этого я от вас не требовал.

Тут хозяин выходит из кафе. Минутка молчит. Поверенный глядит на него и спрашивает:

– Ну, так как же? Долго прикажете ждать? Вспомните о новом сюртуке.

– Я о нем помню, – отвечает Минутка, – но я не хочу и не могу больше пить. Так и знайте!

– Можете и хотите! Слышите, что я говорю? Можете и хотите – говорю я. А если нет, я сам волью вам пиво в плотку...

С этими словами поверенный вскакивает с места, держа стакан Минутки в руках.

– Открывайте пасть! Живо!

– Видит бог, я не хочу больше пива! – кричит Минутка, бледный от волнения. – И никакая сила на свете не заставит меня больше пить. Вы должны извинить меня, но мне делается дурно от пива. Вы даже представления не имеете, как мне потом бывает худо. Сжальтесь надо мной, умоляю вас. Уж лучше... лучше я поскрежущу зубами без пива.

– Что ж, это другое дело. Это, черт возьми, совсем другое дело, если вы готовы скрежетать всухую.

– Да, уж лучше я поскрежешу просто так, без пива...

И Минутка под пьяный хохот присутствующих принимается наконец скрипеть своими ужасными зубами. Нагель, по-видимому, все еще читает газету. Он сидит совершенно неподвижно на своем месте у окна.

– Громче, громче! – орет поверенный. – Скрежещите громче, а то мы вас не слышим.

Минутка сидит на стуле прямо, вцепившись руками в сиденье, словно боится упасть, и скрипит зубами столь усердно, что голова у него трясется от напряжения. Присутствующие хохочут, крестьянка заливается так, что слезы текут у нее из глаз, она просто заходится от смеха и даже два раза харкает на пол, просто так, от восторга.

– Боже праведный, вот умора... Умрешь от смеха! – стонет она. – Ну и шутник этот поверенный...

– Все! Громче не могу, – говорит Минутка, – в самом деле не могу, бог мне свидетель! Поверьте, у меня больше нет сил.

– Нет уж, нет... Отдохните немножко и валяйте снова. Поскрежетать зубами вам еще придется. А потом мы вас побреем. Выпейте-ка пиво. Пейте, пейте, вот ваш стакан.

Минутка качает головой и молчит. Тогда поверенный вынимает кошелек и, положив на стол монету в двадцать пять эре, говорит:

– Прежде вы это делали за десять эре, но мне не жаль заплатить четвертак. Видите, я повышаю ваш гонорар. Вот!

– Отступитесь от меня. Я больше не могу.

– Не можете? Вы отказываетесь?

– Боже мой, боже мой, да перестаньте же наконец издеваться надо мной! Даже ради нового сюртука я не буду больше вас потешать. Я ведь тоже человек. Что вы от меня хотите!

– Ну-с, вот что я вам скажу: видите, я стряхиваю пепел с моей сигары в ваш стакан, затем беру эту обгорелую спичку и одну новую спичку, и все это тоже бросаю туда... А теперь я ручаюсь, что вы все же выпьете этот стакан до дна. Выпьете все, до последней капли, ясно?

Минутка вскакивает, он весь дрожит, седая прядь снова падает ему на лицо. Не мигая, глядит он в глаза поверенному. Проходит

несколько секунд.

– Ну, будет, будет! – восклицает крестьянка. – Хватит с него! Ха-ха-ха! Помилуй бог!

– Итак, вы не хотите? Вы отказываетесь? – спрашивает поверенный.

Минутка делает над собой невероятное усилие, чтобы что-то сказать, но не может. Все глядят на него.

И тогда вдруг встает Нагель, не спеша кладет на стол газету и медленно идет от своего столика у окна через зал. Он не произносит ни слова, но все же привлекает к себе всеобщее внимание. Он останавливается возле Минутки, кладет ему руку на плечо и говорит громко и звучно:

– Если вы возьмете свой стакан и выплеснете его в лицо этому щенку, я дам вам десять крон и всю ответственность за этот поступок возьму на себя.

Нагель указывает на поверенного, чуть не ткнув пальцем ему в лицо, и повторяет:

– Я говорю про этого вот щенка...

В кафе становится совсем тихо. Минутка испуганно смотрит то на одного, то на другого и бормочет:

– Но... нет... но?..

Больше он ничего не в силах произнести, но эти слова он повторяет все снова и снова дрожащим голосом так, словно задает вопрос. Все молчат. Поверенный, опешив, отступает на шаг, хватается за спинку стула; бледный как полотно, он тоже не произносит ни звука, хоть рот у него открыт.

– Повторяю, – отдельно и громко продолжает Нагель, – я дам вам десять крон, если вы выплеснете свой стакан в физиономию этому щенку. Вот эти деньги, они у меня в руке. Последствий этого поступка вам тоже опасаться нечего.

И Нагель действительно протягивает Минутке десятикрановую бумажку.

Но Минутка ведет себя в высшей степени странно. Ни слова не говоря, он устремляется в дальний угол кафе, ковыляет через весь зал и садится там на пол. Он сидит скрючившись, притиснув к себе колени, опустив голову, и боязливо озирается по сторонам.

Тут дверь кафе отворяется и в зал входит хозяин. Он возится за стойкой, не обращая никакого внимания на посетителей. И только когда поверенный вдруг испускает истошный, почти безумный вопль и, подняв обе руки, бросается на Нагеля, хозяин поднимает голову и спрашивает:

– Что здесь в конце концов происходит?

Но никто ничего не отвечает. Поверенный дважды в бешенстве кидается на Нагеля, но оба раза наталкивается на его сжатые кулаки. Ударить Нагеля ему так и не удается. От сознания своего бессилия он окончательно теряет голову и принимается нелепо размахивать руками, словно желая всех и вся уничтожить; в конце концов он бочком пятится к столику, спотыкается о табурет и падает на колени; он задыхается, бессильная ярость делает его неузнаваемым; кроме того, он ссадил себе в кровь руки об эти железные кулаки, которые повсюду встречали его бестолковые удары. В кафе поднимается суматоха, крестьянка и ее спутники кидаются к дверям, а остальные кричат, перебивая друг друга, и пытаются помешать драке. Наконец поверенному удается снова подняться на ноги. Он подходит к Нагелю, останавливается перед ним и, вытянув вперед руки, начинает в комическом исступлении вопить, не находя слов, чтобы выразить свое отчаяние:

– Распроклятый!.. Черт бы тебя подрал!.. Мерзавец!..

Нагель глядит на него, улыбается, подходит к его столику, берет лежащую на нем шляпу и с поклоном протягивает ее поверенному. Тот порывисто хватается шляпу с явным намерением швырнуть ее в лицо обидчику, но почему-то одумывается и с маху нахлобучивает ее себе на голову. Потом он резко поворачивается и выходит из кафе. Шляпа сильно измята, и вообще вид у поверенного весьма потешный.

Тут хозяин подлетает к Нагелю и требует у него объяснений. Он хватается Нагеля за рукав и спрашивает:

– Что здесь происходит? Что все это значит?

– Потрудитесь отпустить мой рукав, – говорит в ответ Нагель. – Я вовсе не собираюсь убегать. К тому же здесь ровным счетом ничего не произошло. Просто я оскорбил человека, который сейчас выбежал отсюда, а он пытался защищаться. И это вполне естественно. Так что все в порядке.

Но хозяин продолжает сердиться и даже топает ногой.

– Я не потерплю, чтобы здесь устраивали спектакли. Я не допущу этого! Если вы намерены скандалить, то ступайте на улицу. И чтоб ничего подобного больше не было. Ясно вам!.. Просто с ума все посходили!..

– Да ничего особенного не случилось! – вмешиваются несколько посетителей. – Мы свидетели!

И поскольку добропорядочные люди всегда на стороне сильного, они безоговорочно берут сторону Нагеля и наперебой объясняют хозяину, что к чему, а Нагель пожимает плечами и подходит к Минутке. Без всяких обиняков спрашивает он маленького седого шута:

– Кем вам приходится, собственно говоря, поверенный, что он позволяет себе так издеваться над вами?

– Да что вы! – отвечает Минутка. – Никем он мне не приходится. Он мне никто. Правда, однажды я плясал для него на рынке за десять эре. Просто он всегда преследует меня своими шутками.

– Так вы, значит, пляшете за деньги, на потеху зрителям?

– Да, иногда, но не часто. Только если мне позарез нужны десять эре и я не могу их достать другим путем.

– А на что вам деньги?

– Как на что? На многое. Во-первых, я ведь дурачок, я ни на что не гожусь, и мне частенько приходится туго. Когда я служил матросом и мог сам себя прокормить, мне жилось куда как хорошо. А потом я упал с мачты, расшибся, сломал хребет и с тех пор перебиваюсь кое-как. Меня кормит мой дядя, и вообще я сижу у него на шее, но я ни на что не жалуюсь, у меня есть все, что надо, даже с лишком, потому что дядя понемногу торгует углем. Да я и сам вношу кое-что в дом, особенно теперь, летом, когда угля почти не берут. Уверяю вас, это так же верно, как то, что я сейчас говорю с вами. Вот в такие дни эти десятиэровые монетки мне очень кстати, я чего-нибудь покупаю на них и приношу домой. Что же до поверенного, то его веселят мои пляски именно потому, что из-за своего увечья я не могу плясать, как люди.

– Значит, ваш дядя не против того, чтобы вы плясали за деньги на рынке?

– Нет, нет, что вы, вы не должны так думать! Он частенько говорит: «Мне не нужны эти шутковские гроши». Да, когда я приношу

ему десять эре, он всегда называет их шутовскими и ругает меня за то, что я посмешище для людей...

– Ну хорошо, это во-первых. А что же во-вторых?

– Простите, что?..

– Ну а что же во-вторых?

– Я вас не понимаю.

– Вы сказали, что во-первых, вы дурачок, ну а во-вторых?

– Если я так сказал, прошу простить меня.

– Таким образом, выходит, что вы только дурачок, и все.

– Я искренне прошу простить меня.

– Ваш отец был пастором?

– Да, пастором.

Пауза.

– Послушайте, – говорит Нагель, – если вы никуда не спешите, давайте поднимемся ко мне в номер. Вы не против? Вы курите? Отлично. Пойдемте, прошу вас, я живу здесь наверху. Я буду очень рад, если вы заглянете ко мне.

К немалому удивлению всех присутствующих. Нагель и Минутка поднялись на второй этаж и провели вместе весь вечер.

Минутка сел на стул, взял сигару и закурил.

– Может, вы что-нибудь выпьете? – спросил Нагель.

– Нет, я не пью. От спиртного у меня голова идет кругом и все начинает двоиться в глазах, – ответил гость.

– Вы когда-нибудь пили шампанское? Ну конечно же, пили.

– Да, много-много лет тому назад, на серебряной свадьбе моих родителей.

– Вам понравилось?

– Да, припоминаю, это было очень вкусно.

Нагель позвонил и велел подать шампанского.

Они потягивают шампанское и курят. Вдруг Нагель, пристально взглянув на Минутку, говорит:

– Скажите... Я хочу задать вам один вопрос, который может показаться смешным. Согласились бы вы, конечно, за известную сумму, чтобы вас записали как отца в метрику ребенка, отцом которого вы не являетесь? Мне это пришло в голову просто так, я не имею в виду ничего определенного.

Минутка глядел на него широко раскрытыми глазами и молчал.

– За небольшое вознаграждение, крон в пятьдесят, или, скажем, даже, в две сотни, сумма здесь не имеет значения, – сказал Нагель.

Минутка покачал головой и долго молчал.

– Нет, – проговорил он наконец.

– В самом деле не хотите? Деньги я выплатил бы наличными.

– Все равно! Нет, этого я сделать не могу. Этой услуги я оказать вам не в силах.

– А собственно говоря, почему?

– Не просите больше, оставьте меня. Я ведь тоже человек.

– Да, быть может, это действительно уж слишком, с какой стати вы обязаны оказывать кому-то такую услугу? Но мне хочется задать вам еще один вопрос: согласились бы вы... Ну, могли бы вы, за пять крон, конечно, пройтись по городу с газетой или бумажным кулем на спине?... Вы выйдете отсюда, из гостиницы, потом направитесь на

рыночную площадь и на пристань... Согласны вы это сделать? За пять крон?

Минутка смущенно склонил голову и механически повторил: «Пять крон», но ничего не ответил.

– Ну да, за пять или за десять крон. За десять крон вы бы это сделали?

Минутка откинул со лба волосы.

– Я не понимаю, откуда вы, приезжие, наперед знаете, что я для всех шут? – сказал он.

– Как видите, я могу тотчас вручить вам эти деньги, – продолжал Нагель, – все зависит только от вас.

Минутка впивается взглядом в ассигнации. Растерянно глядит на них, облизывает пересохшие губы и не выдерживает.

– Да я...

– Простите, – поспешно останавливает его Нагель. – Простите, что я прерываю вас, – повторяет он, чтобы не дать гостю говорить. – Как ваша фамилия? Я, право, не помню, но, кажется, вы не сказали мне, как вас зовут.

– Меня зовут Грегорд.

– Вот как, Грегорд? Скажите, а тот Грегорд, делегат Эльдвольдского съезда, не доводится вам родственником?

– Да, с ним я в родстве.

– Так о чем же мы говорили? Ах да, значит, ваша фамилия Грегорд? И вы, конечно, не согласитесь заработать эти десять крон таким манером?

– Нет, – неуверенно пробормотал Минутка.

– А теперь послушайте, – сказал Нагель, очень медленно выговаривая каждое слово. – Я с радостью дам вам эти десять крон за то, что вы не согласились на мое предложение. И, кроме этих десяти крон, я дам вам еще десять крон, если вы доставите мне удовольствие и примете эти деньги. Не вскакивайте, пожалуйста, это пустячное одолжение меня ничуть не обременит. У меня сейчас много денег, вполне достаточно, чтобы не испытывать затруднений из-за такой малости. – Вынув деньги из кошелька, он добавил: – Возьмите, пожалуйста, вы доставите мне удовольствие.

Но Минутка сидит молча, от радости у него словно язык отнялся, он с трудом сдерживает слезы. Он часто моргает глазами и

всхлипывает.

– Вам, наверно, лет сорок или около того? – спрашивает Нагель.

– Мне сорок три. Пошел сорок четвертый.

– Спрячьте теперь эти деньги в карман. Ну, в час добрый...

Кстати, как фамилия поверенного, с которым мы разговаривали внизу, в кафе?

– Не знаю. Все зовут его просто поверенный. Он поверенный в канцелярии окружного судьи.

– Да это, впрочем, и не имеет значения. Скажите-ка лучше...

– Простите! – Минутка больше не может сдерживаться, он так преисполнен благодарности, что непременно хочет высказаться, лепечет что-то бессвязно, как ребенок. – Извините и простите меня, – говорит он. И долгое время он уже не в силах вымолвить ни слова.

– Что вы хотите сказать?

– Спасибо... Спасибо от всего... Сердечное...

Пауза.

– Ну, хватит об этом.

– Нет, не хватит! – восклицает Минутка. – Я прошу меня простить, но никак не хватит. Вы подумали, что я не хочу сделать то, о чем вы меня просили, лишь из упрямства, что мне доставляет радость стоять на задних лапках, как собачонка, но богом вам клянусь... Как вы можете сказать «хватит», когда у вас, наверно, сложилось впечатление, что я просто набиваю цену, что пять крон показались мне недостаточной платой?.. Вот это я и хотел сказать.

– Ну ладно, ладно... Человек, носящий ваше имя и получивший ваше воспитание, не должен вести себя как шут. Знаете, о чем я подумал... Вы ведь в курсе всего, что происходит в городе, правда? Дело в том, что я намерен пожить здесь некоторое время, провести здесь лето. Что вы на это скажете? Вы родом отсюда?

– Да, я здесь родился, мой отец был здесь пастором, и с тех пор, как я получил увечье – вот уже тринадцать лет, – я снова живу здесь.

– Вы, кажется, разносите уголь?

– Да, я разношу уголь по домам, и вы ошибаетесь, если думаете, что мне это трудно. Я уже давно приноровился к этой работе, и мне она совсем не во вред, надо только осторожно подниматься по лестнице. Правда, прошлой зимой я все-таки упал и так расшибся, что долго ходил с палкой.

– Что вы говорите? Как же это случилось?

– Я нес уголь в банк, а ступеньки там немного обледенели. Я подымался с довольно тяжелым мешком. Когда я дошел до середины, я увидел наверху консула Андерсена, который как раз спускался вниз. Я было хотел повернуть назад, чтобы пропустить консула. Нет, он не сказал мне, чтобы я его пропустил, это ведь само собой разумеется. Я и собирался было это сделать, но повернулся так несчастливо, что поскользнулся, упал на правое плечо и покатился с лестницы. «Что с вами? – крикнул мне консул. – Вы не стонете, значит, вы не расшиблись?» – «Нет, – ответил я, – кажется, мне повезло». Но не прошло и пяти минут, как я два раза подряд терял сознание; кроме того, мое старое увечье дало себя знать, и у меня тут же отек живот. К слову сказать, консул щедро одарил меня, хотя его вины не было никакой.

– Больше вы ничего себе не повредили? Головой вы не ударились?

– Да, голову я себе немного ушиб. Некоторое время я еще и харкал кровью.

– И что, консул вам помогал в течение всей вашей болезни?

– Еще как! Он посылал мне все необходимое. Он и дня не забывал обо мне. Но самое удивительное было вот что: в то утро, когда я наконец смог встать и отправиться к нему, чтобы поблагодарить, он велел поднять флаг на своем доме. Представьте себе, он приказал поднять флаг исключительно в мою честь, хотя это и был день рождения фрекен Фредерики.

– А кто такая фрекен Фредерика?

– Его дочь.

– Вот как! Это весьма трогательно с его стороны. Да, кстати, скажите, вы не знаете, почему здесь в городе несколько дней назад повсюду были вывешены флаги?

– Несколько дней назад? Дайте припомнить... Наверно, это было с неделю назад? Да? Флаги висели в честь помолвки фрекен Хьеллан, Дагни Хьеллан. Вот так одна барышня за другой празднуют помолвку, потом выходят замуж и уезжают. У меня сейчас есть подруги и знакомые, можно сказать, во всех уголках страны, и среди них, поверьте, нет ни одной, с которой мне не хотелось бы встретиться вновь. Все они росли на моих глазах, играли, ходили в школу, принимали первое причастие, становились взрослыми... Дагни

двадцать три года, и она любимица всего города. Ах, как она хороша! Она помолвлена с лейтенантом Хансенем, который давным-давно подарил мне вот эту фуражку, что я ношу. Он тоже родом отсюда.

– У фрекен Хьеллан светлые волосы?

– Да, светлые, она такая красивая, что все в нее влюблены.

– Должно быть, я ее повстречал возле усадьбы пастора. Она ходит с красным зонтиком?

– Да. Ни у кого, кроме нее, здесь нет красного зонтика. Если у той барышни, что вы встретили, была толстая светлая коса, то это точно она. Ее у нас ни с кем не спутаешь. Но вам, видно, не довелось еще с ней поговорить?

– Нет, представьте, довелось. – И Нагель задумчиво сказал как бы про себя: – Так это, значит, и была фрекен Хьеллан!..

– Но, наверно, вы обмолвились с ней лишь несколькими словами. Настоящего разговора у вас еще не было, правда? Вам это еще предстоит. Она от души хохочет, когда ей что-нибудь кажется смешным. А часто она смеется безо всякой причины, просто потому, что ей весело. Если вам придется с ней поговорить, то непременно обратите внимание на то, с каким вниманием она слушает, что бы вы ни говорили, никогда не перебьет вас и ответит только после того, как вы замолчите... Она говорит, и краска смущения заливает ей лицо. Я это часто замечал, когда она при мне с кем-нибудь беседовала. Боже, какой она становится красивой в эти минуты! Но я тут, конечно, в счет не иду, со мной она болтает запросто, безо всякого стеснения. Я могу смело подойти к ней на улице, и она всегда остановится и протянет мне руку, даже если спешит. Может, вы мне не верите, но когда-нибудь вы воочию в этом убедитесь.

– Отчего же, охотно вам верю. Значит, фрекен Хьеллан ваша близкая знакомая?

– Просто она ко мне всегда очень добра, не более того. Вот и все. Иногда меня приглашают в дом пастора. Думаю, что не буду нежеланным гостем, даже если зайду и без приглашения. Фрекен Дагни давала мне книги, когда я болел, да, она мне их не присылала, а приносила сама.

– А что это были за книги?

– Вас интересует, какие книги мне под силу читать и понимать?

– Нет, на этот раз вы неверно истолковали мои слова. Вы проницательны, но, повторяю, вы ошиблись. Однако вы занятный человек. Я хотел лишь узнать, какие книги собраны у фрекен Хьеллан, что она читает? Мне это любопытно.

– Помню, как-то раз она принесла мне «Крестьяне-студенты» Гарборга и еще две другие книги, одна из них была как будто «Рудин» Тургенева, а в другой раз она читала мне вслух «Непримиримых» Гарборга.

– Это ее личные книги?

– Нет, ее отца. На них стояло его имя.

– Кстати, когда вы отправились к консулу Андерсену, чтобы поблагодарить его, как вы рассказывали...

– Я хотел поблагодарить его за помощь, которую он мне оказал.

– Вот именно. А флаги были вывешены до того, как вы пришли?

– Да, он велел вывесить их в мою честь, консул сам мне это сказал.

– Ясно. А может быть, их все-таки вывесили по случаю дня рождения фрекен Фредерики?

– Что ж, возможно. Вполне возможно, что и так. Это тоже хорошо. Было бы просто позором не вывесить флагов в честь дня рождения дочери.

– Вы, несомненно, правы... Поговорим лучше о другом. Сколько лет вашему дяде?

– Около семидесяти, наверно. Нет, пожалуй, я хватил лишку, но что ему за шестьдесят, это точно. Конечно, он уже старый, но еще вполне бодрый для своих лет. В случае чего он может читать и без очков.

– Как его зовут?

– Тоже Грегорд. Мы оба – Грегорды.

– У вашего дяди дом собственный или он его снимает?

– Комнату, в которой мы живем, он снимает, а угольный склад принадлежит ему. Но не думайте, что нам трудно платить, если вы это имеете в виду. Мы расплачиваемся углем, а иногда мне удается отработать в счет платы.

– Но ведь ваш дядя, наверно, не разносит уголь?

– Нет, это моя обязанность. Он развешивает его и ведет все торговые дела, а я разношу. Да мне это и сподручней, ведь я сильнее.

– Понятно. А стряпать вы, вероятно, нанимаете женщину?

Пауза.

– Извините меня, – сказал наконец Минутка, – и пожалуйста, не сердитесь, но если вы разрешите, я лучше уйду. Наверно, вы задерживаете меня только, чтобы доставить мне удовольствие, я не могу допустить, чтобы вам было интересно разговаривать со мной о моих делах. А может быть, вы позвали меня к себе по причине, которую я не понимаю? Что ж, тогда куда ни шло. Но если я сейчас уйду, не думайте, что меня кто-нибудь обидит. Я не встречу на улице злых людей, поверенный не караулит меня за дверью, чтобы отомстить, может, вы этого опасаетесь? А даже если бы он и поджидал меня, он не сделал бы мне ничего дурного, наверняка не сделал бы, я в этом уверен.

– Вы доставите мне удовольствие, если посидите еще немного. Но вы не должны думать, что обязаны рассказывать мне о себе только потому, что я дал вам несколько крон на табак. Поступайте, как вам заблагорассудится.

– Я останусь, останусь! – воскликнул Минутка. – И да благословит вас бог! Я счастлив, что вы находите хоть какую-то приятность в моем обществе, – ведь я стыжусь и себя самого, и своего вида. Я мог бы и приодеться немного, если бы знал, что мне предстоит такая встреча. На мне ведь старый сюртук моего дяди, он уже совсем ветхий, это правда, до него и пальцем нельзя дотронуться. А тут еще поверенный разодрал его... Надеюсь, вы меня извините... А что до женщины, которая бы нам стряпала, то у нас такой нет. Мы сами и еду себе готовим, и стираем, но это нам совсем не трудно, к тому же мы упростили все до предела. Если мы, например, утром варим кофе, то вечером выпиваем остатки, даже не разогревая. Обед мы готовим сразу на несколько дней, из чего придется. Да разве мы можем в нашем положении желать лучшего! Кроме того, стирка – тоже мое дело. Для меня это даже развлечение, когда нет другой работы.

Тут снизу до них донесся звон колокольчика, а потом послышались шаги по лестнице – это постояльцы спускались ужинать.

– Звонят к ужину, – сказал Минутка.

– Да, – подтвердил Нагель, но с места не встал и ничем не проявил своего нетерпения. Напротив, он поглубже уселся в кресло и спросил:

– Быть может, вы знали и Карлсена, которого недавно нашли мертвым в лесу? Печальная история, не правда ли?

– Да, очень печальная. Я с ним был хорошо знаком. Прекрасный, благородный человек. Вот что он мне однажды сказал. Меня позвали к нему как-то в воскресенье утром. С тех пор уже, пожалуй, год прошел. Ну да, это было прошлым маем. Он попросил меня отнести письмо. «Хорошо, – говорю, – я отнесу, но на мне такие опорки, что в них стыдно показаться на люди. Если вы разрешите, я сперва сбегаю домой и попрошу дать мне на этот случай башмаки попримочней». – «Нет, в этом нет нужды, – ответил он, – это не имеет никакого значения, если только вы не промочите ноги». Представляете, он беспокоился о том, чтобы я не промочил ноги! Он сунул мне в руку крону и дал письмо. Когда я уже вышел от него, он вдруг распахнул дверь и побежал за мной, лицо его было таким радостным, что я остановился и поглядел на него; глаза его были полны слез. Он крепко обнял меня, прижал к своей груди, он по-настоящему обнял меня, даю вам слово, и сказал: «Ну, ступайте, старина, несите это письмо. Я не забуду вас. Когда я стану пастором и получу приход, я возьму вас к себе, и вы будете жить у меня. Ну, в добрый час, и да поможет вам бог!» К сожалению, он так и не получил прихода. Но, останься он жив, он бы сдержал свое слово.

– Вы отнесли это письмо?

– Да.

– А фрекен Хьеллан обрадовалась, когда его получила?

– Откуда вы знаете, что письмо было к фрекен Хьеллан?

– Как откуда? Вы же сами это только что сказали.

– Я? Сказал? Неправда!

– То есть как неправда? Вы хотите сказать, что я лгу?

– Нет, извините меня, возможно, вы и правы, но я не должен был этого говорить. Я выболтал это по рассеянности. Нет, неужто я в самом деле это сказал?

– А что такое? Разве он запретил вам об этом говорить?

– Нет, он не запрещал.

– Значит, она?

– Да.

– Хорошо, можете на меня положиться, я никому об этом не скажу. Но вы понимаете, почему он решил умереть?

– Нет. Надо же было случиться такому несчастью.

– Вы не знаете, когда состоятся похороны?

– Завтра в полдень.

Больше об этой истории они не говорили. Некоторое время они сидели молча. Сара просунула голову в дверь и напонила, что ужин подан. Наконец Нагель прервал молчание:

– Так, значит, фрекен Хьеллан помолвлена? А что из себя представляет ее жених?

– Ее жених – лейтенант Хансен. Бравый офицер и действительно превосходный человек. За ним она будет, как за каменной стеной.

– Он богат?

– Отец его очень богат.

– Коммерсант?

– Нет, судовладелец. Их дом неподалеку отсюда, впрочем, дом у них невелик, но большой им и не нужен, ведь когда сын женится, старики останутся одни. У них, правда, есть еще дочь, но она замужем и живет в Англии.

– Как вы думаете, у старика Хансена много денег?

– Думаю, не меньше миллиона. Но никто этого толком не знает.

Пауза.

– Да, – сказал вдруг Нагель. – Несправедливо устроен этот мир. Вот вам бы хоть немного из этих денег, Грегорд!

– Избави бог, на что они мне нужны! Надо довольствоваться тем, что имеешь.

– Это только так говорят... А теперь мне хочется вас еще вот о чем спросить. У вас, должно быть, не остается времени для другой работы, раз вы разносите уголь? Это ведь ясно. Но я слышал, как вы спросили хозяина, нет ли у него для вас еще какого-нибудь дела, верно?

– Нет, – ответил Минутка и покачал головой.

– Как же нет? Это было внизу, в кафе. Вы сказали, что принесли уголь на кухню и спросили у хозяина, не надо ли еще чего-нибудь сделать.

– А, верно, но на то у меня была особая причина. А вы обратили на это внимание?.. Просто я рассчитывал тут же получить деньги за уголь, но не решился попросить об этом хозяина. Вот поэтому я и спросил его, нет ли еще какой-нибудь работенки. У нас сейчас как раз туго с деньгами, и мы надеялись получить за уголь.

– А сколько вам нужно, чтобы выйти из затруднения? – спросил Нагель.

– Бог с вами, что вы, что вы! – воскликнул Минутка. – Не говорите даже об этом, вы и так помогли нам сверх всякой меры. Речь шла всего о шести кронах. А теперь я сижу с вашими двадцатью кронами в кармане, да воздаст вам за это господь... Дело в том, что мы задолжали лавочнику за картошку и еще кое за что. Он прислал нам счет, и мы с дядей ломали себе голову, как нам раздобыть эти деньги. Но теперь все в порядке, мы можем спокойно лечь спать, а завтра утром проснуться и ни о чем не беспокоиться.

Пауза.

– Ну, а теперь, пожалуй, лучше всего нам будет допить шампанское и на сегодня расстаться, – сказал Нагель и встал. – Ваше здоровье! Надеюсь, мы еще увидимся. В самом деле, вы должны обещать, что непременно навестите меня, я живу, как видите, здесь, в седьмом номере. Благодарю вас за сегодняшней вечер!

Нагель сказал это искренним тоном и пожал Минутке руку. Затем он проводил своего гостя до самых дверей гостиницы и снова, сняв свою бархатную кепку, низко ему поклонился.

Пятясь, Минутка переступил порог и, не переставая кланяться, заковылял вверх по улице. Он был не в состоянии выдать из себя ни слова, хотя все время силился что-то сказать.

Нагель вошел в столовую и учтиво извинился перед Сарой за опоздание к ужину.

Юхан Нагель проснулся утром от стука в дверь – Сара принесла газеты. Он наскоро пробежал их и швырнул на пол. Сообщение о том, что Гладстон на двое суток был прикован к постели вследствие простуды, но теперь поправился, он перечел дважды и расхохотался. Он лежал, закинув руки за голову, и думал. Время от времени он даже громко разговаривал сам с собой.

Да, опасно гулять по лесу с раскрытым перочинным ножиком в руке. Как легко, оказывается, можно споткнуться и так неуклюже упасть. Вот ведь случилось это с Карлсеном... Впрочем, расхаживать со склянкой яда в кармане тоже опасно, чего доброго, поскользнешься и грохнешься наземь, склянка – вдребезги, поранишься осколком, и яд попадет в кровь. Нет пути, на котором нас не подстерегала бы опасность. Неужто это так? Впрочем, есть один вполне безопасный путь – тот, по которому идет Гладстон. Так и вижу его лицо хитроватого хозяйчика, когда он идет этим путем: как он осмотрителен, как боится оступиться, как он помогает судьбе оградить себя от всех превратностей. Вот и простуда его прошла. Да, этот уж доживет до глубокой старости и до своего смертного часа будет в полном здравии.

Пастор Карлсен, почему ты уткнулся лицом в лужу? Неужели так никто и не узнает, сделал ли ты это сам, чтобы скрыть гримасу страха перед смертью, или тебя так скрючила предсмертная судорога? Ты сам выбрал час своего конца, как ребенок, который боится темноты: среди бела дня, сразу после обеда ты упал на землю, зажав в руке прощальную записку. Бедный, бедный Карлсен!

А собственно, почему ты выбрал для осуществления своей блестящей затеи именно лес? Ты что, так любил лес? Больше, чем поля, дороги или море? «Мальчонка по лесу бродил целый день, по темному лесу бродил, тра-ла-ла...» Вот, например, Вардальские леса по дороге в Гьевик. Лежать там, и дремать, и забыть обо всем, глядеть вверх, смотреть в небо, ха-ха-ха, да так пристально, что едва ли не слышать, как там шепчутся и обсуждают нас, земных грешников, тут внизу. «Если и этот сюда придет, – шипит покойная мама, – я отсюда

уберусь». И делает из этого вопрос государственной важности. Ха-ха-ха, смеюсь я в ответ и говорю: т-ссс, не мешай мне, только не мешай! Я кричу это так громко, что привлекаю к себе внимание двух ангелочков женского пола – Саввы Бьернсон и дочери многоуважаемой Яиры. Ха-ха-ха!

Какого черта, собственно говоря, я лежу здесь и смеюсь? Неужто во мне говорит чувство превосходства? Только дети должны иметь право смеяться да совсем молоденькие девушки, и больше никто. Смех – это атавистический признак, доставшийся нам от обезьян, гнусные, бесстыдные звуки, вырывающиеся из горла. Смех исторгается из меня, когда меня щекочут под мышками. Что это мне сказал мясник Хауге, который сам оглушительно хохотал и, к слову сказать, гордился этим? Он сказал, что нет человека, обладающего пятью органами чувств, который бы...

А до чего прелестна была его дочурка! В тот день, когда я повстречал ее на улице, хлестал дождь. В руках у нее были судки, она шла и плакала, потому что потеряла деньги, на которые должна была купить в ресторации готовый обед. О, усопшая мама, видела ли ты оттуда, с неба, что у меня не было ни единого шиллинга, чтобы утешить малютку, что я буквально рвал на себе волосы, но у меня не было ни гроша. Тут вдруг по улице продефилировал оркестр, а красивая монахиня обернулась и ослепила меня сверкающим взглядом, потом она смиренно пошла своей дорогой, опустив очи долу, должно быть, казня себя за этот сверкнувший взгляд. Но в это мгновение какой-то господин с длинной бородой, в мягкой фетровой шляпе схватил меня за руку, иначе я попал бы под экипаж. Да, видит бог, я чуть не погиб...

Слышишь!.. Один... два... три, как медленно они бьют... четыре... пять... шесть... семь... восемь... неужели восемь? Девять... десять... Уже десять часов! Надо вставать! Интересно, где это бьют часы? Не может быть, чтобы внизу, в кафе. Но ведь это не имеет значения, не имеет значения. А какой нелепый скандал я учинил вчера в кафе! Минутка весь дрожал, я вступился как раз вовремя. Наверняка кончилось бы тем, что он выпил бы пиво с окурками и спичками. Ну и что с того? Могу ли я спросить тебя, олух ты любопытный: ну и что с того? Какого дьявола я всегда сую свой нос в чужие дела? Да и вообще, на кой черт я сюда приехал? Уж не причина ли этому какой-

нибудь мировой катаклизм, вроде простуды Гладстона? Ха-ха-ха! Бог вознаградит тебя, дитя мое, если ты во всем чистосердечно признаешься и скажешь все, как есть: ты уже возвращался домой, но вдруг почему-то тебя так взволновал этот заштатный городок, хотя он такой маленький и невзрачный, что ты готов был заплакать от охватившей тебя непонятной щемящей радости при виде всех этих вывешенных флагов. А ргоро, это было двенадцатого июня, и флаги вывесили в честь помолвки фрекен Хьеллан. Два дня спустя я встретил ее саму.

И надо же было мне встретиться с ней как раз в тот вечер, когда я находился в таком смятении и плохо понимал, что делаю. Стоит мне все это вспомнить, и я готов сквозь землю провалиться от стыда.

– Добрый вечер, фрекен, извините, я приезжий, вышел прогуляться и не знаю, куда забрел.

Минутка прав – она тут же краснеет, а когда отвечает, краснеет еще больше.

– А куда вам надо? – спрашивает она и поднимает на меня глаза.

Я снимаю кепку и стою с непокрытой головой. Пока я так стою с кепкой в руках, я придумываю, что ответить:

– Будьте добры сказать мне, как далеко отсюда до города. Только точное расстояние, прошу вас.

– Я не знаю, – говорит она. – Отсюда – не могу сказать, но от дома пастора ровно четверть мили. Это первый дом, который вы увидите на дороге.

И она поворачивается, чтобы идти дальше.

– Благодарю вас, – говорю я, – но если к дому пастора надо идти через лес, а вы направляетесь туда или дальше, то разрешите мне проводить вас. Солнце уже зашло, позвольте мне нести ваш зонтик. Я не буду вас ничем обременять, даже говорить с вами не буду, если вам это неприятно. Разрешите мне только идти рядом с вами и слушать птичий пересвист. Нет, не уходите, не уходите так сразу! Почему вы убегаете?

Но так как она продолжала бежать и не желала меня слушать, я бросился ей вдогонку, чтобы извиниться перед ней.

– Черт меня подери, если ваше ясное лицо не произвело на меня сильнейшего впечатления!

Но тут она припустилась во весь дух, и очень скоро я потерял ее из виду. Она бежала, держа в руке свою тяжелую светлую косу. Никогда я не видал ничего подобного.

Вот как это было. Я не хотел ее обидеть, ничего дурного у меня не было на уме. Готов биться об заклад, что она по уши влюблена в своего лейтенанта. Мне и в голову не приходило навязывать ей себя. Ну что ж, хорошо, все хорошо; ее лейтенант, быть может, решит вызвать меня на дуэль. Ха-ха-ха! Он сговорится с поверенным из канцелярии окружного судьи, и они вместе вызовут меня.

Интересно, подарит ли поверенный Минутке новый сюртук. Мы можем обождать денек-другой, но если он и через два дня не выполнит своего обещания, то придется ему напомнить. Точка. Нагель.

Я видел здесь одну бедную женщину. Когда я проходил мимо, она так робко на меня посмотрела, словно хотела попросить о чем-то, но не могла решиться. Я не в силах забыть ее глаз, хотя она и совсем седая. Я уже четыре раза нарочно шел кружным путем, только чтобы не встретиться с ней. Она не старая, нет, не от возраста побелела ее голова. Ее брови еще очень черные, пугающе черные, ужасающе черные, а глаза из-под них так и мерцают. Почти всегда у нее под фартуком спрятана корзина, – этого она, видимо, и стыдится. Когда она шла мимо меня, я обернулся, поглядел ей вслед и увидел, что направляется она на рынок, вынимает там из корзины два-три яйца и тут же продает их, не торгуясь, затем снова прячет корзину под фартук и спешит домой. Живет она в крохотной хибарке, внизу, у пристани. Домишко этот одноэтажный и некрашенный. Однажды я увидел ее через окно; у нее на окне нет занавесок, только подоконник уставлен горшками с белыми цветами. Она стояла в глубине комнаты и, пока я шел мимо, провожала меня взглядом. Бог ее знает, что это за женщина. Но руки у нее совсем маленькие. Я мог бы подать тебе милостыню, седая девушка, но мне хотелось бы помочь тебе иначе.

Впрочем, я знаю, почему твои глаза так потрясли меня, я знал это с первой минуты, как увидел тебя. Странно, что юношеская любовь так долго преследует человека и все вновь и вновь напоминает о себе. Но ведь у тебя не ее благословенное лицо, да ты и гораздо старше ее. А потом она вышла замуж за телеграфиста и переехала в Кабельвог. Вот так, сколько голов, столько умов. Я не мог дождаться ее любви, да

я бы никогда и не дождался ее. Тут уж ничего не поделаешь... Часы пробили половину одиннадцатого... Нет, тут уж ничего не поделаешь. Но если бы ты только знала, как напряженно я думал о тебе все эти двенадцать лет, я никогда не забывал тебя... Ха-ха! Но это уж моя беда, а она здесь ни при чем. Другие помнят только год, и конец, а я мучаюсь десять лет кряду.

Я помогу этой седой девушке, продающей яйца. Я дам ей денег и помогу еще как-нибудь – ради ее глаз помогу... Денег у меня будет хоть отбавляй, стоит мне только дать согласие, и шестьдесят две тысячи крон за имение у меня в кармане. Ха-ха-ха! В подтверждение мне надо лишь взглянуть на стол, там валяются три важнейшие телеграммы... Все это курам на смех! Когда ты агроном и капиталист, то не соглашаешься сгоряча на первое же предложение. Тут, как говорится, нужно семь раз отмерить, обмозговать все как следует. Так ты и поступаешь – обдумываешь сделку не спеша, и ни у кого ни тени сомнения, хотя это – розыгрыш, и притом грубый. О человек, имя твое – осел! Покажи тебе морковку, и ты пойдешь куда угодно. Из кармана моего жилета, который висит вон там, торчит горлышко аптечного пузырька. Это – яд, синильная кислота. Я таскаю его в кармане просто так, забавы ради, и у меня не хватает мужества использовать его по назначению. Почему же я храню эту склянку и зачем я раздобыл ее? Это тоже обман, модное декадентское шутовство, самореклама и снобизм... Фу!.. Как нежна и тонка эта милая рука!..

Или взять хотя бы такую, казалось, невинную вещь, как моя медаль за спасение утопающего. Я ее честно заработал – так, кажется, принято говорить. Чем только не случается заниматься, даже спасеньем утопающих. Но, видит бог, моей заслуги в этом не было. Судите сами, многоуважаемые дамы и господа: молодой человек стоит у перил палубы, он плачет, его плечи вздрагивают. Когда я с ним заговариваю, он в смятении глядит на меня и бросается вниз, в салон. Я следую за ним, но он уже заперся в своей каюте. Я беру список пассажиров, нахожу его фамилию и узнаю, что у него билет до Гамбурга. Так проходит первый вечер. С тех пор я уже не спускаю с него глаз, настигаю его в самых неожиданных местах и заглядываю ему в лицо. Зачем? Многоуважаемые дамы и господа, судите сами! Я вижу, что он не в силах сдержать слез, он мучительно страдает и подолгу глядит за борт остановившимися безумными глазами. Мое ли

это дело? Конечно, нет, и поэтому судите сами, не стесняйтесь! Проходит несколько дней, поднимается ветер, море бушует. Ночью, часа в два, мой подопечный выходит на кормовую палубу, я, конечно, уже там, лежу, притаившись, и веду наблюдение. В лунном свете лицо его кажется мертвенно-бледным. И что же дальше? Он озирается по сторонам, простирает руки и прыгает через борт ногами вперед. Все же он не в силах сдержать вопля. Сожалеет ли он о своем решении или его в последний миг охватывает страх? Если это не так, то чего же он вопит? Многоуважаемые дамы и господа, что бы вы сделали на моем месте? Я предоставляю вам право решить это самим. Быть может, вы отнеслись бы с уважением к благородному мужеству этого несчастного, хотя он и дрогнул в последний момент, и остались бы в своем укрытии. Я же, напротив, крикнув что-то капитану на мостике, тоже прыгаю за борт, да так поспешно, что лечу головой вниз. Я барахтаюсь как сумасшедший, мечусь в разные стороны и слышу, что на пароходе громогласно объявляют тревогу. И вдруг я нащупываю его руку, вытянутую, негнущуюся, словно заочневшую, с растопыренными пальцами. Он еще слабо бултыхает ногами. Я хватаю его за шиворот, он становится все тяжелей и тяжелей, весь как-то обмякает, совсем перестает двигаться, но в конце концов все же делает рывок, чтобы от меня оторваться. Нас швыряет вверх и вниз, потом на нас обрушивается большая волна и сталкивает нас лбами, да так, что у меня темнеет в глазах. Что прикажете делать? Я скрежещу зубами, ругаюсь на чем свет стоит, но держу голубчика мертвой хваткой до тех пор, пока не подходит шлюпка. Я спас его, спас грубо и бесцеремонно, но не оказал ли ему медвежьей услуги? Ну и что с того? Судите сами, многоуважаемые дамы и господа, я предоставил вам это право. И нечего со мной миндальничать. Мне на это наплевать. Но предположите на миг, что этому молодому человеку было очень важно не приплыть в город Гамбург. Вот ведь какая штука. Быть может, там ему предстояла встреча с человеком, с которым ему до смерти не хотелось встречаться. Но медаль эта – медаль за самоотверженный поступок, и я ношу ее в своем кармане, а не кидаю к свиньям собачьим. И это вам следует учесть в своем приговоре. Судите, как вам заблагорассудится, мне-то, черт побери, какое до всего этого дело? Поверьте, мне все это так безразлично, что я даже забыл имя этого самоубийцы, хотя он наверняка жив и по сей

день. А почему он это сделал? Быть может, от безнадежной любви, быть может, действительно тут была замешана женщина, кто знает? Но ведь мне все это в самом деле безразлично. Точка!..

О, женщины, женщины! Взять, к примеру, Камму, милую датчанку Камму. Да хранит тебя господь! Нежна, как голубка, просто исходит нежностью, и к тому же полна преданности. Но при всем при том вытягивает из человека последний шиллинг, чуть ли не доводит его до сумы. Склонит этак свою лукавую головку и шепчет: ну, Симонсен, ну, прошу тебя, милый! Господь с тобой, Камма! Ты была сама преданность! И убирайся ко всем чертям, мы квиты...

Ну ладно, пора вставать.

Нет, от таких надо бежать! «Мой сын, опасна женская любовь!..» – как сказал великий поэт, или что он там еще сказал в этом роде?

Карлсен был безвольным человеком, идеалистом, он погиб из-за своих сильных чувств, иначе говоря, из-за своих слабых нервов, что, в свою очередь, означает плохое питание и недостаток физической работы на свежем воздухе... Ха-ха-ха! Работы на свежем воздухе!.. «Пусть будет сталь твоя такую же разящей, как „нет“ последнее твое!»! Он все-таки испортил свою репутацию цитатой из великого поэта. Предположим, я встретил бы Карлсена еще вовремя, пусть даже в последний день, пусть даже за полчаса до конца, и он рассказал бы мне, что намерен процитировать кого-то в своей предсмертной записке, тогда я ответил бы ему примерно следующее: "Посмотрите-ка на меня, я пока еще владею всеми своими пятью чувствами, и как частица человечества я заинтересован в том, чтобы вы не осквернили свой смертный час строчками из того или другого великого поэта. Знаете ли вы, кто такой великий поэт? Да, великий поэт – это человек, который потерял стыд, который просто не знает стыда. У всех других глупцов бывают в жизни моменты, когда они все же краснеют, оставшись наедине с собой, но с великими поэтами такого не случается никогда. Посмотрите-ка на меня, если уж вам так необходимо кого-нибудь процитировать, то цитируйте географа и не позорьте себя. Виктор Гюго!.. Скажите, у вас еще сохранилось чувство юмора? Однажды барон Леден разговаривал с Виктором Гюго. «Кто, по вашему мнению, первый поэт Франции?» – спросил ехидный барон. Виктор Гюго криво усмехнулся, покусал губу и в конце концов ответил: «Второй – Альфред де Мюссе». Ха-ха-ха! Но,

может, вы утратили чувство юмора? А знаете ли вы, что сделал Виктор Гюго в 1870 году? Он написал обращение ко всем людям на земле, в котором он строго-настрого запрещал немецким войскам осаждать и обстреливать Париж. «У меня там племянники и масса других родственников, я не желаю, чтобы их ранило осколком гранаты!..»

Да, а где же мои башмаки? Куда провалилась Сара с моими башмаками? Уже скоро одиннадцать, а она их еще не принесла.

Итак, будем цитировать географа...

А кстати, до чего же роскошная фигура у этой Сары. И бедрами она раскачивает при ходьбе, словно сытая кобыла. Загляденье, да и только! Интересно, была ли она замужем? Во всяком случае, она вряд ли станет громко визжать, если ее схватишь за ляжку, ее, наверное, недолго придется уламывать... Как-то мне довелось быть свидетелем одной свадьбы и даже, так сказать, присутствовать на ней, М-да. Многоуважаемые дамы и господа, произошло это воскресным вечером на одной железнодорожной станции в Швеции, точнее, на станции Кунгсбака. Убедительно прошу вас запомнить, что это произошло именно в воскресенье вечером. Меня поразили ее большие белые руки; что до него, то это был безусый юнец в новеньком, с иголки, кадетском мундире. Она тоже была очень юна, оба, можно сказать, совсем дети. Ехали они из Гетеборга. Я наблюдал за ними из-за газеты. Мое присутствие их явно стесняло, и они все время растерянно плядели друг на друга. У девочки возбужденно блестели глаза, и она никак не могла усидеть на месте. Паровоз загудел, поезд подходил к Кунгсбака. Он схватил ее за руку, она его мгновенно поняла, и, как только вагон остановился, они поспешно прыгнули на перрон. Она со всех ног кинулась к двери с надписью: «Для женщин», он бежал за ней, не отставая ни на шаг. Боже мой, он ошибся, он тоже влетел в дверь «Для женщин» и тотчас притворил ее за собой. В это мгновение грянули церковные колокола, – ведь это был воскресный вечер, – и под колокольный благовест они сидели там, запершись. Прошло три минуты, потом четыре, потом пять... Что с ними? Они там, а колокольный звон плывет над городом, и одному богу известно, не опоздают ли они на поезд! Наконец он приоткрыл дверь и выглянул. Он был с непокрытой головой, а она стояла за его спиной и надевала ему на голову фуражку. Он обернулся к ней и улыбнулся. Он

сбежал со ступенек, она за ним, на ходу оправляя платье. Они вскочили в вагон и снова заняли свои места, и никто не обратил на них внимания, никто, кроме меня. Глаза у девочки были золотые, когда она взглянула на меня и улыбнулась, а ее маленькая грудь вздымалась от прерывистого дыхания. Через несколько минут они уже спали, – заснули, словно провалились, так они счастливо устали.

Ну-с, что вы на это скажете? Многоуважаемые дамы и господа, мой рассказ окончен. Но я обращаюсь не к той очаровательной даме с лорнетом и мужским крахмальным воротничком, я хочу сказать, не к тому вон синему чулку, а лишь к тем двум или трем из вас, кто не живет, подавляя в себе все человеческое, и не занимается общественно полезной деятельностью. Простите великодушно, если я кого-нибудь обидел, особо прошу прощения у уважаемого синего чулка с лорнеткой. Поглядите-ка, теперь она встает. Так и есть – встает! Готов побожиться, что она либо хочет уйти, хлопнув дверью, либо привести какую-нибудь цитату. А если она намерена цитировать, то лишь затем, чтобы разнести меня в пух и прах. А если она намерена меня разнести, то скажет примерно следующее: «Гм, – скажет она, – никогда не встречала более скотского представления о жизни, чем у этого господина. И это он называет жизнью? Мне остается только предположить, что данный господин никогда не слышал, как замечательно высказывался на эту тему один из величайших мыслителей современности. Жизнь, – сказал он, – это нескончаемая война с демонами в своем сердце и своем мозгу...»

Жизнь, значит, это нескончаемая война с демонами. Да! В своем сердце и своем мозгу. Верно! Многоуважаемые дамы и господа! Однажды норвежец по имени Пер, кучер почтовой кареты, вез некоего великого поэта. Едут они, едут, и вдруг простодушный возница возьми да и спроси: «Прошу прощения, господин хороший, а что это означает: сочинять?» Великий поэт закусывает губу, выпячивает елико возможно свою куриную грудку и изрекает: «Сочинять, мой друг, это беспрестанно вершить суд над самим собой». Этим ответом почтовый кучер Пер был потрясен до глубины души...

Одиннадцать часов. Башмаки... Где мои башмаки?.. Но восставать из-за этого против вся и всех...

Высокая бледная дама, вся в черном, с сладчайшей улыбкой, она желает мне только добра, берет меня за рукав, чтобы остановить, и

говорит: «Если бы вы оказались в силах вызвать такое же общественное движение, как этот великий поэт, вы имели бы право рассуждать о нем».

– Куда мне! – смеюсь я в ответ. – Я не знаком ни с одним поэтом и никогда ни с одним из них и слова не сказал! Я агроном, сударыня, и всю жизнь вожусь с зерном и с дерьмом. Да я, сударыня, не в силах сложить стишок даже про зонтик, не то что про жизнь, и смерть, и про вечный мир.

– Что ж, можно взять и любого другого великого человека. Вы воображаете невесть что о себе и поносите на чем свет стоит всех великих людей. Но великие люди остаются великими и будут незыблемо стоять на своих пьедесталах на протяжении всей вашей жизни. Вы в этом сами убедитесь.

– Сударыня, – отвечаю я, учтиво склонив голову, – сударыня, боже, до чего все это невежественные суждения, какое интеллектуальное убожество сквозит в ваших словах. Впрочем, извините, что я говорю вам все это прямо в глаза. Но будь вы мужчиной, я готов был бы биться об заклад, что вы принадлежите к левым. Да разве я ниспровергаю всех великих людей? Но я не сужу о величии человека по тому общественному резонансу, который получает его деятельность. Я сужу о нем сам, своим ничтожным умишком и нравственным чувством. Я оцениваю его, так сказать, по тому привкусу, который его деятельность оставляет у меня во рту. Я вовсе не строю из себя невесть что, просто это проявление субъективной логики, которая у меня в крови. Разве так важно вызвать общественное движение лишь для того, чтобы считать главным городишкой округа Хейвог не Кинго, а Ланнстад. Дело ведь вовсе не в том, чтобы произвести сенсацию в кружке адвокатов, журналистов или, там, галлилейских рыболовов, не в том, чтобы издать научный трактат о Наполеоне *petit*. Суть в том, чтобы оказывать влияние на власть, воспитывать ее, воздействовать на избранных, на тех, кто стоит у кормила, на великих мира сего, на Кайаф, Понтиев Пилатов и кесарей. Что толку иметь влияние на толпу, если ты все равно будешь распят? Толпа, правда, может стать такой многочисленной, что она вырвет себе когтями крупицу власти, ей можно дать в руки нож и велеть резать и колоть, ее можно гнать перед собой, словно стадо ослов, чтобы получить большинство при голосовании, но одержать

подлинную победу, завоевать духовные ценности, продвинуть человечество хоть на одну пядь вперед – нет, это толпе не под силу. Великие люди – отличная тема для досужих разговоров, но правители, все, кто поднят над толпой, все, кто сегодня на коне, должны напрячь свою память, прежде чем сообразить, кто он, тот, кого мы величаем великим человеком. Вот и выходит, что великие люди – утеха для толпы, их славословят только адвокаты, учителя, журналисты, да еще, быть может, бразильский король.

– Ну... – иронически говорит моя собеседница. Председатель стучит по столу, пытается водворить тишину, но дама не унимается и продолжает: – Ну, раз вы не щадите никого из великих, назовите тех или хотя бы того единственного, который все же чего-то стоит в ваших глазах. Все же забавно узнать...

– Я это охотно бы сделал, – отвечаю я, – но дело в том, что вы поймали бы меня на слове. Стоит мне назвать одно, или два, или даже десять имен, и вы станете утверждать, что никого, кроме названных, я просто не знаю. Да и вообще, зачем мне это делать? Если бы я назвал вам на выбор, например, Льва Толстого, Иисуса Христа и Эммануила Канта, то и вы призадумались бы, прежде чем выбрать самого великого; скорее всего вы сказали бы, что все трое велики каждый на свой лад, и тут вся либеральная, передовая печать с вами бы согласилась.

– А по-вашему мнению, кто из них самый великий? – перебивает она.

– По моему мнению, сударыня, самый великий не тот, кто вызывает наибольшее общественное брожение, хотя теперь, как и в прежние времена, такой человек голосит громче всех. Но внутреннее чувство подсказывает мне: самый великий тот, кто придает нашему существованию наибольший смысл, кто оставляет наиболее ощутимый след. Все дело в масштабах. Если хотите, великий террорист – величайший из людей, так сказать, рычаг, могущий перевернуть миры...

– Но из этих трех имен ведь все же – Христос?

– Несомненно, несомненно, Христос, – торопливо поддакиваю я, – вы совершенно правы, сударыня. И я рад, что хоть в этом пункте мы достигли полного единодушия... Но вообще-то я ни в грош не ставлю ни способность вызывать общественное брожение, ни страсть

проповедовать. Все это дар суесловия, чисто механическое умение тасовать затертые слова, как колоду карт. Кто он, такой проповедник, профессиональный проповедник? Человек, который играет столь же отрицательную роль в обществе, как, скажем, перекупщик. Он – своего рода коммивояжер, и чем больше товара ему удастся сбыть с рук, тем больше его мировая слава. Ха-ха!.. Вот ведь как обстоят дела! Чем базарнее у него ухватки, тем шире его торговля. Какой смысл в том, чтобы проповедовать фаустовские взгляды моему доброму соседу Уле Нурдистуэну! Неужто это изменит образ мыслей грядущих поколений?

– Но как же жить самому Уле Нурдистуэну, если ему никто...

– Да пусть Уле Нурдистуэн провалится в тартарары!.. – кричу я. – Уле Нурдистуэну нечего делать в этом мире, его удел бессмысленно слоняться до тех пор, пока его не хватит кондрашка. А значит, чем скорее он даст дуба, тем лучше. Уле Нурдистуэн существует только для того, чтобы удобрять собой землю, это тот солдат, по которому проскакал на своем коне Наполеон. Вот кто такой Уле Нурдистуэн, да будет вам известно! Уле Нурдистуэн, черт меня подери, даже не начало, а уж тем более не итог, чего бы это ни было, он даже не запятая в книге жизни, а мушиное пятно на бумаге!.. Вот что такое Уле Нурдистуэн!..

– Замолчите, бога ради, замолчите, – испуганно взмолилась дама в черном и взглянула на председателя, мол, не намерен ли он выгнать меня вон.

– Хорошо, – отвечаю я. – Ха-ха-ха! Хорошо, я буду молчать... – Но тут взгляд мой падает на ее ослепительный рот и я говорю: – Прошу прощения, сударыня, что я так долго докучал вам всякими глупостями и болтал без умолку. Могу ли я как-нибудь отблагодарить вас за ваши добрые намерения? У вас, сударыня, необыкновенно привлекательный рот, когда вы улыбаетесь. Прощайте.

Она краснеет до корней волос и приглашает меня к себе домой. Да, просто-напросто к себе домой. Туда, где она живет. Ха-ха-ха! А живет она на такой-то улице, дом номер такой-то. Ей хотелось бы поглубже обсудить со мной эти вопросы. Она со мной не согласна и имеет ряд возражений. Если бы я пришел завтра вечером, то застал бы ее одну. Ну так как, приду ли я завтра вечером? Благодарю. Итак, до скорой встречи.

Короче говоря, выяснилось, что ей нужно было показать мне новое пушистое одеяло с народным орнаментом, вытканное в Халлингдале.

«Что-то стало жарко. Ах, солнце светит ярко...»

Нагель вскочил с кровати, раздернул занавески и выпянул в окно. Рыночная площадь была залита солнцем, погода стояла прекрасная. Он позвонил. Он решил воспользоваться нерадивостью Сары, чтобы подкатиться к ней. Посмотрим, на что способны здешние девчонки с такими сладострастными глазами. Скорее всего, его ждет разочарование.

Ни слова не говоря, он обнял ее за талию.

– Отстаньте! – буркнула она сердито и оттолкнула его. Тогда он спросил ледяным тоном:

– Почему мне до сих пор не принесли башмаков?

– Ой, простите меня за башмаки, – ответила Сара, – у нас сегодня стирка и пропасть всякой работы.

Он просидел дома до полудня, а потом пошел на кладбище, чтобы присутствовать на похоронах Карлсена. Как всегда, он был в своем желтом костюме.

На кладбище еще никого не было. Нагель подошел к вырытой могиле и заглянул в нее. На дне ямы лежали два белых цветка. «Кто бросил их туда и зачем? Я уже где-то видел эти белые цветы», – подумал он и вдруг спохватился, что не брит. Он взглянул на часы, прикинул время и быстрым шагом вернулся в город. На Рыночной площади он увидел поверенного, который шел ему навстречу. Нагель, глядя в упор, двинулся прямо на него. Никто из них ничего не сказал, они не поклонились друг другу. Нагель вошел в парикмахерскую, когда раздался похоронный звон.

Нагель не торопился, ни с кем не заговорил, буквально не проронил ни слова, а молча принялся разглядывать картины, развешанные по стенам. Он переходил от стены к стене и подолгу разглядывал каждую картину. Наконец пришла его очередь, и он уселся в кресло, откинувшись на спинку.

Когда он, свежевыбритый, вышел на улицу, он снова повстречал поверенного, который, видимо, вернулся на площадь и теперь явно кого-то поджидал. В левой руке у него была трость, но как только он увидел Нагеля, он перекинул ее в правую руку и принялся ею размахивать. Они медленно шли навстречу друг другу. «Когда я повстречал его в первый раз, у него не было палки, – подумал Нагель, – а палка эта не новая, значит, он не купил ее, а у кого-то взял. Это испанский тростник».

Когда они поравнялись, поверенный остановился. Нагель тоже остановился; они оба остановились почти одновременно. Нагель слегка сдвинул на лоб свою бархатную кепку, словно намереваясь почесать затылок, а потом снова надел ее как надо. Поверенный же, напротив, громко стукнул тростью о булыжник и грузно оперся на нее. Он простоял так несколько секунд, по-прежнему не говоря ни слова. Вдруг он выпрямился, резко повернулся к Нагелю спиной и пошел своей дорогой. Нагель следил за ним, пока он не исчез за углом парикмахерской.

Эта немая сцена разыгралась на глазах нескольких зрителей. Среди них был, например, продавец лотерейных билетов, а

неподалеку сидел торговец гипсовыми фигурками, и он тоже наблюдал эту удивительную встречу. Нагель узнал в нем одного из посетителей кафе, которые оказались свидетелями вчерашнего столкновения с поверенным, а потом приняли его. Нагеля, сторону во время объяснения с хозяином.

Когда Нагель вторично появился на кладбище, пастор уже произносил надгробное слово. Народу собралось невесть сколько. Нагель не подошел к могиле, а присел в сторонке на большую новую мраморную плиту с надписью: «Вильгельмина Меек. Родилась 20 мая 1873 г., скончалась 16 февраля 1891». Вот и все, что там значилось. Плита была только-только из мастерской, а холмик, на котором она покоилась, свежеутрамбован.

Нагель жестом поманил к себе какого-то мальчишку.

– Видишь вон того человека, ну того, в коричневом сюртуке?

– Тот, в фуражке? Это Минутка.

– Сбегай, позови его сюда.

Мальчишка побежал.

Когда Минутка подошел. Нагель поспешно встал, протянул ему руку и сказал:

– Добрый день, мой друг. Рад вас снова увидеть. Вы получили обещанный сюртук?

– Сюртук? Нет, еще нет. Но я его, наверно, скоро получу, – ответил Минутка. – Да, я ведь не поблагодарил вас как следует, за вчерашнее, – спасибо вам за все... Вот так, сегодня мы хороним Карлсена. Приходится с этим примириться, все мы под богом ходим.

Они оба сидели на новой надгробной плите и тихо разговаривали. Нагель вынул из кармана карандаш и стал что-то писать на полированном мраморе.

– Кто здесь похоронен? – спросил он.

– Вильгельмина Меек. А мы для краткости звали ее просто Мина Меек. Она ведь и была почти ребенком. Думаю, ей не исполнилось и двадцати.

– Да, судя по надписи, ей не было восемнадцати. Она, что, тоже была прекраснейшим человеком?

– Вы говорите это таким странным тоном, но...

– Я просто подметил вашу удивительную способность хорошо отзываться обо всех людях, какими бы они ни были.

– Если бы вам довелось знать Мину Меек, вы бы со мной согласились, я в этом уверен. Редчайшая душа. Если господь кого-нибудь берет себе в ангелы, то она наверняка ангел.

– Она была с кем-нибудь помолвлена?

– Помолвлена? Нет, что вы. Во всяком случае, насколько я знаю. Да нет, она не была помолвлена. Она постоянно читала Святое писание и громко разговаривала с богом, иногда даже на улице, так что прохожие слышали. И тогда люди останавливались и благоговейно молчали. Все здесь любили Мину Меек.

Нагель сунул карандаш в карман. На плите был написан какой-то стишок, карандашные строчки неприятно выделялись на белом мраморе.

– Вы возбудили всеобщий интерес, – сказал Минутка. – Я стоял там и слушал пастора, но заметил, что больше половины присутствующих заняты вами.

– Мной?

– Да. Многие перешептывались и спрашивали друг друга, кто вы такой. А теперь все они смотрят на нас.

– Скажите, кто эта дама с большим черным пером на шляпе?

– Вон та, у которой в руке зонтик с белой ручкой? Это Фредерика Андерсен, фрекен Фредерика, я вам вчера говорил о ней. А рядом с ней, ну, та, которая вот сейчас сюда смотрит, – дочь полицмейстера, фрекен Ульсен, Гудрун Ульсен. Да, я их всех знаю. Дагни Хьеллан тоже здесь. Она сегодня в черном платье, и, пожалуй, оно ей больше к лицу, чем все другие. Вы ее видели? Впрочем, сегодня все в черном, как и положено, а я сижу здесь и болтаю без толку. Видите вон того господина, в легком синем пальто и в очках? Это доктор Стенерсен, он не уездный врач, а занимается только частной практикой; в прошлом году он женился, его жена стоит вон там, в сторонке. Не знаю, видна ли вам маленькая смуглая дама в пальто, отделанном шелковым кантом. Да, это его супруга. Она часто хворает и поэтому всегда тепло одевается. А вот и поверенный...

– Не укажете ли вы мне жениха фрекен Хьеллан? – спросил Нагель.

– Нет, лейтенанта Хансена тут нет, он в плавании уже несколько дней. Он ушел в море сразу же после помолвки.

Они немного помолчали, потом Нагель сказал:

– На дне могилы лежали два цветка, два белых цветка. Вы не знаете, кто их туда положил?

– Нет... – ответил Минутка. – Впрочем, раз вы спрашиваете... вы сами задали мне этот вопрос... Об этом как-то неловко рассказывать. Может быть, если бы я попросил, эти цветы положили бы на гроб и мне не пришлось бы их вот так подбрасывать. Но ведь это всего два цветка, и куда их ни положи, они так и останутся двумя жалкими цветками. Поэтому я поднялся сегодня около трех утра, вернее сказать, ночи, и пошел на кладбище. Я спрыгнул в могилу и своими руками положил эти цветы на дно, и там, в могиле, я дважды громко попрощался с покойным. Это так потрясло меня, что я убежал в лес и долго стоял, уткнувшись от горя лицом в ладони. Странное чувство испытываешь, когда прощаешься с кем-нибудь навсегда. А ведь Йенса Карлсена, хоть он был по всем статьям куда выше меня, я считал все же своим добрым другом...

– Выходит, цветы эти от вас?

– Да, от меня. Но, видит бог, я сделал это вовсе не для того, чтобы потом хвастаться. О такой малости и говорить-то не стоит. Я купил их вчера вечером, когда шел от вас. Я принес дяде ваши деньги, и он на радостях дал мне полкроны. Он чуть было не сшиб меня с ног, так он расчувствовался. Он хочет сам вас поблагодарить. Да, да, он непременно придет к вам, я в этом уверен. Так вот, получив полкроны, я вспомнил, что не припас цветов для похорон, и тогда я отправился к пристани...

– К пристани?

– Да, к одной женщине, которая там живет.

– В одноэтажном домишке?

– Да.

– У нее седые волосы?

– Да, совсем седые; вы ее видели? Она дочь капитана, но очень нуждается. Сперва она ни за что не хотела брать мои полкроны, но я все же положил монету на стул, хотя она протестовала и все твердила: «Не надо». Она так робка и столько натерпелась из-за своей робости.

– Как ее зовут?

– Марта Гудэ.

– Марта Гудэ.

Нагель вынул свою записную книжку, записал ее имя и спросил:

– Она была замужем? Она вдова?

– Нет. Много лет, пока ее отец водил корабли, она плавала вместе с ним, а когда он умер, поселилась здесь.

– Неужели у нее нет родных?

– Право, не знаю, должно быть, нету.

– На что же она живет?

– Бог ее знает. Это никому не известно. Наверное, получает иногда небольшое пособие от благотворительного общества.

– Послушайте, вы ведь были у нее, у этой Марты Гудэ. Как выглядит ее комната?

– Ну, как может выглядеть комната в такой халупе? Кровать, стол и два стула. Впрочем, нет, припоминаю, что стульев вроде три, потому что в углу, у кровати, также стоит стул, вернее, кресло, обтянутое красным плюшем; оно настолько ветхое, что придвинуто к стене. Больше в комнате ничего нет.

– В самом деле? Так-таки ничего? Неужели на стене нет часов, или старой картины, или еще чего-нибудь в этом роде?

– Нет, а почему вы спрашиваете?

– Ну, а это кресло, обтянутое красным плюшем, кресло, которое уже не может само стоять и придвинуто к стене, как оно выглядит? Оно очень старое? Совсем рухлядь? На нем нельзя сидеть? Но тогда почему оно у кровати?.. Скажите, какая у него спинка? Высокая?

– Да, как будто высокая, точно не помню.

У могилы хором затянули псалом. Погребенье закончилось. Когда допели последний стих, наступила полная тишина. Потом люди стали расходиться. Большая часть толпы направилась к главным воротам кладбища, но многие еще стояли группками и тихо разговаривали. Целая компания молодых людей пошла по дорожке мимо Минутки и Нагеля; дамы с нескрываемым удивлением разглядывали обоих, и глаза их блестели от любопытства. Дагни Хьеллан залилась краской, она глядела прямо перед собой, не смея отвести взгляда ни вправо, ни влево; поверенный тоже не глядел по сторонам и чрезмерно оживленно беседовал со своей спутницей. Когда компания поравнялась с сидящими на мраморной плите мужчинами, доктор Стенерсен остановился и поманил Минутку. Минутка тут же вскочил и подбежал к доктору, а Нагель остался один.

– Попросите, пожалуйста, этого господина, – донеслось до Нагеля, больше он ничего не расслышал, но вслед за тем доктор довольно громко произнес его имя, и тогда он тоже встал, снял свою бархатную кепку и поклонился.

Доктор извинился; он взялся выполнить малоприятное поручение одной из дам, с которыми сейчас шел, фрекен Меек. Она просит бережнее обращаться с этим мраморным надгробием: ведь плита совсем новая, ее только-только положили. Цемент еще не застыл, а земля рыхлая, и памятник может неравномерно осесть и покоситься. Это просьба сестры покойной.

Нагель рассыпался в извинениях. Это было с его стороны проявлением досадной рассеянности, непростительной небрежности, он прекрасно понимает беспокойство фрекен Меек. И он поблагодарил доктора.

Продолжая разговор, они пошли вместе по дорожке вслед за компанией. У ворот кладбища Минутка откланялся и ушел. Доктор и Нагель остались вдвоем. Только тут они представились друг другу.

– Так вы намерены пожить здесь некоторое время? – спросил доктор.

– Да, – ответил Нагель. – Надо следовать обычаю жить летом на свежем воздухе, отдыхать, набираться сил на зиму, чтобы снова приняться за работу. Это прелестный городок.

– Откуда вы? Я все вслушиваюсь в ваше произношение и никак не могу определить, из какой вы местности.

– Родом я, собственно говоря, из Финмаркена. Я квен. Но жил повсюду, то тут, то там.

– А сейчас из-за границы?

– Всего лишь из Гельсингфорса.

Сперва они говорили о несущественных вещах, но вскоре разговор коснулся серьезных вопросов – выборов, неурожая в России, литературы и смерти Карлсена.

– Как, по-вашему, вы хоронили сегодня самоубийцу? – спросил Нагель.

Доктор не может, да и не желает отвечать на этот вопрос. Его это не касается, и у него нет никакой охоты впутываться в эту историю. Говорят самое разное, впрочем, почему бы и не самоубийство? Всем теологам следовало бы наложить на себя руки.

– А почему, собственно?

– Почему? Да потому, что их роль уже сыграна, потому что наш век в них не нуждается. Люди начали думать сами, и религиозное чувство все больше и больше исчезает.

«Левый», – думает Нагель. Он не может понять, что выиграет человечество, если уничтожить все символы, всю поэзию. Кроме того, еще вопрос, в самом ли деле все теологи окажутся в наше время лишними, тем более что религиозное чувство отнюдь не ослабевает...

– Само собой разумеется, я имею в виду не низшие слои общества, хотя и там все больше и больше... Что до образованных людей, то у них оно безусловно исчезает. Впрочем, не стоит больше об этом говорить. Наши точки зрения столь решительно расходятся, – резко оборвал доктор.

Он человек свободомыслящий и такого рода возражения слышал так часто, что и счет им потерял. Но разве это поколебало его убеждения? Вот уже двадцать лет он ни на йоту не изменяет самому себе. Как врач, он постепенно вытравлял из сознания своих пациентов представление о душе... Нет, нет, он уже перерос все эти предрассудки... Что вы думаете о выборах?

– О выборах? – Нагель рассмеялся. – Надеюсь, что все будет в порядке.

– Конечно, я тоже! – подхватил доктор. – Если правительство не получит большинства при такой действительно демократической программе, это будет просто позор.

Доктор принадлежал к «левым» и был радикалом с тех самых пор, как стал немного разбираться, что к чему. Его тревожит положение в округе Бускеруд, да и, пожалуй, на округ Смоленен надежды тоже плохи. Вся беда в том, что у «левых» слишком мало средств. Люди с деньгами, такие, как вы, должны бы нас поддержать. Ведь сейчас, в самом деле, поставлено на карту будущее страны.

– Я? С деньгами? – переспросил Нагель. – Увы, на этот счет мне похвастаться нечем.

– Ну, понятно, вы не миллионер, но кто-то говорил мне, что вы богач, что вы, например, владеете поместьем, оцененным в шестьдесят две тысячи крон.

– Ха-ха-ха! Потеха, да и только! В действительности же я на днях получил небольшое наследство от матери – несколько тысяч крон. Вот

и все. Никакого поместья и в помине нет. Это мистификация.

Тем временем они дошли до дома доктора – двухэтажного особняка с верандой, крашеного охрой. Краска кое-где облупилась, водосливы проржавели, в одном из окон второго этажа было выбито стекло, а занавески отнюдь не отличались свежестью. Запущенность дома неприятно поразила Нагеля, и ему тут же захотелось уйти, но доктор сказал:

– Не зайдете ли к нам? Нет? Но я надеюсь тогда увидеть вас у себя в другой раз. Моя жена и я будем вам очень рады. А то, может быть, зайдете, познакомитесь с женой?

– Но ведь ваша жена была на похоронах, едва ли она вернулась.

– Пожалуй, вы правы. Она ушла с кладбища с друзьями. Тогда милости прошу в другой раз, когда будете проходить мимо.

Нагель направился к себе в гостиницу. Как раз в тот момент, когда он собирался войти в дверь, он что-то вспомнил. Он прищелкнул пальцами, коротко, но громко рассмеялся и произнес почему-то вслух: «Любопытно, там ли еще стишок?» После этого он повернул назад, дошел до кладбища и разыскал могилу Мины Меек. Вокруг не было ни души, но стишок оказался стертым. Кто это сделал? От написанных карандашом слов не осталось и следа.

На следующее утро Нагель был веселым и просветленным. Это настроение пришло к нему, когда он еще лежал в постели. Ему вдруг почудилось, что потолок его комнаты поднимается все выше и выше, уходит в бесконечность и превращается в далекий и ясный небосвод. И он явственно ощутил, что его обвевает мягкий, ласковый ветер, словно он лежит на лужайке в зеленой траве. В комнате жужжали мухи; было теплое летнее утро.

Он мигом оделся, вышел из гостиницы, не позавтракав, и отправился бродить по городу. Пробыло одиннадцать часов.

Чуть ли не из каждого дома доносились звуки рояля, из открытых окон, от квартала к кварталу, неслись разные мелодии, и какой-то чувствительный пес отвечал им протяжным воем. Светлая, безотчетная радость овладела Нагелем, исподволь он начал напевать что-то про себя, а когда прошел мимо старика, который поклонился ему, он воспользовался этим, чтобы сунуть старику шиллинг.

Поравнявшись с большим белым домом, он замечает, что на втором этаже распахивается окно и тонкая белая рука опускает крючок в петлю. Занавеска продолжает колыхаться, рука задерживается на крючке, и Нагель соображает, что кто-то из-за занавески наблюдает за ним. Он останавливается и глядит вверх, он долго стоит, выжидая, но никто не показывается в окне. Тогда он смотрит на табличку у двери: «Ф.М.Андерсен, датское консульство».

Нагель пошел было дальше, но еще раз обернулся и увидел в окне продолговатое аристократическое лицо фрекен Фредерики, которая устремила на него удивленный взгляд. Он снова остановился, глаза их встретились, и ее щеки постепенно стали пунцовыми, но, словно бросая вызов, фрекен Фредерика слегка подтянула рукава и облокотилась на подоконник. Она долго стояла так, не меняя позы, и Нагель решил положить этому конец и двинулся дальше, а на ум ему пришла странная мысль: уж не стояла ли молодая дама на коленях перед окном. «Если это так, – рассуждал он про себя, – то в доме консула очень низкие потолки, потому что окно находится на высоте не более шести футов, а от верха рамы до крыши нет и фута». Он тут

же рассмеялся над своими дурацкими расчетами, – на кой ляд ему сдался дом консула Андерсена!

Внизу, на пристани, работа кипела вовсю. Грузчики, таможенные чины, рыбаки сновали у причалов и суетились, каждый был занят своим делом, гремела цепью лебедка, два парохода почти одновременно загудели, готовясь к отплытию. Море сверкало, как зеркало, отражая ослепительный солнечный свет, и казалось, что это не море, а гигантский диск из чистого золота, в который впаяны пароходы и лодки. С огромного трехмачтового судна, стоящего на рейде, доносились трели шарманки, и когда на мгновение смолкали гудки пароходов и грохот лебедки, тоскливая мелодия робко, словно прерывистый замирающий девичий голос, заполняла тишину. На борту трехмачтовика команда веселилась, и матросы, дурачась, лихо отплясывали польку под дрожащие звуки унылой песенки.

Вдруг Нагель заметил девочку, совсем крохотку, которая стояла, прижав к груди кошку; задние лапы свисали, почти касаясь земли, но кошка терпеливо все сносила и не делала никаких попыток вырваться. Нагель погладил девочку по щеке.

– Это твоя кошка? – спросил он.

– Да. Два, четыре, шесть, семь.

– Вот как, ты и считать умеешь!

– Да. Семь, восемь, одиннадцать, два, четыре, шесть, семь.

Он пошел дальше. В той стороне, где находилась усадьба пастора, взмыл в небо белый голубь, словно ошалевший от солнца, и тут же исчез за верхушками деревьев. Он был подобен серебряной стреле, сверкнувшей вдали. Раздался негромкий сухой выстрел, и вслед за ним над лесом, по ту сторону залива, поднялось облачко голубоватого дыма.

Дойдя до последнего причала. Нагель несколько раз прошелся взад-вперед по пустынной набережной, а потом почему-то взобрался на холм и скрылся в лесу... Он шагал уже добрых полчаса, все больше и больше углубляясь в чащу, и остановился наконец на узенькой тропинке. Его поразила тишина вокруг, ни звука, ни даже птичьего щебета, а на небе ни облачка. Он отошел на несколько шагов в сторону, выбрал место посуше и лег на спину, вытянувшись во весь рост. Справа находилась усадьба пастора, слева – город, а над ним безбрежным океаном раскинулось голубое небо.

Вот бы очутиться там, в вышине, побродить между светилами и почувствовать, как кометы своими хвостами овевают твой лоб! Как мала земля и как жалок человек! Чего стоит вся Норвегия с двумя миллионами крестьян и земельным банком для получения ссуд? Быть человеком ради такой малости? В поте лица, локтями проталкиваться вперед сколько-то там лет, полных забот, чтобы затем все-таки, все-таки исчезнуть! Нагель стиснул руками голову. Это кончится тем, что он сам уйдет из жизни, сам поставит точку. Хватит ли у него духу? Решится ли он? Да. Бог свидетель, он не пойдет на попятный в последний момент. И вдруг он почувствовал себя невыразимо счастливым от мысли, что у него в запасе есть этот простой выход. Он так разволновался, что на глазах его выступили слезы, и у него перехватило дыханье. И снова он как бы плыл по небесному океану, закидывал серебряную удочку и напевал. И лодка его из благоуханного дерева, и весла сияют, как белые крылья, и парус – полумесяц голубого шелка...

Он дрожал от радостного возбуждения, забыл обо всем на свете и отдался жгучим солнечным лучам. Он словно опьянел от тишины, ничто не разрушало колдовства этих минут, только откуда-то сверху доносился мелодичный мягкий звук, похожий на шум ветра, – это гудела машина вселенной, это бог крутил свое колесо. А лес застыл, – ничто не шелохнется, ни лист, ни даже иголка на сосне. Нагель сжался в комочек, подтянул к подбородку колени, его бил озноб – так остро он ощущал переполнившую его радость. Кто-то вдруг позвал его, и он ответил «да»; он приподнялся, опираясь на локоть, и огляделся – никого не было видно. Он еще раз крикнул «да!» и прислушался, но никто не отозвался. Это было странно, он так отчетливо слышал, что кто-то назвал его по имени; но он тут же перестал об этом думать, ведь ему могло и померещиться, во всяком случае, он не допустит, чтобы ему мешали. Он был в каком-то странном состоянии, каждая клеточка его тела налилась физическим ощущением блаженства, каждый нерв ликовал, и кровь пела в жилах, он чувствовал свое нерасторжимое сродство с природой – с солнцем, с горами, со всем, что его окружало, каждое дерево, каждая кочка, каждая травинка казались ему его вторым "я".

Так пролежал он довольно долго, наслаждаясь одиночеством. Вдруг он услышал чьи-то шаги, на этот раз действительно услышал,

тут уж он не мог ошибиться. Он приподнял голову и увидел человека, который шел по тропинке из города. Человек этот нес под мышкой ковригу хлеба и вел за собой на веревке корову. Он то и дело вытирал пот с лица, куртку он перекинул через руку – очень уж было жарко, но шея у него все же была дважды обмотана толстым красным шарфом. Нагель лежал тихо и наблюдал за крестьянином. Вот он перед нами, полюбуйтесь! Вот он, истинный норвежец, потомственный хуторянин. Ха-ха! Уроженец здешних мест, соль земли, с ковригой под мышкой и коровой, плетущейся следом. Ну и зрелище! Ха-ха-ха-ха-ха! Размотал бы ты, с божьей помощью, о норвежский викинг, свой красный шарф да вытряхнул бы из него вшей! Но тогда ты погиб бы, ты плотнул бы свежего воздуха и тут же помер. И газеты оплакивали бы твою безвременную кончину и посвятили бы тебе все свои страницы. И чтобы не допустить в дальнейшем повторения этой печальной истории, либеральный депутат Ветле Ветлесен внес бы в стортинг законопроект о строжайшей охране национальных паразитов.

В голове Нагеля роились саркастические образы. Он вскочил и отправился в обратный путь, взвинченный и в дурном настроении. Нет, все-таки он всегда оказывается прав, куда ни глянь – нигде ничего не увидишь, кроме вшей, лежалого сыра и катехизиса Лютера. А горожане, эти обыватели средней руки, замурованные в своих убогих домишках, недоедают, изо дня в день торгуют зеленым мылом, медными гребешками и рыбой и тешат себя лишь водкой да выборами. По ночам же, когда грохочет гром и сверкают молнии, они трясутся в своих постелях и в страхе бормочут молитвы из сборника Юхана Арендта. Покажите мне хоть одно исключение, скажите, возможно ли оно? Подарите нам, например, хоть одно выдающееся преступление, махровый грех. Я не говорю о мелких, мещанских грешках, нет, я имею в виду такое бесстыдное распутство, от которого бы волосы стали дыбом, кровавое злодеяние, королевский грех, исполненный чудовищной красоты ада! Ах, до чего все ничтожно! Что вы думаете о выборах, сударь? Меня тревожит положение в округе Бускеруд...

Но когда Нагель снова оказался на пристани, в самой гуще деловой сутолоки, его настроение стало мало-помалу исправляться, он повеселел, даже начал опять напевать себе что-то под нос. Да разве устоишь против такой погоды! День выдался на редкость хороший,

просто отличный, сияющий июньский день. Весь городок утопал в солнце и сверкал, словно волшебный.

Пока Нагель дошел до гостиницы, дурное настроение отлетело от него, горечь исчезла, в сердце не было злости, и снова возник образ лодки из благоуханного дерева с парусом из голубого шелка в виде полумесяца.

Это приподнятое состояние не покидало Нагеля весь день. Под вечер он снова вышел пройтись, снова направился к морю, и снова множество мелочей приводило его в восторг. Солнце садилось, резкий, слепящий дневной свет был уже приглушен и мягко разливался по морской глади; ничто не нарушало тишины, кроме звуков, доносящихся с кораблей, но и они стихали. Нагель заметил, что на пристани то там, то здесь стали вывешивать флаги, да и на многих домах города тоже, и вслед за тем вся работа в порту прекратилась.

Он не обратил на это никакого внимания и снова пошел в лес, долго бродил, очутился в конце концов у пасторской усадьбы и даже заглянул во двор, потом снова вернулся в лес, продрался в чащу, где было уже совсем темно, и присел на валун. Одной рукой он подпер голову, пальцами другой барабанил по колену. Так сидел он долго-долго, быть может, целый час, а когда наконец поднялся, солнце уже зашло, синяя дымка сумерек окутала город.

Выйдя из леса, он остановился, пораженный. На холмах, куда ни глянь, всюду горели костры – их было, наверно, не меньше двадцати, они пылали, как маленькие солнца. Залив кишмя кишел лодками, и на них то и дело рассыпались красные и зеленые искры – это жгли бенгальские огни. С одной из лодок, с той, в которой пели четверо гребцов, пустили даже несколько ракет. На набережную высыпало множество людей, они прогуливались или стояли группами, а пристань была просто черной от народа.

Нагель не смог сдержать возгласа изумления, он обратился к первому встречному и спросил, что означают эти костры и флаги. Тот взглянул на Нагеля, сплюнул, еще раз взглянул и ответил, что сегодня двадцать третье июня – канун Иванова дня. Вот оно что, канун Иванова дня! Ну конечно, так оно и есть, ошибки тут быть не может, ведь нынче и в самом деле двадцать третье июня. Подумать только, ко

всему сегодня еще и ночь на Ивана Купалу! Одна радость догоняет другую, канун Иванова дня, вот ведь какая штука! Весело потирая руки, Нагель тоже поспешил на пристань и все повторял про себя, что сегодня у него удивительно счастливый день.

Еще издали Нагель увидел кроваво-красный зонтик Дагни Хьеллан, а когда, подойдя поближе, заметил, что в группе молодых людей, с которыми стояла фрекен Хьеллан, был и доктор Стенерсен, он, не долго думая, направился прямо к нему. Нагель приподнял кепку, пожал ему руку и почему-то еще долго стоял с непокрытой головой. Доктор представил его обществу; фру Стенерсен тоже протянула ему руку, и он сел рядом с ней. Она поражала бледностью, землисто-серый цвет кожи придавал ей болезненный вид, но она была очень молода, едва ли старше двадцати лет. Она куталась в не по сезону теплую накидку.

Нагель надел кепку и сказал, обращаясь ко всем:

– Прошу извинить, что я ворвался в ваше общество таким незванным...

– Да что вы, вы этим доставили нам только удовольствие, – любезно прервала его фру Стенерсен. – Быть может, вы нам что-нибудь споете?

– Увы, я не в силах этого сделать. Я начисто лишен каких-либо музыкальных талантов.

– Напротив, очень удачно, что вы пришли, – сказал доктор Стенерсен, – мы как раз о вас говорили. Вы ведь играете на скрипке?

– Нет, – ответил Нагель, покачал головой и улыбнулся. – Нет, я не играю...

И вдруг, безо всякого повода, он вскакивает с места и говорит с сияющими глазами:

– Я так счастлив сегодня. Весь день, с самого утра, с той самой минуты, как проснулся, у меня радостно на душе. Вот уже десять часов, как я словно зачарованный. Представьте себе, меня буквально преследует видение: будто я плыву в лодке из благоуханного дерева с голубым шелковым парусом в виде полумесяца. Разве это не чудесно? Запах дерева я описать не могу при всем желании, даже если бы умел находить точные слова... Нет, вообразите только, я сижу в этой лодке и закидываю удочку, серебряную удочку... Простите, но разве вы, милые дамы, не находите, что это... Не знаю, право, как это выразить.

Дамы молчали, переглядывались в смущении, словно спрашивая друг у друга, как следует себя вести. В конце концов кто-то из них засмеялся, и тогда, не зная жалости, все они громко расхохотались.

Нагель обвел их взглядом, глаза его горели, он явно еще думал о лодке с голубым парусом, но руки его слегка задрожали, хотя лицо сохраняло спокойствие. Доктор, чтобы его выручить, сказал:

– Понятно, это своего рода галлюцинации, которые...

– Нет, прошу прощения, – перебил его Нагель. – А впрочем, пусть так, почему бы и нет? Дело ведь не в том, как вы это назовете. Я весь день грезил наяву, а была ли это галлюцинация или еще там что-нибудь, – право, не знаю. Началось это с самого утра; когда я еще лежал в постели, я услышал, как жужжит муха, это было мое первое осознанное восприятие после того, как я проснулся; потом я увидел, как солнечный луч вонзается в комнату сквозь дырочку в шторе. И тут же меня охватило светлое, радостное чувство. В душе моей возникло ощущение лета. Представьте себе еле уловимый шелест растущей травы, и звук этот пронизывает ваше сердце... Вы говорите – галлюцинации, – да, вероятно, я этого не знаю; но прошу обратить внимание на мою особую восприимчивость в это утро, на то, что я услышал жужжание мухи как раз в нужный момент и что именно в этот момент достаточно было ровно столько солнечного света и такой яркости, как тот луч, который проник ко мне сквозь дырочку в шторе, ну и так далее... А когда я потом встал и вышел на улицу, я первым делом увидел прелестную даму в окне особняка, – тут он поглядел на фрекен Андерсен, которая опустила глаза, – потом я увидел корабли, потом маленькую девочку с кошкой на руках и так далее, и так далее – то есть множество разных вещей, произведших на меня определенное впечатление. Вскоре после этого я попал в лес, и там, когда я лежал на спине и глядел в небо, мне представилась лодка и полумесяц паруса.

Дамы опять засмеялись; доктор, казалось, тоже заразился их весельем и спросил уже с улыбкой:

– Так вы, значит, удили серебряной удочкой?

– Да, серебряной.

– Ха-ха-ха!

И вдруг Дагни Хьеллан, густо покраснев, сказала:

– А я прекрасно понимаю, как такое может пригрезиться. Я вот отчетливо вижу и эту лодку, и голубой парус, подобный полумесяцу...

и сверкающую серебряную удочку над водой. По-моему, это красиво...

Больше она ничего не могла сказать, она запнулась и умолкла, потупив глаза.

Нагель тут же пришел ей на помощь.

– Ведь верно? И я сказал самому себе: это вещее видение. Да, это предзнаменование, и пусть оно поможет тебе понять, что нельзя удить в мутной воде, только в чистой, только в чистой!.. Вот вы, доктор, спросили, играю ли я на скрипке? Нет, я не играю, я не умею играть. Я вожу с собой футляр от скрипки, но в нем нет инструмента, – увы, один футляр, он набит грязным бельем. Мне казалось, что если в твоём багаже не только чемоданы, но и скрипка, – это производит хорошее впечатление. Вот я и завел себе такой футляр. Быть может, у вас составится теперь очень дурное мнение обо мне, но тут уж ничего не попишешь, хотя, поверьте, я искренне сожалею... А впрочем, во всем виновата серебряная удочка.

Изумленные дамы не смеялись больше. Доктор, поверенный Рейнерт из окружного суда и адъюнкт – все трое застыли, разинув, как говорится, рты от удивления. Взгляды всех были прикованы к Нагелю, доктор был явно растерян. Что это нашло на этого странного, невесть откуда появившегося господина? А сам Нагель преспокойно сидел на своем месте и, видно, ничего больше говорить не собирался. Тягостному молчанию, казалось, не будет конца. Но тут положение спасла фру Стенерсен. Она была сама любезность, окружала всех прямо-таки материнской заботой и бдительно следила, чтобы никто не чувствовал себя обиженным. Она даже нарочно морщила лоб и сдвигала брови и вообще старалась казаться старше своих лет только для того, чтобы придать своим словам больший вес.

– Вы приехали из-за границы, господин Нагель?

– Да, сударыня.

– Из Гельсингфорса, так, кажется, говорил мне муж?

– Да, из Гельсингфорса. То есть сейчас я непосредственно из Гельсингфорса. Я агроном и прослушал там небольшой курс лекций.

Пауза.

– А как вам понравился город? – снова спросила фру Стенерсен.

– Гельсингфорс?

– Нет, наш город.

– О, это чудный город, прелестное местечко. Просто не хочется отсюда уезжать, решительно не хочется. Ха-ха! Пожалуйста, не пугайтесь, быть может, я все же в конце концов уеду, смотря по тому, как сложатся обстоятельства... А ргорос, – добавил он и снова вскочил с места. – Если я помешал вам, то прошу извинить меня. Дело в том, что мне очень приятно посидеть вот так с вами. У меня, собственно говоря, почти никого нет, проводить время мне, можно сказать, не с кем. Я всем чужой, поэтому я приучил себя сам с собой разговаривать. Вы доставите мне большое удовольствие, если просто забудете о моем присутствии и продолжите вашу беседу, словно меня здесь нет.

– Однако вы уже успели внести некоторое разнообразие в нашу жизнь, – злобно заметил поверенный Рейнерт.

На это Нагель ответил:

– Да, господин поверенный, вам я должен принести еще особые извинения, я готов дать вам любое удовлетворение, которое вы пожелаете, но не сейчас. Хорошо? Только не сейчас.

– Да, конечно, сейчас не время и не место, – согласился Рейнерт.

– А кроме того, у меня сегодня так радостно на душе, – сказал Нагель и как-то особенно тепло улыбнулся. От этой улыбки лицо его просветлело, и он вдруг стал похож на ребенка. – Какой удивительный сегодня выдался вечер, а скоро загорятся и звезды. Вокруг на холмах полыхают костры, а с моря доносится пенье. Прислушайтесь! По моему, поют неплохо. В пенье, правда, я мало что смыслю, но разве это не прекрасно? Мне вспоминается одна ночь на Средиземном море, у берегов Туниса. На борту нашего парохода было человек сто пассажиров, – все артисты хора, плыли они из Сардинии. Я, естественно, держался в стороне, да и петь я не умею, я просто сидел на палубе и слушал, как хор поет в салоне, они пели всю ночь напролет. Никогда не забуду, как звучали песни той душевной, южной ночью. Я тихо притворил все двери салона, я, так сказать, запер их пенье, и тогда стало казаться, будто звуки эти поднимаются откуда-то из морской глубины, да, будто наш пароход уносится под эти звуки в вечность. Представьте себе поющее море, Нептунов хор.

Фрекен Андерсен, сидевшая рядом с Нагелем, не смогла удержаться, чтобы не воскликнуть:

– Боже! Как это, должно быть, замечательно!

– Я однажды слышал еще более прекрасное пенье, но это было во сне. Да и сон этот приснился мне давным-давно, когда я был еще маленьким. Взрослым не снятся такие чудные сны.

– Разве не снятся? – переспросила фрекен Андерсен.

– Нет. Возможно, это некоторое преувеличение, но... Мой последний сон я до сих пор помню очень ясно: передо мной раскинулось бескрайнее болото... Впрочем, извините меня, я болтаю без умолку и мучаю вас, заставляя все это выслушивать. Так недолго и наскучить. Поверьте, я не всегда так много говорю.

Но тут Дагни Хьеллан снова вступила в разговор.

– Я уверена, что любой из присутствующих предпочитает слушать вас, нежели говорить сам. – И, наклонившись к фру Стенерсен, она прошептала: – Уговорите его, пожалуйста, продолжать, дорогая, прошу вас, сделайте это. Какой у него голос, послушайте только!

– Я охотно буду продолжать, – сказал Нагель с улыбкой. – Сегодня я что-то особенно расположен говорить. Одному богу известно, что это на меня нашло... Впрочем, в том сне ничего особенного и не было. Передо мной, значит, раскинулось огромное болото. Деревья на нем не росли, но оно было покрыто какими-то корнями, походившими на извивающихся змей. И среди этих странных корней бродил сумасшедший. Он и сейчас еще стоит у меня перед глазами – бледное лицо с темной бородой, но такой короткой и редкой, что сквозь нее просвечивает кожа. Он озирается по сторонам, и его широко открытые глаза полны страдания. Я лежал, притаившись, за камнем и окликнул его. Он тут же поглядел на этот камень, нисколько не удивившись, что его окликают, словно он прекрасно знал, что я лежу именно там, хотя из-за камня меня не было видно. Безотрывно смотрел он на камень, а я думал: «Все же ему меня не найти, ну, а в крайнем случае, если он ко мне приблизится, я всегда успею отскочить». И хотя мне было не по себе от его пристального взгляда, я снова окликнул его, чтобы подразнить. Он сделал несколько шагов по направлению ко мне и оскалился, норовя вцепиться в меня зубами, но он не мог больше сделать ни шагу – нагромождения корней преграждали ему путь, пригибали его к земле. Он оказался словно прикованным к месту. Я снова крикнул ему, я кричал много раз подряд, и он в ярости попытался продрасться сквозь корни, хоть как-то раздвинуть их и

проложить себе путь; он хватал корни охапками, расшвыривал их по сторонам, выбивался из сил, стремясь настигнуть меня, но тщетно. Тогда он застонал от бессилья, я явственно расслышал его стоны. В глазах его застыла невыносимая боль. Когда я убедился, что нахожусь в полной безопасности, я поднялся, встал перед ним во весь рост и принялся махать кепкой и дразнить его пуще прежнего. Я все кричал и кричал: «Эй ты!» – топал ногами и снова кричал. Потом я подобрался еще ближе к нему, и, чтобы довести несчастного до иступления и окончательно лишить его рассудка, тыкал в него пальцем и снова и снова оскорбительно орал ему в самое ухо: «Эй ты, эй ты!» Потом я отбежал немного назад, – пусть, мол, поймет, как близко я стоял от него. Но он все еще не сдавался, он продолжал воевать с корнями; остервенев от боли, он все еще пытался расшвырять их по сторонам, он весь изодрался, разбил в кровь лицо и, поднявшись на цыпочки, глядел на меня в упор и вопил! Пот градом катился с его лица, искаженного нечеловеческой мукой оттого, что он не мог меня настигнуть. А я, я весь сгорал от желания разъярить его еще больше. Я снова подскочил к нему, защелкал у него под самым носом пальцами и с гнусной ухмылкой произнес: «Хи-хи-хи». Потом я швырнул в него корнем и угодил ему в губы, чуть не сбил его с ног, но он только сплюнул кровь, отер губы ладонью и тут же вновь принялся расшвыривать корни. Тогда я, совсем осмелев, протянул руку, чтобы стукнуть его по лбу, я хотел тут же отскочить, но он успел вцепиться мне в руку. О господи, как это было страшно! Он в ярости рванулся ко мне и, как клешней, стиснул мне руку. Я закричал и отпрянул от него, и он, не выпуская моей руки, послушно поплелся за мной. Мы выбрались из болота. Теперь, когда он держал меня за руку, корни перестали быть ему помехой. Мы подошли к тому камню, за которым я сперва притаился. Тут он вдруг упал на колени и стал целовать землю, по которой я ступал; окровавленный, истерзанный, он валялся передо мной в грязи и благодарил меня за то, что я был так добр к нему. Он благословлял меня и просил господа бога благословить меня за мою доброту. Его широко раскрытые глаза светились преданной мольбой, он молился за меня и целовал не мои руки, даже не башмаки, но землю, только землю, по которой я ступал. Я спросил: «Почему ты целуешь землю?» – «Потому что рот мой кровоточит и я не хочу запачкать твои башмаки», – ответил он.

Подумать только, он не хотел запачкать мои башмаки! Тогда я снова спросил: «За что же ты благодаришь меня, ведь я причинил тебе только зло и страдание?» – «Я благодарю тебя за то, – ответил он, – что ты не причинил мне еще больших страданий, за то, что ты был добр ко мне и не истязал меня еще больше». – «Хорошо, – сказал я, – но почему же ты тогда кричал мне что-то и даже щерил зубы, чтобы вцепиться в меня?» – «Я вовсе не хотел в тебя вцепиться, я открыл рот, чтобы просить тебя о помощи, но я не смог выговорить ни слова, и ты не понял меня. А кричал я от невыносимого страдания». – «Ты кричал от страдания?» – переспросил я. «Да...» Я поглядел на сумасшедшего, он все еще отплевывался кровью, но продолжал молиться за меня. И тут я понял, что уже видел его прежде, что я его знаю, и был он вовсе не таким уж старым – седые волосы, жалкая реденькая борода... Это был Минутка.

Нагель умолк. Все были потрясены. Поверенный Рейнерт опустил глаза и долго не отрывал взгляда от земли.

– Минутка? Это был Минутка? – переспросила фру Стенерсен.

– Да, он, – ответил Нагель.

– Уф! Мне даже стало как-то не по себе.

– А я это знала! – вырвалось вдруг у Дагни Хьеллан. – Я поняла это, когда вы сказали, что он бросился на колени и стал целовать землю. Поверьте, я тотчас догадалась. Вы хорошо с ним знакомы?

– Нет. Я виделся с ним раза два, не больше... Но послушайте, боюсь, я вам всем вконец испортил настроение. Сударыня, вы так побледнели. Помилуй бог, ведь все это мне приснилось!

– Да, это уже никуда не годится, – подхватил доктор. – Черт с ним, с этим Минуткой, пусть себе целует на здоровье хоть все корни в Норвегии, нам-то что... Ну вот и фрекен Андерсен расплакалась. Ха-ха-ха!

– Я и не думаю плакать, – сказала фрекен Андерсен. – С чего это вы взяли? Но, по правде сказать, сон произвел на меня впечатление. Впрочем, я думаю, что и на вас тоже.

– На меня? – воскликнул доктор. – Разумеется, нет! Ни малейшего! Ха-ха-ха! Да вы все просто с ума посходили. Давайте-ка лучше пройдемся. А ну, поднимайтесь, поднимайтесь. Становится прохладно. Ты не озябла, Йетта?

– Нет, ничуть. Посидим еще немного, – ответила ему жена.

Но доктор во что бы то ни стало хотел гулять. Он снова сказал, что становится прохладно и что если общество не желает, то он пойдет один, потому что не в состоянии больше сидеть без движения. Нагель встал и пошел вместе с ним.

Они прошли несколько раз взад-вперед по набережной, с трудом пробираясь сквозь толпу, болтали о том о сем и раскланивались со знакомыми. Так гуляли они около получаса, пока фру Стенерсен не крикнула им:

– Идите скорей сюда! Знаете, что мы решили? Собраться завтра вечером у нас. Пригласим побольше народу. И вы, господин Нагель, тоже непременно должны прийти. Но предупреждаю, у нас так заведено: чем больше общество, тем меньше угощения...

– Но зато тем больше шума, – весело перебил ее доктор, – это известно. А знаешь, тебе сейчас пришла недурная идея, Йетта. Ты не всегда бываешь так находчива. – У доктора тут же исправилось настроение, лицо его расплылось в улыбке в предвкушении завтрашнего веселья. – Только не приходите поздно, и будем надеяться, что меня не вызовут к больному.

– Но я ведь не могу прийти в этом костюме, – сказал Нагель. – А другого у меня нет.

Все засмеялись, а фру Стенерсен воскликнула:

– Приходите безо всяких церемоний. Это будет очень мило.

На обратном пути Нагель оказался рядом с Дагни Хьеллан. Он не приложил для этого никаких особых стараний, все вышло как-то само собой. Но и Дагни не сделала ничего, чтобы этого избежать. Она сказала, что уже заранее радуется завтрашнему вечеру, потому что у доктора всегда бывает уютно и просто, Стенерсены – превосходные люди, и у них очень весело, но тут вдруг Нагель перебил ее и спросил, понизив голос:

– Смею ли я надеяться, фрекен, что вы простили мне ту нелепую выходку в лесу?

Он произнес это горячим шепотом, так взволнованно, что она была вынуждена ответить:

– Да, теперь мне понятнее ваше поведение в тот вечер. Вы, видно, не совсем такой, как все.

– Благодарю вас, – прошептал он. – Да, да, я благодарю вас так, как никогда не благодарил никого в жизни. Но почему вы думаете, что

я не такой, как все? Знайте, фрекен, что весь вечер я старался сгладить то дурное впечатление, которое, наверное, сложилось у вас обо мне поначалу. Каждое мое слово было предназначено только для вас. Ну, что вы на это скажете? Только прошу вас помнить, что я очень виноват перед вами и должен был что-то предпринять. Правда, весь нынешний день я и в самом деле находился в каком-то совсем особом настроении; но все же я намеренно изобразил себя хуже, чем я есть на самом деле, играл роль – и все это лишь затем, чтобы заставить вас поверить, что я действительно не вполне вменяем, что я вообще способен на странные выходки; я надеялся, что так скорее заслужу ваше прощение. Поэтому я ни к селу ни к городу вылез со своими снами и даже выставил себя на смех, рассказав о футляре для скрипки, добровольно признался в чудачестве, хотя никто меня к этому не вынуждал...

– Простите, – поспешно прервала она его. – Зачем вы мне это рассказываете и снова портите все дело?

– Нет, я ничего не порчу. Если я вам признаюсь, что в тот вечер в лесу я действительно на мгновение поддался дурному чувству и бросился за вами, вы меня поймете. Мне вдруг нестерпимо захотелось напугать вас за то, что вы побежали от меня. Ведь я вас тогда еще не знал. Но если я сейчас говорю вам, что я такой же, как и все, вы меня тоже поймете. Я ломал комедию и своим нелепым поведением поверг в изумление целое общество с единственной целью смягчить вас настолько, чтобы вы согласились хотя бы выслушать меня. И этого я добился. Вы меня выслушали – и все поняли.

– Нет, я должна откровенно признаться, что не совсем понимаю вас. Ну, пусть так. Я не стану ломать себе голову...

– И не нужно, с какой стати! Но признайтесь, завтрашний прием устраивают потому, что, по общему мнению, я – странный тип, этаким чудак, от которого можно ожидать разных нелепых выходов. Боюсь, я вас разочарую, не исключено, что я за весь вечер и рта не раскрою, а может, и вообще не приду. Одному богу известно, что будет завтра.

– Нет, вы непременно должны прийти.

– Должен? – переспросил он и посмотрел на нее.

Больше она ничего не сказала. Они молча шли рядом.

Так они дошли до дороги, ведущей к усадьбе пастора. Фрекен Хьеллан остановилась, рассмеялась вдруг и сказала:

– Нет, в жизни еще такого не слыхала!.. – И покачала головой.

Они стояли, дожидаясь остальных, которые немного отстали; он хотел спросить, можно ли ему проводить ее до дому, и уже было на это решено, но в этот миг она обернулась и крикнула адъютанту:

– Идите же, идите скорей! – и оживленно замахала рукой, чтобы его поторопить.

На следующий день, ровно в шесть, Нагель появился у доктора. Он думал, что пришел слишком рано, но все общество, с которым он познакомился накануне, было уже в сборе. Среди гостей двое были ему незнакомы – адвокат и какой-то белобрысый студент. За двумя столами пили коньяк с сельтерской, а за третьим сидели дамы, поверенный Рейнерт и этот самый студент и оживленно болтали. Адъюнкт, человек молчаливый, от которого обычно и слова не услышишь, уже успел набраться как следует. Красный как рак, он был в приподнятом настроении и громко рассуждал о чем попало... Взять хотя бы Сербию, где восемьдесят процентов населения совершенно неграмотны, разве там дело обстоит лучше? Ну-ка, пусть ему ответят на этот вопрос! – И адъюнкт окинул гневным взглядом присутствующих, хотя решительно никто ему не возражал.

Хозяйка дома подозвала Нагеля и усадила его за свой стол. Что он будет пить?

– А мы как раз говорили о Христианин, – сказала она. – Какая странная идея пришла ему в голову – поселиться в их маленьком городке, когда у него был выбор и он мог бы жить в самой Христианин!

Нагель возразил, что вовсе не находит эту идею странной, просто ему захотелось пожить немного в сельской местности, устроить себе что-то вроде каникул. А в Христианин, к слову сказать, он сейчас не согласился бы оказаться ни за какие коврижки. Христиания – это последнее место, которое он бы выбрал.

– Да помилуйте, неужели? Ведь Христиания – столица! Туда стекаются все знаменитые, все выдающиеся люди страны, не говоря уже о выставках, концертах, театрах и тому подобном.

– Да и сколько там иностранцев! – встала фрекен Андерсен. – Гастролеры из разных стран: актеры, певцы, музыканты, художники.

Дагни Хьеллан сидела молча, она только слушала.

Возможно, все это и так, согласился Нагель. Но когда при нем упоминают Христианию, – он уже, право, не знает почему, но всякий раз он видит перед собой часть района Грэндсен и чувствует затхлый

запах вывешенной для просушки одежды. Правда, правда, он не выдумывает. И у него возникает образ чванливого провинциального городка с двумя церквями, двумя газетами, гостиницей и колонкой, куда все ходят за водой, но при этом почему-то населенного самыми великими людьми на свете. Нигде он не встречал более кичливых людей, чем там, и сколько раз, бог ты мой, когда он там жил, он мечтал оттуда уехать!

У поверенного не укладывалось в голове, что можно испытывать такую плубокую антипатию не к отдельной личности, но к городу в целом, к столице государства. Христиания теперь уже не похожа на какой-нибудь там заштатный городишко, она по праву занимает далеко не последнее место среди столиц мира. Да и про кафе «Гранд» не скажешь, что это захудалое кафе.

Сперва Нагель ничего не возразил на замечание относительно кафе «Гранд», но затем наморщил лоб и сказал так громко, что все услышали:

– «Гранд» – это в своем роде уникальное заведение.

– Вы, кажется, говорите это с иронией?

– Отнюдь нет. «Гранд» – это знаменитое место, где собираются исключительно великие люди: если художники, то лучшие в мире, если студенты, то подающие самые большие надежды, редактора – самые блестящие, женщины – самые роскошные, поэты – самые-рассамые. Ха-ха! Сидят там день-деньской и пыжата друг перед другом, величают друг друга гениями и счастливы от этого безмерно. Я сам видел, как там ликует всякий, кому удастся привлечь к себе внимание других.

Слова Нагеля вызвали у всех раздражение. Поверенный наклонился к фрекен Хьеллан и сказал ей довольно громко:

– В жизни своей не встречал такого надменного господина!

Она вскинула голову и метнула быстрый взгляд на Нагеля; он несомненно слышал замечание поверенного, но, видимо, пропустил его мимо ушей, более того, он чокнулся со студентом и с полным равнодушием заговорил о другом. Ей тоже претило его высокомерие. Бог его знает, что он о них всех думает, если считает себя вправе угощать их такой наглой болтовней. Что за самомнение, что за мания величия! И когда поверенный спросил ее, каково ее мнение, она ответила намеренно громко:

– Мое мнение? Извольте: для меня Христиания достаточно хороша!

Но и после ее слов, как бы обращенных к нему, Нагель продолжал оставаться невозмутимо спокойным. Он лишь внимательно посмотрел на нее, словно силясь понять, чем он мог ее рассердить. Он не сводил с нее глаз, наверно, больше минуты, щурился, явно о чем-то напряженно думал, и лицо его при этом было печально.

Но тут и адъюнкт включился в разговор и горячо запротестовал против утверждения, будто Христиания меньше, скажем, Белграда. Да и вообще Христиания, спору нет, ничуть не меньше любой столицы средней величины.

Все расхохотались. Адъюнкт с пылающими щеками и непоколебимыми убеждениями и в самом деле выглядел комично. Адвокат Хансен, небольшого роста толстяк со сверкающей лысиной, смеялся громче всех, его очки в золотой оправе тряслись, он бил себя по коленкам и хохотал до упаду.

– Средней величины! Средней величины! – хрипло выкрикивал он. – Христиания ничуть не меньше других столиц той же величины. Той же величины!.. Ничуть не меньше! Ах, бог ты мой!.. Ваше здоровье!

Нагель снова вступил в разговор со студентом Эйеном. Да, в юности он. Нагель, тоже очень увлекался музыкой, особенно Вагнером, но с годами это прошло. Впрочем, дальше умения читать ноты и извлекать кое-какие звуки из инструмента у него дело не двинулось.

– Вы играли на рояле? – спросил студент.

Рояль был и его инструментом.

– Нет, упаси бог! На скрипке. Но, как я уже сказал, похвастаться мне было нечем, и я вскоре это забросил.

Взгляд его случайно упал на фрекен Андерсен, которая, устроившись подле кафельной печки в углу, вот уже не менее четверти часа болтала с поверенным, их глаза встретились неожиданно, мимолетно, но она умолкла на полуслове и беспокойно заерзала на стуле.

Дагни сидела в сторонке и похлопывала по ладони сложенной газетой. На ее длинных белых пальцах не было колец. Нагель украдкой разглядывал ее. Боже, до чего же она в этот вечер была хороша!

Освещенные лампой, ее густые светлые волосы на фоне темной стены казались еще светлей. Правда, когда она вот так сидела, можно было заметить, что у нее есть некоторая склонность к полноте; но стоило ей встать, как это впечатление пропадало. У нее была легкая плавная походка, словно она не шла, а скользила на коньках.

Нагель поднялся и подошел к ней.

На какой-то миг она вскинула на него свои темно-синие глаза, и тогда у него вырвалось помимо воли:

– Господи, до чего же вы хороши!

Эта откровенность вконец смутила ее, она хотела что-то сказать, но не смогла. В конце концов она прошептала:

– Будьте же хоть немного благоразумны!

Затем она подошла к роялю и принялась перелистывать ноты; щеки ее горели.

Доктор, томившийся от желания поговорить о политике, вдруг спросил:

– Вы читали сегодняшние газеты? «Моргенблад», черт меня побери, позволяет себе последнее время невесть что! Площадная брань, а не язык цивилизованных людей.

Никто доктору не возразил, и он замолк. Адвокат Хансен знал, что нужно хозяину дома для вдохновенья, и поэтому подчеркнуто спокойно заметил:

– Справедливость требует признать, что виноваты обе стороны.

– Ну, дожили!.. – воскликнул доктор и вскочил. – Уж не хочешь ли ты сказать, что...

Но тут пригласили к столу. Общество двинулось в столовую, но доктор не умолк, и спор продолжался за ужином. Нагель, который сидел между хозяйкой дома и юной фрекен Ульсен, дочерью полицмейстера, не принимал в нем участия. Когда встали из-за стола, разговор о европейской политике еще не иссяк. Уже были высказаны мнения о царе, о Констане, о Парнелле, а когда углубились, наконец, в обсуждение балканского вопроса, адъюнкту снова представился случай наброситься на Сербию. Он как раз только что читал в «Statistische Monatschrift», что положение там ужасное, школы в полном запустении...

– Но одно обстоятельство вселяет в меня глубокую радость, – сказал доктор, и глаза его увлажнились. – А именно то, что Гладстон

еще жив. Нальем же бокалы, господа, и выпьем за здоровье великого Гладстона – истинного демократа, нашего современника и человека будущего.

– Подождите, пожалуйста, мы тоже хотим присоединиться к вам! – воскликнула фру Стенерсен. Она наполнила бокалы, проливая от чрезмерного усердия вино, и держа поднос в дрожащих руках, обнесла дам.

Все выпили.

– Ну, разве он не молодец! – продолжал доктор, прищелкнув языком. – Правда, последнее время он немного приболел, простудился, бедняга, но будем надеяться, он вскоре поправится. Никого из нынешних политиков мне не было бы так жалко потерять, как Гладстона. Господи, когда я думаю о нем, он видится мне таким гигантским маяком, указывающим путь всему миру... У вас такой отсутствующий взгляд, господин Нагель, вы что, не разделяете моего мнения?

– Простите, о чем вы? Само собой разумеется, я с вами совершенно согласен.

– Конечно, Бисмарк мне тоже импонирует, но Гладстон!..

Доктору по-прежнему никто не возражал, все знали, что иначе унять его будет невозможно. В конце концов разговор совсем затух, и доктору пришлось предложить обществу сыграть в карты, чтобы хоть как-то убить время. Кто будет играть? Но тут фру Стенерсен крикнула на всю комнату:

– Нет, это я должна всем рассказать! Знаете, что мне сейчас сказал Эйен? Оказывается, господин Нагель не всегда так высоко ценил Гладстона, как сегодня. Эйен слышал однажды выступление господина Нагеля, – кажется, это было в рабочем союзе, да? Так вот, там он просто разделал Гладстона под орех. Хороши же вы, господин Нагель, ничего не скажешь! Неужели это правда? Нет уж, не отмалчивайтесь, не отмалчивайтесь!..

Фру Стенерсен проговорила все это вполне добродушно, с улыбкой, даже шутливо погрозила пальцем и еще раз потребовала, чтобы он признался, правда ли это.

Нагель смутился и ответил:

– Это, должно быть, какое-то недоразумение.

– Не стану утверждать, что вы вконец развенчали Гладстона, – сказал студент Эйен, – но вы на него резко нападали. Помню даже, что вы назвали Гладстона ханжой.

– Ханжой? Гладстона – ханжой! – вскричал доктор. – Вы что, были пьяны, старина?

Нагель рассмеялся.

– Нет, я не был пьян. А может быть, и был, уж, право, не помню. Похоже, что был.

– Клянусь, не иначе! – с торжеством произнес доктор.

Нагелю не хотелось пускаться в объяснения, он не поддержал разговора, и тогда Дагни Хьеллан шепнула фру Стенерсен:

– Заставь его высказаться. Слушать его так забавно.

– А что вы, собственно говоря, тогда имели в виду? – спросила фру Стенерсен. – Раз вы так резко критиковали Гладстона, значит, у вас было свое особое мнение. Пожалуйста, изложите его нам. Вы доставили бы нам большое удовольствие, а то все сядут за карты, и воцарится такая скука...

– Что ж, если я могу вас развлечь, тогда, конечно, другое дело, извольте.

Хотел ли он этими словами подчеркнуть роль, которую играл в обществе, но так или иначе губы его искривились в усмешке.

Нагель начал с того, что не помнит случая, о котором говорит господин Эйен... Видел ли кто-нибудь из присутствующих Гладстона и слышал ли, как тот выступает? Когда видишь его на трибуне, он производит сильное впечатление: это само благородство, сама справедливость. Кажется, уж в чем, в чем, а в его чистой совести и усомниться невозможно. Разве способен такой человек совершить что-либо дурное, согрешить перед господом богом! Он так глубоко проникнут сознанием своих добродетелей, что предполагает их и у всех своих слушателей, наперед исполнен уверенности, что и каждый из них – воплощенная добродетель...

– Но разве это не превосходная черта? Она лишь свидетельствует о его справедливости и гуманном образе мыслей, – прервал Негеля доктор. – Никогда еще не слышал таких странных рассуждений.

– Абсолютно с вами согласен. Я сказал это только, чтобы характеризовать, чтобы выделить эту превосходную черту его личности. Ха-ха-ха! А теперь я расскажу вам случай, который мне

сейчас припомнился, впрочем, мне, пожалуй, незачем его рассказывать, достаточно лишь назвать имя Керри. Не знаю, помнят ли здесь все, как Гладстон, будучи министром, не гнушался пользоваться доносами предателя Керри? К слову сказать, именно Гладстон и помог ему потом удрать в Африку, чтобы спасти его от мести фениев. Но сейчас речь не о том, это уж другая история. По правде говоря, я и сам не придавал особого значения таким мелочам – к каким только хитростям иной раз не приходится прибегать министрам! Но чтобы вернуться к тому, с чего мы начали, надо признать, что у Гладстона, когда он произносит речи, совесть безупречно чиста. Вот если бы вам довелось увидеть Гладстона на трибуне, я обратил бы ваше внимание на выражение его лица, когда он говорит. Он так преисполнен сознанием своей кристальной чистоты, что оно светится в его взгляде, звучит в переливах его голоса и прорывается в его жестах. О, как бесконечно долго льется его речь! Источник его красноречия не иссякает никогда. Вы бы только поглядели, как он находит свой ключик к каждому сидящему в зале: несколько слов торговцу скобяными товарами, несколько слов скорняку. И каждое его слово звучит так веско, словно он ценит их по кроне за штуку. Да, это и вправду забавное зрелище! Гладстон – рыцарь неотъемлемых прав, он сражается лишь за то, что уже завоевано. Ему никогда и в голову не придет снисходительно отнестись к чьему-либо заблуждению. Иначе говоря: когда он знает, что право на его стороне, он становится беспощадным, всячески подчеркивает силу своей позиции, буквально тычет ею в глаза слушателям и ничем не побрезгует, дабы пристыдить своих противников. Его мораль – самая здоровая и самая непреходящая. Еще бы – он выступает во имя христианства, гуманизма и цивилизации! Если бы кто-нибудь предложил ему столько-то там тысяч фунтов стерлингов, чтобы спасти от эшафота невинно осужденную женщину, он тотчас бы спас ее, с негодованием отверг бы деньги и никогда не поставил бы себе в заслугу этот поступок, ни за что не поставил бы, он просто не желает ставить себе такое в заслугу. Вот какой это человек! Неутомимый борец, он стремится творить только добро на нашей грешной земле, он ежедневно готов сражаться за справедливость, правду и бога. И какие только бои он не выигрывал! Дважды два – четыре, правда победила, да прославится имя господне!.. Впрочем, Гладстон способен и на

более смелое утверждение, чем дважды два – четыре; я сам слышал, как однажды, во время прений по бюджету, он доказывал, что если семнадцать умножить на двадцать три, получится триста девяносто один, и он одержал в тот раз блестящую, воистину грандиозную победу, он снова оказался прав, и эта правда лучилась в его глазах, звенела в его голосе и придавала монументальность его фигуре. Тут я привстал со своего места, чтобы получше разглядеть этого человека. Я понимал, что истина на его стороне, но все же привстал. И вот стою я и размышляю о полученном им числе триста девяносто один, мне очевидно, что результат правильный, но все же почему-то я говорю себе: «Нет, погоди, семнадцать на двадцать три будет триста девяносто семь!» Я, конечно, прекрасно знаю, что на самом деле это будет девяносто один, но все-таки, наперекор всем, упираюсь: девяносто семь, только чтобы не оказаться одного мнения с этим человеком, этим профессиональным защитником права. Какой-то голос вопиет во мне: «Восстань, восстань против этой плоской правоты!» И я восстаю, движимый жгучей внутренней потребностью, и утверждаю: «девяносто семь»! Настаиваю на этом, чтобы сохранить свое представление о праве, не дать этому человеку, так неколебимо стоящему на страже прав, опошлить его, превратить в банальность, принизить...

– Черт меня подери, сроду я не слыхивал большей галиматьи! – воскликнул доктор. – Вы возмущены тем, что Гладстон всегда оказывается прав?

Нагель улыбнулся – трудно сказать, была ли эта улыбка естественной или нарочитой, – и продолжал:

– Отнюдь нет. Меня это не возмущает и не деморализует. Конечно, я не могу рассчитывать на то, что меня здесь поймут, ну да все равно... Так вот, Гладстон – это своего рода бродячий глашатай права и правды, и голова его начинена избитыми истинами. Дважды два – четыре, – вот для него величайшая в мире мудрость. А можем ли мы отрицать, что дважды два – четыре? Конечно, нет. И говорю я это лишь затем, чтобы доказать, что Гладстон действительно всегда прав. Но все дело в том, насколько мы еще в состоянии воспринимать истину вообще, не утратили ли мы постепенно эту способность оттого, что нас потчуют такими истинами, которые не могут нас поразить. Вот ведь какая штука... Но Гладстон всегда так абсолютно

прав, и совесть его так безупречна, что ему и в голову не придет добровольно перестать благодетельствовать человечество. Он вечно в пути, он вездесущ. Он всем уши прожужжал своими мудрыми сентенциями, мечась между Бирмингемом и Глазго, он даже примирил политические взгляды пробочного фабриканта и преуспевающего адвоката, он самоотверженно отстаивает свои убеждения и истязает свои старые, верные легкие, чтобы ни одно из его столь дорогих слов не осталось неуслышанным. А по окончании спектакля, после того как публика выразила свой восторг, а Гладстон раскланялся, он отправляется домой, ложится в постель, складывает руки, читает молитву и безмятежно засыпает, не испытывая в душе ни малейшего сомнения, не чувствуя стыда за то, что напичкал Бирмингем и Глазго, – а чем, собственно говоря, он их напичкал? Он знает лишь одно: он исполнил свой долг перед человечеством и самим собой и засыпает сном праведника. Он не возьмет греха на душу и не скажет себе: «Сегодня ты не так уж хорошо справился со своим делом, ты осточертел тем двум ткачам, что сидели в первом ряду, и один из них даже зевнул». Нет, он не скажет себе этого, ибо не убежден, что это правда, а врать не желает, потому что врать – великий грех, а Гладстон не хочет грешить. Нет, он скажет себе вот что: «Мне показалось, что один человек зевнул, странно, но мне так показалось, впрочем, я, наверное, ошибся, трудно допустить, чтобы кто-нибудь зевал». Ха-ха-ха!.. Не помню, то ли я говорил в Христианин или что другое, да это и не важно. Во всяком случае, я не буду скрывать, что Гладстон никогда не был для меня высшим духовным авторитетом.

– Бедный, бедный Гладстон! – воскликнул поверенный Рейнерт.

На это Нагель ничего не ответил.

– Нет, в Христианин вы говорили не это, – сказал Эйен. – Вы обрушились на Гладстона за его отношение к ирландцам и к Парнеллю и заметили, между прочим, что отнюдь не считаете его великим умом. Отлично помню, что вы сказали именно это. И еще – что он обладает большой силой, может быть, и полезной, но в высшей степени ординарной...

– Да, помню, помню. И меня за это лишили слова. Ха-ха-ха! Хорошо, я и под этим готов подписаться. Отчего же? Хуже-то не будет. Но молю о снисхождении!

Тогда доктор Стенерсен спросил:

– Скажите-ка мне: вы правый?

Нагель взглянул на него с удивлением, потом расхохотался и ответил:

– А как вы думаете?

Но тут раздался звонок в дверь приемной доктора. Фру Стенерсен вскочила с дивана: ну, конечно, так и есть, теперь доктору, к сожалению, придется уйти. Но пусть гости и не думают расходиться, ни в коем случае, раньше полуночи она никого не отпустит, фрекен Андерсен должна сейчас же сесть на свое место, Анна сварит кофе, – ведь еще только десять часов.

– Господин поверенный, вы ничего не пьете!

Нет, напротив, он не отстает от других.

– Условились: никто не уходит, вы все останетесь со мной. Дагни, отчего ты такая молчаливая?

Нет, она вовсе не более молчалива, чем всегда.

Доктор вернулся из своего кабинета в гостиную. Он вынужден извиниться, но, увы, ему придется уехать: серьезный случай, кровотечение. Впрочем, это неподалеку, часа через два-три он вернется и надеется еще застать все общество. До свиданья! До свиданья, Йетта.

И доктор поспешно вышел. Минуту спустя все увидели в окно, как доктор в сопровождении какого-то мужчины чуть ли не бегом, – так он спешил, – направился к пристани.

– А теперь давайте что-нибудь придумаем... Если бы вы только знали, до чего мне бывает тоскливо иной раз оставаться одной, когда муж уезжает. Особенно зимой. Я почему-то всегда тревожусь: а вдруг он не вернется.

– У вас, я вижу, нет детей? – спросил Нагель.

– Да, детей у нас нет... Теперь я уже начинаю привыкать к этим нескончаемым ночам, но сперва это было просто ужасно. Признаюсь вам, порой меня охватывал такой страх... я боюсь темноты, да еще беспокойство за мужа. Что делать, я боюсь темноты... Такой страх, бывало, одолевал меня, что я удирала отсюда и ложилась в комнате горничной... А теперь, Дагни, твоя очередь рассказать нам о чем-нибудь. Ты что задумалась? Скучаешь по своему жениху?

Дагни покраснела от смущения, засмеялась и ответила:

– Конечно, я думаю о нем, это ведь естественно. Но лучше спроси, о чем думает поверенный Рейнерт, за весь вечер он не произнес ни слова.

Поверенный запротестовал: напротив, он очень мило беседовал с фрекен Ульсен и с фрекен Андерсен, а кроме того, с большим вниманием и интересом слушал, как излагают свои политические взгляды другие гости, одним словом...

– Жених фрекен Хьеллан снова в плавании, – объяснила Нагелю фру Стенерсен. – Он морской офицер, и сейчас его корабль идет в Мальту, если не ошибаюсь? В Мальту?

– Да, – подтвердила Дагни.

– Морские офицеры быстро обручаются. Приезжают домой, к родителям в отпуск, на три недели и вот, в один прекрасный вечер... Да уж эти мне господа лейтенанты...

– Что и говорить, отважный народ! – подхватил Нагель. – Загорелые красавцы с открытыми лицами и веселым нравом. Да и форма у них просто чудо, а как они ее носят!.. Я всегда восхищаюсь морскими офицерами.

Тут фрекен Хьеллан обернулась к студенту Эйену и сказала с улыбкой:

– Это господин Нагель говорит здесь. А что он говорил по этому поводу в Христианин?

Все расхохотались. Адвокат Хансен, уже изрядно выпивший, закричал:

– Да, да, что он говорил об этом в Христианин? Именно в Христианин! Что же там сказал господин Нагель? Ха-ха-ха! Бог ты мой! За ваше здоровье!

Нагель чокнулся с ним и выпил. Нет, в самом деле, он всегда восхищался морскими офицерами. Более того, будь он девицей, он обвенчался бы только с морским офицером или остался бы вековухой.

Все снова расхохотались. Адвокат в восторге чокнулся со всеми бокалами, стоящими на столе, и выпил один. Но Дагни сказала:

– Но ведь говорят, что все лейтенанты туповаты. Выходит, вы как не думаете?

Что за вздор! Впрочем, будь он девицей, он все равно предпочел бы красивого мужа умному. Безусловно! Особенно, если бы он был молодой девушкой. Кому нужна голова без тела? Правда, на это

можно возразить: кому нужно тело без головы? Но тут, черт подери, все же есть разница! Родители Шекспира не умели даже читать. Да и сам Шекспир не больно-то был силен по этой части, что, между прочим, не помешало ему стать исторической личностью. Но как бы там ни было, молодой девушке скорее наскучит ученый урод, нежели красивый дурак. Нет, будь он девушкой и имей он выбор, он безусловно предпочел бы красавца, а взгляды мужа на норвежскую политику, философию Ницше и святую троицу интересовали бы его, как прошлогодний снег.

– Посмотрите, вот этот лейтенант – жених фрекен Хьеллан, – сказала фру Стенерсен, протягивая Нагелю альбом.

Дагни вскочила.

– Нет, не надо! – вырвалось у нее, но она тут же овладела собой и села. – Это дурной снимок, – сказала она, помолчав. – В жизни он куда лучше.

Нагель увидел на фотографии красивого молодого человека с подстриженной бородкой. Хотя он и сидел в непринужденной позе у стола, сразу бросалась в глаза его отличная выправка; руку он держал на эфесе сабли; его слегка поредевшие волосы были разделены на прямой пробор, и походил он скорее на англичанина.

– Да, правда, – подтвердила фру Стенерсен, – он в действительности гораздо красивее. До замужества и я сама была в него немножко влюблена. Но взгляните-ка на молодого человека рядом с ним. Это молодой теолог, он недавно погиб. Его фамилия Карлсен. С тех пор прошло всего несколько дней. Такая печальная история. Что вы? Да, да, это его мы хоронили позавчера.

С фотографии на Нагеля смотрел болезненного вида юноша с ввалившимися щеками, с такими тонкими, плотно сжатыми губами, что казалось, они начерчены на его лице. Глаза были большие, темные, а лоб необычно высокий и чистый. Но грудь у юноши была впалая, а плечи узкие, словно у женщины.

Это был Карлсен. Вот, значит, как он выглядел. Нагель подумал, что к этому лицу удивительно подходит теология и тонкие иссиня-бледные руки, и хотел было сказать, что на лице юноши лежит печать обреченности, но заметил, как поверенный Рейнерт, передвинув свой стул ближе к Дагни, вступил с ней в оживленный разговор. Нагель промолчал, чтобы не мешать им, и принялся перелистывать альбом.

– Поскольку вы обвинили меня в том, что я за весь вечер не проронил ни слова, – сказал поверенный, – то разрешите мне рассказать вам один случай, происшедший во время последнего визита императора, это подлинная история, она мне сейчас как раз припомнилась...

Дагни прервала его и тихо спросила:

– Что это вы вытворяли в течение всего вечера вон там, в углу? Вы мне лучше на это ответьте. Упрекая вас в том, что вы молчите, я хотела лишь остановить вас. Вы, конечно, сидели и злились, я все видела. Нехорошо всех передразнивать и насмехаться над всеми. Он, правда, позер, возится все время со своим железным кольцом на мизинце, то поднимет руку и любуется им, то его полирует. Впрочем, может быть, он делает это совершенно машинально, задумавшись. Во всяком случае, он не так смешон, как вы его изображали. Правда, он держится настолько высокомерно, что поделом ему! Но ты, Гудрун, слишком уж откровенно хохотала. Боюсь, он заметил, что ты над ним потешаешься.

Гудрун подошла к Дагни, стала оправдываться и уверять, что во всем виноват поверенный, – он так комично передразнивал Нагеля, что удержаться от смеха было невозможно. А тон, которым он произнес: «Величье Гладстона мне – мне – никогда не импонировало...»

– Т-сс. Потихе, Гудрун. Он услышал, да-да, услышал, он даже обернулся. Но скажи, заметила ли ты... Когда его перебили, он ни капельки не злился, он глядел на нас скорей печально. Знаешь, меня даже начинает мучить совесть, что мы сидим здесь и сплетничаем на его счет. Ну ладно, расскажите-ка лучше про визит императора.

И поверенный принялся рассказывать. Так как в этой истории не было ничего секретного – вполне невинное происшествие с женщиной и букетом цветов, – он говорил все громче и громче и в конце концов завладел вниманием всего общества. Говорил он весьма обстоятельно, не упуская ни малейшей подробности, и рассказ его длился бесконечно. Когда же он наконец кончил, фрекен Андерсен спросила:

– Господин Нагель, помните, вчера вечером вы нам рассказывали о поющем корабле?..

Нагель поспешно захлопнул альбом и растерянно огляделся по сторонам. Играл ли он комедию или в самом деле чего-то испугался? Он тихо ответил, что, возможно, и был неточен в каких-то деталях, но случай этот не выдумал, а действительно пережил на Средиземном море...

– Помилуй бог, господин Нагель, я в этом не сомневаюсь, – прервала она его с улыбкой. – Но помните ли вы, что вы мне сказали в ответ на мое восхищение? Вы сказали, что только однажды слышали нечто более прекрасное, и было это во сне.

– Да, помню. – И Нагель кивнул головой.

– Не расскажете ли вы нам и этот сон? Будьте добры. Вы так удивительно рассказываете. Мы все вас просим. Пожалуйста.

Но Нагель отказался. Он просит извинить его, но сон этот рассказать невозможно, в нем нет ни начала, ни конца, так, мелькнувший во сне мимолетный образ. Нет, нет, словами этого не передать. Ведь всем знакомы эти едва уловимые ощущения, которые пронзают нас насквозь и тут же исчезают. Насколько этот сон был нелеп, можно судить хотя бы по тому, что все происходило там в белом лесу, среди деревьев из чистого серебра...

– Из серебра? Лес из серебра?.. Ну, дальше, дальше!

– Нет. – Нагель покачал головой.

Он с радостью готов сделать все для фрекен Андерсен, пусть она испытает его, но этот сон он рассказать не в состоянии, она должна ему поверить.

– Ну что ж, тогда расскажите что-нибудь другое. Мы все вас просим.

Нет, у него не получится, сегодня не получится. Пусть его простят.

Они обменялись еще несколькими незначительными фразами, какими-то глупыми вопросами и ответами. Полная чепуха. И вдруг Дагни спросила:

– Вы сказали, что могли бы сделать все для фрекен Андерсен. Ну что, например?

Все засмеялись, и Дагни тоже. Немного помолчав. Нагель ответил:

– Для вас я мог бы сделать что-нибудь очень плохое.

– Очень плохое? Что же именно? Убить кого-нибудь, например?

– Хотя бы. Я мог бы убить эскимоса и из его кожи сделать для вас бювар.

– Какой ужас! Ну а что бы вы могли сделать для фрекен Андерсен? Что-нибудь невероятно прекрасное?

– Да, возможно, я точно не знаю. А ргорос, насчет эскимоса это я где-то прочел. А то вы еще, того гляди, решите, что это моя выдумка.

Пауза.

– До чего же вы милые люди, – сказал Нагель. – Вы стараетесь, чтобы я оказался в центре внимания, охотно слушаете мою болтовню, и все это только потому, что я приезжий.

Адвокат украдкой взглянул на часы.

– Имейте в виду, – заявила фру Стенерсен, – никто отсюда не уйдет, пока не вернется мой муж. Это строжайше запрещено. Можете делать все, что угодно, но только не уходите.

Принесли кофе, и общество заметно оживилось. Толстый адвокат, который все это время о чем-то спорил со студентом, вдруг вскочил с непостижимой легкостью, прямо взлетел, словно перышко, и захлопал в ладоши. А студент, разминая пальцы, подошел к роялю и взял несколько аккордов.

– Ах да! – воскликнула хозяйка. – Как это мы забыли, что вы играете. Теперь вам придется потрудиться. Вот и отлично!

Да он и не отказывается, только, к сожалению, его репертуар невелик, но если общество не возражает против Шопена или, может быть, вальса Ланнера, то пожалуйста...

Нагель горячо аплодировал пианисту.

– Когда слушаешь музыку такого рода, – сказал он, наклонившись к Дагни, – то хочется устроиться где-нибудь подальше от инструмента, уйти, например, в соседнюю комнату и тихонько сидеть там рядом с тем, кого любишь, рука в руке. Верно? Не знаю почему, но мне всегда рисовалась такая сцена.

Дагни пристально взглянула на Нагеля. Он что, это всерьез говорит? Но она не увидела на его лице иронического выражения и поэтому подхватила в том же банальном тоне:

– Но при этом должен быть притушен свет, да? И кресла мягкие и низкие. И чтобы на улице было темно и шел дождь.

Дагни была в этот вечер удивительно хороша. Ее темно-синие глаза на ясном лице не могли не волновать. Она много смеялась,

смеялась охотно над любым пустяком, хотя зубы ее и не ослепляли белизной. Губы у нее были по-детски пухлые и такие яркие, что сразу привлекали внимание. Но самым удивительным в ней было, пожалуй, то, что всякий раз, когда она начинала говорить, легкий румянец на миг заливал ее щеки.

– Ну, как вам это нравится? – воскликнула вдруг жена доктора. – Ведь адьюнкт-то все-таки сбежал. Впрочем, я не удивлена, на этого человека никогда нельзя положиться, он всегда верен себе. Но я надеюсь, что хоть вы, господин поверенный, пожелаете мне спокойной ночи, прежде чем уйти.

Адьюнкт, тихонько прокравшись на кухню, удрал, как обычно, через черный ход, он дурно чувствовал себя после выпивки, был бледен и хотел спать. Назад он так и не вернулся. Услышав, что адьюнкт ушел, Нагель весь преобразился. У него мелькнула мысль, что теперь он, пожалуй, отважится предложить Дагни проводить ее вместо адьюнкта. И он тут же попросил ее об этом, а глазами, позой, смиренно склоненной головой умолял не отказать ему.

– Я буду себя очень, очень хорошо вести, – прибавил он под конец.

Дагни засмеялась и ответила:

– Что ж, прекрасно, благодарю вас, раз вы мне это обещаете, я согласна.

Теперь ему оставалось только дожидаться прихода доктора, чтобы можно было уйти. В предвкушении этой прогулки по лесу он оживился еще больше, поддерживая уже любой разговор; он сумел даже всех рассмешить и вообще стал невероятно любезен. Он был так воодушевлен, так преисполнен счастья, что тут же пообещал фру Стенерсен заняться ее садом – ведь он все же в некотором роде специалист – и даже исследовать почву в той нижней его части, где почему-то чахнут кусты красной смородины. Да, да, он-то уж точно одолеет эту тлю, пожирающую листья, хотя бы с помощью заклинаний и заговоров.

Он что, и колдовать умеет?

Он занимается на досуге всякой всячиной, и этим тоже немножко. Вот он носит, например, кольцо, невзрачное, железное кольцо, но зато оно обладает магической силой. А по его виду разве это скажешь?

Но случись ему потерять это кольцо в десять вечера, он должен во что бы то ни стало его вновь найти до полуночи, не то произойдет ужасное несчастье. Кольцо это он получил от одного старика грека, купца из Пиреи. Он, в свою очередь, тоже оказал этому человеку услугу, а кроме того, дал ему за кольцо тюк табаку.

Он в самом деле верит в магическую силу кольца?

Немного верит. В самом деле. Оно его раз вылечило, да, был такой случай.

Со стороны моря до них донесся лай. Фру Стенерсен взглянула на часы, да, это, должно быть, возвращается доктор, она узнает лай их собаки. Как удачно, ведь еще только двенадцать! Она позвонила и велела подать еще кофе.

– Вот как? У вас, значит, не простое кольцо, господин Нагель? И вы твердо верите в его магическую силу? – спросила она.

Да, более или менее твердо. Дело в том, что у него есть веские основания особенно в этом не сомневаться. В конце концов не все ли равно, во что верить, лишь бы самому внутренне быть убежденным, что это так, а не иначе. Кольцо это вылечило его от нервозности, сделало его крепким и сильным.

Фру Стенерсен сперва рассмеялась, а потом стала ему горячо возражать. Нет, она просто не выносит, когда мелют такой вздор, – извините, но она не может назвать это иначе, чем вздор, – и она убеждена, что господин Нагель и сам не верит в то, что говорит. Если приходится слышать такое от образованных людей, то что же нам ждать от простого народа? Так можно невесть до чего дойти! Докторам ничего не оставалось бы, как убираться восвояси.

Нагель защищался. В конце концов и то и другое может помочь в равной степени. Ведь все упирается в волю больного, в его веру в лечение, в его настроение. Но докторам вовсе незачем убираться, у них есть свои приверженцы, свои, так сказать, верующие – к ним обращаются люди образованные, образованные люди лечатся лекарствами, а суеверный простой народ борется с болезнями железными кольцами, жжеными человеческими костями и могильной землей. Разве мало примеров того, как больные вылечиваются, выпив чистой воды, вылечиваются от того, что им внушили, будто это целебнейшее средство. А данные, которыми мы располагаем хотя бы относительно морфинистов? Когда человек становится свидетелем

такого рода удивительных явлений, то, если он не доктринер, он начинает верить в чертовщину и ставит под сомнение авторитет медицинской науки. Но из его слов у них не должно сложиться впечатления, будто он считает себя компетентным судить об этих вещах, он ведь не специалист и ничего не смыслит в медицине. А главное, он сейчас меньше всего хочет портить настроение другим. Пусть фру Стенерсен простит его и все остальные тоже.

Он ежеминутно смотрел на часы и уже застегивал свой сюртук.

Посреди этого разговора в гостиную вошел доктор. Он был раздражен и дурно настроен, поздоровался с деланным оживлением и поблагодарил своих гостей за то, что они еще не ушли. Ну, а адьюнкт не в счет, и бог с ним. А все остальное общество в сборе! Да, нелегко жить на этом свете, из-за всего приходится сражаться...

И он принялся, по своему обыкновению, рассказывать о визите к больному. Его кислый вид объясняется тем, что он вконец разочаровался в своих пациентах; такого даже он не ожидал, – они вели себя, как идиоты, как ослы. Его бы воля, он бы их всех засадил в тюрьму. Ну и попал же он в семейку! Представьте себе, жена больна, отец жены болен, и сын тоже болен. В доме вонища, не продохнешь! И при этом все остальные здоровы, у всех румяные щеки, малыши так и пышут здоровьем. Просто непонятно, непостижимо! Нет, он этого решительно не в силах постичь! Лежит старик, отец хозяйки, с такой вот огромной открытой раной. Когда с ним это случилось, они послали за бабкой-ворожихой, а она действительно остановила кровь, совершенно верно; но, спрашивается, как? Это возмутительно, преступно! Нельзя передать словами, какое зловонье распространялось от раны, от этого можно было сдохнуть. А главное, того и гляди – гангрена! Одному богу известно, что было бы со стариком, если бы он не пришел сегодня вечером! Надо принять куда более строгие законы против знахарства, это действительно необходимо, и прибрать весь этот народ к рукам... Ну хорошо, так или иначе, а кровь остановили. Но тут явился сын, уже взрослый парень, этакой долговязый детина с экземой на лице. Я ему еще раньше дал две мази и ясно объяснил: «Сперва намажь струпья желтой мазью и через час сотри, через час, понял? Потом намажь их белой, цинковой, и не стирай до утра». Кажется, ясно. Что же он делает? Конечно, он все перепутал, белую кладет на час, а желтую,

которая чертовски жжет и щиплет, на весь день и всю ночь. И терпит эти муки целых две недели! Но самое удивительное вот что: представьте себе, парень вылечился, вылечился, несмотря на свою непроходимую глупость! Да, экземы как не бывало! Бык какой-то, вол, который выздоравливает, лечи его не лечи! Сегодня я осмотрел этого болвана и не обнаружил и следа экземы ни на его щеках, ни вообще на его физиономии. Как говорится, дуракам счастье. Ведь так можно изуродовать себя, а с него как с гуся вода... Ну, а еще там больная мать этого оболтуса, хозяйка дома: истощение, полный упадок сил, головокружение, нервозность, шум в ушах, отсутствие аппетита. «Ванны, – говорю я, – ванны и обливания. Не жалейте воды, черт подери! А еще заколите теленка, поешьте хоть немного мяса, распахните окна, пустите в дом свежий воздух, сами побольше выходите, а эту вот книгу проповедей Юхана Арендта бросьте, бросьте ее в печку». Ну и так далее. «Но главное – ванны и обливания, и снова ванны, без этого мои лекарства не помогут». Теленок оказался им не по карману – тут ничего не скажешь, возможно, что это и так. А ванну она решила принять, выкупалась, смыла с себя немного грязи, но при этом так замерзла, что ее начало знобить, она буквально стучала зубами от чистоты и, конечно, после этого отказалась от водных процедур! Она, видите ли, теперь уже не выносит чистоты! Что же дальше? Она где-то достает цепочку, какую-то особую цепочку от ломоты с магнитным крестом или как там еще эта штукovina называется, и нацепляет ее на себя. Я прошу показать мне эту вещь: цинковая пластинка, какой-то лоскуток, два крючка побольше, два поменьше, вот и все. «Какого черта, – спрашиваю я, – носите вы эту дрянь на себе?» Оказывается, ей от этого уже полегчало, да, в самом деле, полегчало, голова уже болит куда меньше, и все тело как-то согрелось. Ну, что вы на это скажете? Я мог бы с тем же успехом плюнуть на какую-нибудь щепочку и дать ей ее, уверяю вас, она помогла бы ей точно так же. Но попробуй ей это сказать! «Сейчас же выбросите эту гадость, – говорю я ей, – а не то я отказываюсь вас лечить, просто не подойду к вам больше». Как вы думаете, что она делает? Она крепко зажимает в руке пластинку – выходит, я могу выметаться. Ха, ха, ха, мне ничего не остается, как выметаться! Бог ты мой, вот до чего докатилась! Нет, не надо быть врачом, надо быть знахарем.

Доктор никак не может успокоиться, но все же садится пить кофе. Жена его переглядывается с Нагелем и говорит, смеясь:

– Вот господин Нагель поступил бы точь-в-точь, как эта женщина. Мы говорили об этом перед твоим приходом. Господин Нагель не верит в твою науку.

– Вот как, не верит, значит? – иронически переспрашивает доктор. – Что ж, господин Нагель волен думать, как ему хочется.

Разгневанный, оскорбленный, полный обиды на этих ужасных пациентов, которые не выполняют его предписаний, доктор молча пил кофе. Его раздражало еще и то, что все сидели вокруг и смотрели на него. «Займитесь чем-нибудь, расшевелитесь хоть немножко», – сказал он. Но кофе взбодрило его, он поболтал с Дагни, посмеялся над лодочником, которого прислали за ним, чтобы везти к больному; но потом снова заговорил о тех неприятностях, на которые он, как врач, постоянно нарывается, и снова стал горячиться. У него просто из головы не идет этот нелепый случай с мазями; вокруг дремучая дикость, суеверие, тупость – все одно к одному. Не люди, а ослы. И вообще, такая темнота в народе, такое невежество!

– Да, но парень-то этот все же выздоровел?

За эти слова доктор готов был буквально растерзать Дагни. Он в гневе выпрямился. Да, парень выздоровел, верно. Ну и что? От этого не стали менее вопиющими тупость и темнота в народе. Он выздоровел, этот парень, правда, выздоровел; а что, если бы он сжег себе физиономию? Какой смысл защищать этого осла?

Оскорбительный случай с этой деревенщиной, который делал все наперекор предписаниям и все-таки выздоровел, бесил доктора больше всего остального, и глаза его, обычно такие кроткие, свирепо поблескивали за стеклами очков.

Ни за что ни про что он оказался в дураках, его променяли на цинковую пластинку, и он был не в силах этого забыть, пока не выпил после кофе еще стакан крепкого тодди. Тогда он вдруг сказал:

– Да, Йетта, я хочу тебе сказать, что я дал лодочнику, который за мной приехал, пять крон. Ха-ха-ха, ну и тип, в жизни эдакого не видел, на нем такая рванина, что задница видна, но сила богатырская, и какая беспечность! Сущий дьявол! Всю дорогу он распевал. Он уверен, что если заберется на вершину Этьефельда, то сможет своей удочкой достать до неба. «Только надо встать на цыпочки», – сказал я.

Да, вот это ему самому в голову не пришло; он, видите ли, к словам моим отнесся совершенно серьезно и стал клясться и божиться, что, как никто, умеет стоять на цыпочках. Ха-ха-ха! Слыхали вы что-нибудь подобное! До чего смешной парень!

Наконец фрекен Андерсен встала, чтобы идти домой, и тогда поднялись и все остальные. Прощаясь с хозяевами. Нагель так горячо, так искренне благодарил их, что совершенно обезоружил доктора, который был с ним несколько сух последние четверть часа. «Поскорее приходите к нам снова! Погодите, у вас, кажется, нет больше сигар. Возьмите, пожалуйста, закурите на дорогу!» И доктор заставил Нагеля вернуться в дом за сигарой.

Тем временем Дагни, уже одетая, стояла на крыльце и ждала его.

Белые ночи.

Была чудная ночь.

У тех немногих прохожих, которые еще встречались на улицах, лица светились радостью; на кладбище задержался какой-то человек; он шел по дорожке, толкая перед собой тачку, и что-то тихо напевал. Только это пение и нарушало тишину, кроме него не было слышно ни звука. С того холма, на котором стоял дом доктора, городок казался диковинным гигантским насекомым, сказочной тварью, распластавшейся на брюхе и протянувшей свои лапки, рожки и щупальца во все стороны; лишь время от времени тварь эта шевелила тем или другим суставом или втягивала вдруг коготь – вот как сейчас там, внизу, на море, где маленький паровой катер беззвучно скользил по воде, оставляя светлую борозду на темной глади залива.

Дым от сигары, которую курил Нагель, подымался ввысь голубым облачком. Он глубоко вдохнул воздух, наслаждаясь запахом леса и травы, и его охватило всепоглощающее чувство умиротворенности, какая-то особая, тихая радость пронзила его так сильно, что слезы выступили у него на глазах, и он с трудом перевел дух. Он шел рядом с Дагни; она не сказала еще ни слова. Когда они проходили мимо кладбища, он нарушил молчание, с похвалой отозвавшись о докторе, но она на это ничего не ответила. А теперь тишина и красота ночи так страстно его захватили, так глубоко потрясли все его существо, что дыхание у него стало прерывистым, а глаза увлажнились. Как хороши эти белые ночи!

– Нет, поглядите только на эти холмы, как четко они вырисовываются! – сказал он громко. – Мне что-то сейчас очень радостно, фрекен! Прошу вас, будьте ко мне снисходительны, если можете, потому что я способен натворить этой ночью всяких глупостей. Посмотрите на эти сосны, на эти камни, на эти кочки и на эти кусты можжевельника – они сейчас так освещены, что похожи на сидящих людей. А ночь такая свежая и ясная! Она не гнетет странным предчувствием, не пробуждает в нас необъяснимого страха, верно?

Нет, вы не должны на меня сердиться, не должны! У меня на душе словно ангелы поют. Я вас пугаю?

Она остановилась, потому он и спросил, не пугает ли он ее. Она с улыбкой поглядела на небо своими синими глазами, потом снова стала серьезной и сказала:

– Я думала о том, что вы за человек.

Она сказала это, все еще стоя на месте и глядя на небо. Всю дорогу она говорила дрожащим ясным голосом, словно боялась чего-то и одновременно этому радовалась.

Тут начался у них разговор, который длился все время, пока они шли через лес, хотя шли они очень медленно, разговор сбивчивый, подвластный их переменчивому настроению и тому волнению, которое охватило их обоих.

– Вы думали обо мне? Правда? Но я о вас думал куда, куда больше. Я знал о вас прежде, чем приехал сюда, я услышал ваше имя еще на пароходе, совершенно случайно, при мне шел какой-то разговор, а мы прибыли сюда двенадцатого июня. Двенадцатого июня...

– Да что вы, как раз двенадцатого июня?..

– Да, и весь город был увешан флагами; меня просто так очаровал этот маленький городок, что я решил здесь сойти на берег. И я тут же снова о вас услышал.

Она улыбнулась и спросила:

– Ну конечно, это Минутка вам про меня говорил?

– Нет, я слышал, что все вас любят, все, все, и все вами восхищаются...

И Нагель вдруг вспомнил про семинариста Карлсена, который из-за нее даже покончил с собой.

– Скажите, – начала она, – вы в самом деле думаете то, что сказали про морских офицеров?

– Ну да. А почему вы спрашиваете?

– Что ж, тогда у нас с вами мнения совпадают.

– А отчего бы мне так не думать? Я ими восхищаюсь и всегда восхищался, меня привлекает их свободная жизнь, их форма, их постоянная бодрость и отвага; большинство из них и в самом деле исключительно приятные люди.

– Но давайте поговорим теперь о вас. Что произошло между вами и поверенным Рейнертом?

– Ничего. Но вы говорите, между мной и поверенным Рейнертом?

– Вчера вы извинялись перед ним за что-то, а сегодня за весь вечер не сказали ему почти ни слова. Вы что, имеете обыкновение сперва оскорблять людей, а потом просить у них прощение?

Он засмеялся и стал сосредоточенно глядеть на дорогу.

– Честно говоря, – сказал он, – я был неправ, оскорбляя поверенного. Но я уверен, что все уладится, если мне удастся с ним объясниться. Я немного вспыльчив и бываю резок, недоразумение получилось у нас из-за того, что он нечаянно толкнул меня, когда входил в дверь. Как видите, сущий пустяк, простое невнимание с его стороны; а я тут же налетел на него как дурак и обругал его последними словами, угрожающе размахивал пивной кружкой перед его носом и кончил тем, что смял его шляпу. Тогда он ушел, как благовоспитанный человек, он не мог поступить иначе. Но потом я раскаялся в своей горячности и решил как-нибудь загладить свою вину. По правде говоря, меня тоже можно извинить, я был в тот день очень расстроен, у меня были неприятности. Но ведь этого никто не знал, о таких вещах не рассказывают, и я предпочел взять всю вину на себя.

Он говорил, не задумываясь, с полной искренностью, словно желая быть как можно более беспристрастным. Выражение его лица тоже никак не могло вызвать недоверия. Но Дагни вдруг снова остановилась, изумленно посмотрела ему прямо в глаза и проговорила:

– Нет, помируйте... Все ведь было вовсе не так! Я слышала совсем другое.

– Минутка врет! – закричал Нагель, густо краснея.

– Минутка? Я слышала это вовсе не от Минутки. Зачем вы клеветеете на себя? Я слышала эту историю от старика, который торгует на рынке гипсовыми статуэтками. Он был свидетелем всего от начала до конца.

Пауза.

– Зачем вы всегда клеветеете на себя? Просто не понимаю, – продолжала она, не сводя с него глаз. – Я услышала сегодня эту историю и очень обрадовалась, то есть, я считаю, вы поступили так

удивительно хорошо, ну просто удивительно. И вам это до того идет! Если бы я не узнала всего этого сегодня утром, то, наверное, – уж признаюсь вам откровенно – не решилась бы сейчас идти с вами.

Пауза.

Потом он спросил:

– И теперь вы мною восхищаетесь из-за этого?

– Право, не знаю, – ответила она.

– Ну да, да, теперь вы мною восхищаетесь... Послушайте, – продолжал он. – Все это одна комедия. Вы правдивое существо, мне противно вас обманывать, я расскажу вам все начистоту.

И он объяснил ей, ни капельки не смущаясь и не отводя глаз, каков был его расчет:

– Когда я рассказываю о своем столкновении с поверенным на свой лад, несколько искажая факты и даже клевета немного на себя, то в сущности – в сущности! – делаю это ради собственной выгоды. Просто я пытаюсь извлечь из этой истории как можно больше пользы для себя. Как видите, я с вами совершенно откровенен. Я не сомневался, что кто-нибудь уж непременно расскажет вам, как все было на самом деле, а так как до этого я уже успел выставить себя в весьма неприглядном свете, то от неожиданности немало выиграю в ваших глазах – несравненно больше, чем если бы вы изначально узнали правду. Я начинаю казаться каким-то значительным, беспримерно великодушным, не правда ли? Но впечатление это я произвел на вас благодаря такому грубому, такому низкому обману, что вы будете глубоко возмущены, когда это обнаружите. Вот я и счел за лучшее вам во всем чистосердечно признаться, потому что вы заслужили честного отношения. Но достигну этим только того, что оттолкну вас, оттолкну, как говорится, на тысячу верст. К сожалению.

Она пристально посмотрела на него, надеясь понять, что это за человек и что означают его слова; видно было, что она напряженно думает, пытается составить себе какое-то мнение. Чему поверить? Чего он добивался своей откровенностью? Вдруг она снова остановилась, всплеснула руками и звонко засмеялась.

– Нет, такого дерзкого человека, как вы, я еще не встречала. Подумать только, ходить вот так и с серьезным видом рассказывать о себе бог весть что лишь затем, чтобы полностью себя развенчать! Но этим путем вы ровно ничего не достигнете! В жизни не слышала

такого бреда! Разве вы могли быть уверены в том, что я рано или поздно узнаю, как все произошло на самом деле? Ну что вы на это скажете? Нет, лучше молчите, ничего не говорите, а то снова что-нибудь солжете. Ой, как нехорошо с вашей стороны, ха-ха-ха... Но послушайте: если вы наперед рассчитали, что все пойдет так-то и так-то, и вам действительно удалось все сделать так, как было задумано, то есть, вы достигли того, чего желали, то зачем же вы все теперь снова разрушаете, признаваясь в вашем – как вы это называете – обмане? Вчера вечером вы тоже сделали нечто подобное. Я вас не понимаю. Если вы все так хорошо рассчитываете, то почему же вы не замечаете, что сами себя разоблачаете.

Но он не сдавался, он подумал мгновенье, а потом ответил:

– Вы ошибаетесь, я этого не упускаю. Вы сейчас сами в этом убедитесь. Когда я себя оговариваю – вот как сейчас, иду с вами и раскрываю все свои карты, – то я, собственно говоря, ничем не рискую, во всяком случае, очень немногим. Во-первых, тот, кому я признаюсь в своих намерениях, может мне и не поверить. Вот вы, например, мне сейчас не верите. А к чему это приводит? Это приводит к двойному выигрышу, да, да, я выигрываю просто колоссально, моя репутация растет, как лавина, я возвышаюсь над всеми, словно недосыгаемая вершина. Ну, а во-вторых, даже если бы вы мне поверили, я все равно вышел бы с выгодой из этой ситуации. Вы качаете головой? Напрасно. Уверяю вас, я уже не раз прибежал к такой уловке, и всякий раз выгадывал. Ведь даже если вы поверили бы в правдивость моего признания, вы во всяком случае были бы поражены моей искренностью. Вы бы сказали себе: правда, он обманул меня, но потом сам в этом признался, причем без всякой необходимости; его дерзость необъяснима, он решительно ничего не боится, своим чистосердечным рассказом он меня совсем сбил с толку. Короче говоря, я привлекаю к себе ваше внимание, возбуждаю ваше любопытство, вы начинаете ко мне приглядываться, вы недоумеваете. Да ведь вы сами минуту назад сказали: нет, я вас не понимаю. А сказали вы это потому, что пытались во мне разобраться, а одно это мне уже лестно, да, одно это прямо льет бальзам на мое самолюбие. Так что верите ли вы мне или нет, я в обоих случаях, как видите, выгадываю.

Пауза.

– И вы хотите меня убедить, – сказала она, – что все эти хитроумные выкладки вы заранее обдумали? Предвидели все случайности, приняли все необходимые меры? Ха-ха-ха! Теперь, что бы вы ни сказали, вы меня больше не удивите, нет, теперь я жду от вас всего. Ну, хватит об этом! Меня не удивила бы и большая ложь, да, вы за словом в карман не полезете!

Но он упорствовал, уверяя ее, что после ее слов его самомнение возрастет до невероятных размеров, вознесет его на недостижимые высоты. И он не может не выразить ей своей признательности, хе-хе-хе, он достиг того, чего хотел. Но, право же, она чересчур любезна, чересчур великодушна...

– Ну ладно, ладно, – прервала она его. – Не будем об этом.

Но теперь уже он остановился посреди дороги.

– Но я повторяю, что лгал вам, – сказал он и поглядел на нее в упор.

Мгновенье они смотрели друг на друга, ее сердце учащенно забилося, и она даже слегка побледнела. Почему он так добивался, чтобы она о нем дурно думала? Он так легко, так охотно уступал во всем другом, но тут он уперся, и ни с места. Навязчивая идея, какое-то безумие!

– Не знаю, почему вы выворачиваете передо мной свою душу наизнанку! – воскликнула она с досадой. – Вы ведь обещали хорошо себя вести.

Ожесточение ее было неподдельным. Ее выводила из себя его настойчивость, такая упорная, такая непоколебимая, что она терялась. Он явно старался сбить ее с толку, и это ее оскорбляло. В раздражении она стала бить себя зонтиком по руке.

Он выглядел очень несчастным и тут же начал беспомощно оправдываться, говорить какие-то нелепые слова. В конце концов она снова рассмеялась и дала ему понять, что не принимает его всерьез. Он просто невозможен, видно, таким всегда был, таким и будет. Ну конечно, ему все это кажется смешным. Но ни слова больше обо всем этом, ни слова...

Пауза.

– Помните, – сказал он, – здесь я вас в первый раз встретил. Никогда не забуду, как удивительно вы были похожи на фею, когда убегали от меня. Да, вы казались мне феей, видением... Но теперь я

хочу рассказать вам одну историю, которая со мной случилась, вернее, просто небольшое приключение, и рассказать его можно очень быстро. Как-то раз я сидел в своей комнате, это было в маленьком городке, не в Норвегии, впрочем, совершенно не важно, где это было, – так вот, короче говоря, мягким осенним вечером я сидел в своей комнате; это было восемь лет назад, в тысяча восемьсот восемьдесят третьем году. Я сидел спиной к двери и читал книгу.

– В комнате горела лампа?

– Да, а на дворе было совсем темно. Я сидел и читал. Вдруг слышу, что кто-то идет, я явственно расслышал шаги на лестнице, потом стук в мою дверь. Войдите! Никто не входит. Я открываю дверь – никого нет. За дверью никого не было! Я звоню, приходит служанка. Кто-нибудь поднимался по лестнице? Нет, никто не поднимался. Хорошо, спокойной ночи! Служанка уходит.

Я снова берусь за книгу. И тут я чувствую какой-то легкий ветерок, какое-то дуновение, словно меня коснулось человеческое дыхание, и слышу шепот: «Иди!» Я оборачиваюсь – никого нет. Я продолжаю читать, злюсь и говорю: «Черт». И вдруг я замечаю, что рядом стоит бледный человек небольшого роста, с рыжей бородой и жесткими, торчащими ежиком волосами; он стоит слева от меня и подмигивает мне, и в ответ я тоже почему-то ему подмигиваю; мы никогда прежде друг друга не видели, но мы перемигиваемся. Я захлопываю книгу, а человечек тем временем идет к двери и исчезает. Я слежу за ним глазами и вижу, как он вдруг исчезает. Я вскакиваю и тоже подхожу к двери, и тут я снова слышу шепот: «Иди!» Что ж, я надеваю сюртук, сую ноги в башмаки и выхожу на улицу. «Хорошо бы закурить», – думаю я, возвращаюсь домой, беру сигару и закуриваю. Потом я запикиваю несколько сигар в карман, одному богу известно, зачем я все это делаю, но все же я это делаю, и снова выхожу на улицу.

Темно было – хоть глаз выколи, и я ничего не видел, но все же ощущал присутствие того человечка, знал, что он идет рядом со мной. Я размахивал руками, чтобы коснуться его, то и дело останавливался и даже решал дальше не идти, если он мне не объяснит, в чем дело, но обнаружить его мне так и не удавалось. Я попытался также, несмотря на темноту, подмигнуть ему, я вертел головой в разные стороны, но и это ни к чему не привело. «...Что ж, ладно, – сказал я вслух, – но знай,

я иду вовсе не ради тебя, а просто так, мне захотелось пройтись; имей в виду, что я отправился на прогулку, и только». Я нарочно говорил громко, чтобы он мог слышать. Я шел так несколько часов кряду, вышел из города и оказался в лесу – по лицу меня хлестали мокрые ветки. «Хорошо, – сказал я наконец и вынул часы как бы для того, чтобы посмотреть, который час, – а теперь пойду-ка я домой!» Но я вовсе не пошел домой, я был почему-то не в силах повернуть назад, что-то неудержимо гнало меня дальше. «Впрочем, погода такая изумительная, – сказал я тогда, – почему бы мне не гулять всю ночь напролет, и следующую тоже, ведь времени у меня хоть отбавляй!» Я закурил еще сигару, а маленький человечек не отставал от меня, он был все время где-то рядом, я чувствовал на себе его дыхание. Я шел, не останавливаясь, то и дело меня направление, но при этом ни разу не повернул назад, в город. Ноги у меня ныли, брюки были мокрые до колен, а лицо горело, потому что мокрые ветки все хлестали и хлестали меня по щекам. «Может показаться странным, – сказал я, – что я гуляю здесь в такой поздний час; но я с самого детства пристрастился бродить по ночам в дремучих лесах, это вошло у меня в привычку». И шел дальше, стиснув зубы. Из города до меня донесся бой башенных часов. Пробило полночь: раз, два, три, четыре – и так до двенадцати, я считал удары. Эти знакомые звуки меня очень ободрили, хотя я и был раздосадован, что мы все еще находились совсем близко от города, несмотря на то что бродили уже так долго. Вот пробили, значит, башенные часы полночь, и как только заглох последний удар, маленький человечек снова оказался передо мной, – стоит себе, плядит на меня и посмеивается. В жизни своей не забуду этого, я видел его так отчетливо – у него не было двух передних зубов, а руки он держал за спиной...

– Но как вы смогли его увидеть в темноте?

– Он сам светился. Он светился каким-то странным светом, который, казалось, находится где-то за ним, струится у него из-за спины и делает его чуть ли не прозрачным, даже одежду его я смог разглядеть, словно днем, штаны его были сильно истрепаны и чересчур коротки. Все это я заметил в одно мгновение. Вид его меня так поразил, что я невольно зажмурил глаза и отступил на шаг. Когда же я их снова открыл, человечка уже не было...

– Ах!..

– Подождите, это еще не все! Я, оказывается, дошел до какой-то башни, она преграждала мне путь, я просто уперся в нее и видел ее все отчетливее, – черная, восьмиугольная башня, точь-в-точь, как «Башня ветров» в Афинах, если вы видели ее на картинках. Я никогда прежде не слышал, что в этом лесу есть какая-то башня, но оказалось, что есть: я стоял прямо перед ней. И снова услышал: «Иди!» Я вошел, дверь за мной не захлопнулась, и это меня несколько успокоило.

Там внутри, под сводами, я опять увидел моего спутника: у стены напротив горела лампа, и я смог его хорошенько рассмотреть, он двинулся ко мне из глубины помещения, словно был там все время, и стал передо мной, тихо посмеиваясь и не сводя с меня взгляда. Я посмотрел ему в глаза, и мне показалось, что я увидел там все те ужасы, которые эти глаза видели в жизни. Он снова подмигнул мне, но я не ответил ему тем же, а когда он попытался подойти ко мне еще ближе, попятился назад. Вдруг я услышал за спиной чьи-то легкие шаги, я повернул голову и увидел девушку.

Я смотрю на нее и испытываю от этого радость: у нее рыжие волосы и черные глаза; она плохо одета и ходит босиком по каменному полу; ее обнаженные руки поражают меня белизной.

На мгновение она застывает, как бы оглядывая нас обоих, потом низко склоняет передо мной голову и подходит к маленькому человечку. Не говоря ни слова, она расстегивает его плащ и шарит под ним, словно ища чего-то, а затем вытаскивает засунутый под подкладку горящий фонарик, маленький, но очень яркий, и вешает его себе на палец. Он дает так много света, что совершенно забывает лампу у стены. Пока она его обыскивает, маленький человечек стоит все так же тихо и продолжает улыбаться. «Спокойной ночи», – говорит девушка, указывая ему на дверь, и мой спутник, это страшное, странное существо, похожее скорее на животное, чем на человека, уходит. Я остаюсь один со своей новой знакомой.

Она подошла ко мне, снова низко склонилась передо мной и спросила, не улыбаясь и не повышая голоса:

– Откуда ты?

– Из города, красавица, – ответил я, – я пришел прямо из города.

– Незнакомец, прости моего отца, – сказала она вдруг, – не обижай нас. Он болен, он не в своем уме, ты ведь видел его глаза.

– Да, я видел его глаза, – ответил я, – и чувствовал, что они имеют власть надо мной: я последовал за ним.

– Где ты его встретил? – спросила она.

– У себя дома, – ответил я. – Я сидел и читал, когда он вошел ко мне.

Она только покачала головой и опустила глаза.

– Но это не должно тебя огорчать, прекрасное дитя, – продолжал я. – Я с удовольствием совершил эту прогулку, ничего важного я не пропустил и рад, что встретил тебя. Погляди, я весел и всем доволен, улыбнись же и ты.

Но она не улыбнулась, она сказала:

– Сними башмаки. Ты не можешь уйти отсюда ночью, я высушу твою одежду.

Я поглядел на себя, – я и в самом деле промок до нитки, а башмаки мои пропитались водой, как губка. Я сделал, как она велела, снял ботинки и дал их ей. Но как только я разулся, она задула огонь и сказала.

– Пошли!

– погоди, – сказал я и остановил ее. – Если я не буду здесь спать, то почему ты велела мне снять башмаки?

– Этого ты не должен знать, – ответила она.

И она мне так ничего и не объяснила. Она повела меня в темную комнату, там я уловил какие-то странные звуки, словно нас кто-то обнюхивал, и тут же нежная рука зажала мне рот, а девушка сказала громким голосом:

– Это я, отец. Чужой ушел, ушел.

Но я снова услышал сопение – сумасшедший урод продолжал нас обнюхивать.

Она держала меня за руку, пока мы поднимались по лестнице, но никто из нас не вымолвил ни слова. Мы вошли в какое-то новое помещение, где было совсем темно, – ничто там не нарушало этого всепоглощающего ночного мрака: ни случайно пробившийся луч света, ни мерцающий вдали огонек.

– Тише, – шепнула она, – вот моя кровать.

Я нашел ее ошупью.

Я снял с себя все и протянул ей.

– Спокойной ночи! – сказала она.

Я стал ее удерживать, просил побыть со мной:

– погоди, не уходи. Теперь я знаю, почему ты мне велела снять башмаки еще там, внизу; я буду сидеть тихо-тихо, твой отец не слышал, что я прошел сюда; останься!

Но она не осталась.

– Спокойной ночи! – сказала она снова и ушла...

Пауза. Дагни была пунцово-красной, она прерывисто дышала, ноздри ее вздрагивали.

– Она ушла? – поспешно переспросила она.

Снова пауза.

– И вот тут эта ночь превращается в волшебную сказку, все, что я помню, я вижу как бы в розовом свете. Представьте себе эту удивительную ночь... Я был один, плотный мрак окутывал меня, как тяжелый черный бархат. Я очень устал, колени у меня дрожали, к тому же я был раздосадован и совершенно сбит с толку. Этот чертов сумасшедший несколько часов кряду водил меня вокруг одного и того же места, да еще по такой росе! Он гнал меня, словно скотину какую-то, понукая лишь взглядом и шепотом: «Иди! Иди!» В следующий раз я отниму у него его фонарь и этим фонарем разобью ему рожу! Я злился все больше, в конце концов в бешенстве закурил сигару и лег в постель. Я лежал и глядел на вспыхивающий во тьме кончик моей сигары; вскоре я услышал, как хлопнула входная дверь, потом все смолкло.

Прошло минут десять. Прошу вас, обратите внимание: я тихо лежу в постели, но сна ни в одном глазу, я лежу и курю сигару. И вдруг все помещение наполняется гулом, словно в потолке сразу открыли десятки каких-то клапанов. Я приподымаюсь на локте, забываю о сигаре, и она гаснет, я вглядываюсь в темноту, но ничего не могу обнаружить. Тогда я снова ложусь и прислушиваюсь, и мне чудится, будто я слышу отдаленную музыку, удивительный тысячеголосый хор, звуки доносятся откуда-то из-за стен, а может, сверху, из поднебесья, тихое пение тысячеголосого хора, оно не смолкает, а, напротив, все приближается и приближается и в конце концов словно ливень обрушивается на крышу башни и на меня. Я снова приподымаюсь на локте. И я переживаю нечто такое, что еще и теперь, при одном воспоминании об этой ночи, меня потрясает и переполняет каким-то сверхъестественным счастьем. На меня как бы

низвергается вдруг целый сонм крошечных сияющих существ, все они ослепительно-белые, это ангелочки, мириады крошечных ангелов, они летят откуда-то сверху, струятся световым каскадом. Они заполняют все пространство под сводами башни, их, наверно, не меньше миллиона, они плавно кружат между полом и потолком, и поют и поют, – они совершенно нагие и белые-белые. Сердце мое замирает, вокруг меня витают ангелы, я слышу их пение, они касаются моих век, садятся мне на волосы, и от их дыхания все помещение постепенно наполняется удивительным ароматом.

Я полулежу, опершись на локоть, и протягиваю к ним руку, и тогда несколько ангелочков садятся мне на руку – вот так, у меня на ладони, они похожи на звездочки – мерцающее созвездие из семи звезд. Я наклоняюсь и заглядываю им в глаза, и я вижу, что они слепые. Тогда я отпускаю этих семь слепых ангелов, ловлю семь других, но и те оказываются слепыми. Все они были слепые – в башне кружились мириады слепых ангелочков и пели!

Я лежал, не шелохнувшись, у меня перехватило дыхание, когда я это увидел, их незрячие глаза пронзили мою душу печалью.

Прошла минута. Я лежу и слушаю, и вдруг раздается где-то вдали тяжелый резкий удар, я слышу его с какой-то жесткой отчетливостью, звук еще долго гудит в воздухе – это снова пробили городские часы: час ночи!

Разом смолкло ангельское пение. Я видел, как ангелочки сбились в стаю и воспарили, устремились под потолок, заливая своды потоком света, они теснились, чтобы скорее вырваться наружу, и улетали друг за другом, все время глядя на меня. Вот остался только один, он тоже обернулся и еще раз посмотрел на меня своими незрячими глазами, прежде чем исчезнуть.

Последнее, что я запомнил, – это ангел, который обернулся и посмотрел на меня, хотя он и был слепой. Потом все снова погрузилось в темноту. Я откинулся на подушку и заснул...

Когда я проснулся, было уже совсем светло. Я по-прежнему был один в этой комнате со сводами. Моя одежда лежала передо мной прямо на полу. Я пощупал ее, она была еще сыровата, но я все-таки оделся. Вдруг дверь приотворилась, и вновь появляется девушка, которую я видел накануне.

Она подходит ко мне совсем близко, и тогда я спрашиваю ее:

– Откуда ты пришла? Где была ты ночью, красавица?

– Там, наверху, – отвечает она и указывает на крышу башни.

– Разве ты не спала?

– Нет, не спала. Я всю ночь не спала.

– А не слышала ли ты ночью музыки? – спрашиваю я. – Я слышал райскую музыку.

– Это я играла и пела, – отвечает она.

– Ты? Скажи, дитя мое, это правда?

– Да, я.

Она протянула мне руку и сказала:

– А теперь идем, я выведу тебя на дорогу.

Мы вышли из башни и пошли, рука об руку, в лес. Солнце освещало ее золотистые волосы; у нее были удивительные черные глаза. Я обнял ее и два раза поцеловал в лоб, а потом упал перед ней на колени. Дрожащими руками развязала она на себе черную ленту и обмотала ее вокруг моего запястья; она плакала и, судя по ее виду, была очень взволнована.

– Почему ты плачешь? – спросил я ее. – Оставь меня, если я чем-то тебя обидел.

Но она не ответила, а только спросила:

– Ты видишь город?

– Нет, – сказал я, – не вижу. А ты?

– Встань, пойдем дальше, – сказала она. И повела меня дальше. Я снова остановился, прижал ее к своей груди и сказал:

– Я так люблю тебя! Ты переполнила меня таким счастьем!

Она вся задрожала у меня в руках, но все же сказала:

– Мне надо вернуться. Теперь ты, наверно, уже видишь город?

– Конечно, – ответил я. – Ты же его видишь?

– Нет, – ответила она.

– Почему? – спросил я.

Она отошла немного, взглянула на меня своими огромными глазами и низко склонилась передо мной, как бы прощаясь. Сделав еще несколько шагов, она снова обернулась и опять поглядела на меня.

И только тогда я увидел, что она тоже слепая...

Прошло двенадцать часов, но я не могу рассказать, как я их провел. Тут у меня какой-то провал в памяти. Куда затерялись эти часы, не знаю. Помню, как я ударяю себя по лбу и говорю: «Прошло

двенадцать часов, они спрятались где-нибудь здесь, в башне. Они просто притаились, я должен их найти». Но найти их мне так и не удалось.

Снова вечер, темный, мягкий осенний вечер. Я сижу у себя в комнате с книгой в руке. Я оглядываю свои ноги – башмаки мои еще сыроваты. Я смотрю на свою руку и вижу, что на запястье повязана черная лента. Все соответствует действительности.

Я звоню, чтобы позвать служанку, и, когда она приходит, спрашиваю ее, нет ли здесь где-нибудь поблизости в лесу башни, черной восьмиугольной башни. Служанка кивает головой и говорит:

– Да, здесь в лесу стоит башня.

– И там живут люди?

– Там живет странный человек, он больной, сумасшедший, у нас его зовут «Человек с фонарем». У него есть дочь. Она тоже живет вместе с ним в башне. А кроме них там никого нет.

– Ну хорошо, спокойной ночи.

И я ложусь спать.

На следующий день рано утром я отправляюсь в лес. Я шагаю по той же тропинке, вижу те же деревья. Я нахожу башню. Я подбегаю к дверям, и вдруг сердце мое оstanавливается: на земле лежит слепая девушка – она изуродована, она разбилась, она мертва. Она лежит с открытым ртом, и солнце озаряет ее рыжие волосы. А наверху, на крыше, еще трепещет клочок ее платья, зацепившийся за острый угол кровли; по дорожке, усыпанной щебнем, ходит взад-вперед маленький человек, ее отец, и неотрывно глядит на бездыханное тело. Грудь его судорожно вздымается, и он воет в голос; он только и в силах что ходить вокруг трупа, не сводя с него глаз, и громко выть. Когда же он вдруг посмотрел на меня, я содрогнулся от этого взгляда и, охваченный ужасом, со всех ног бросился назад, в город. Больше я его никогда не видел.

Вот такая со мной случилась история.

Они долго молчали. Дагни шла, не отрывая глаз от тропинки, шла очень медленно. Наконец она сказала:

– Бог ты мой, что за странная история!

Снова наступило молчание, и Нагель несколько раз пытался прервать его, говорил о том, какая удивительная тишина в лесу, какой покой!

– Вы чувствуете, как здесь, именно здесь, воздух насыщен ароматами? Давайте посидим здесь немного, ну, пожалуйста.

Дагни, по-прежнему тихая и задумчивая, села, не произнеся ни слова, он сел против нее.

Он считал себя обязанным ее снова развеселить. Это ведь, собственно говоря, вовсе не такая уж печальная история, скорее наоборот, забавная. И вообще чушь! Нет, вот в Индии – другое дело, в Индии случаются такие приключения, что, когда о них услышишь, дыхание перехватывает и кровь стынет в жилах от ужаса. Вообще индусские сказки бывают двух родов: одни погружают нас в мир неземной красоты, но вполне земных желаний – там речь идет об алмазных пещерах, о принцах, скрывающихся в горах, о неотразимых заморских красавицах, о духах земли и воздуха, о жемчужных дворцах, о крылатых конях и лесах из чистого серебра и золота. Другие сказки отдают предпочтение мистике, они касаются вещей, нас потрясающих, необычных и необъяснимых; вообще, никто не может сравниться с восточными народами в искусстве придумывать невообразимые коллизии и наводить ужас на слушателей порождением своей разгоряченной фантазии. Ведь вся их жизнь с первого дня протекает в сказочном мире, и рассказывать о нем властелине, живущем в облаках, и о его великой силе, которую он расходует, дробя челюстями звезды, им так же просто, как о замке феи в недоступных горах. Но все это объясняется только тем, что люди эти живут под другим солнцем и едят фрукты, а не ростбифы.

– Но разве у нас самих нет прекрасных сказок? – спросила Дагни.

– Есть замечательные, но только они в другом роде. Мы не знаем солнца, которое ослепляет и палит без всякой меры. Наши сказки о Хульдре, о разной там лесной нечисти стелются, так сказать, по земле, а то и уходят под землю, они рождены убогой фантазией, выношены темными зимними ночами в бревенчатых домишках под копоть лампы. Читала ли она когда-нибудь сказки «Тысячи и одной ночи»? Вот сказки из Гудбранской долины с их печальной крестьянской поэзией и кургузой фантазией – это другое дело, это – наши сказки, они воплощают наш дух. Они спокойны и остроумны, слушая их, мы не содрогаяемся от ужаса, а смеемся. И герой в наших сказках не прекрасный принц, а хитрый пономарь. Она не согласна? Ну да, нурланские сказки, но разве они не такие же? Что мы смогли

извлечь, например, из мистической и дикой красоты моря? Взять хотя бы лодку викингов. Ведь у восточных народов она превратилась бы в сказочный корабль, в корабль духов. Видела ли она когда-нибудь такую лодку? По ее форме можно сразу определить ее пол, она похожа на огромную самку с раздутым чревом, набитым детенышами, и плоской кормой, потому что иногда она садится на задние лапы. А нос ее высоко задран, словно гигантский рог, готовый сразиться со всеми четырьмя ветрами... Нет, мы живем слишком далеко на севере. Но это, конечно, только некомпетентное мнение агронома о географическом факте.

Видно, ей надоела его болтовня, в ее синих глазах промелькнуло что-то похожее на насмешку, и она спросила:

– Который час?

– Который час? – переспросил он рассеянно. – Наверно, около часу. Еще не поздно, да и вообще – какая разница.

Пауза.

– Вам нравится Толстой? – спросила она.

– Мне нравится не Толстой, – быстро ответил он, бросаясь на новую тему, – а «Анна Каренина» и «Война и мир», и...

Но она перебила его с улыбкой:

– А что вы думаете по поводу вечного мира?

Этот вопрос попал в цель. Он изменился в лице и растерялся.

– Что вы хотите сказать? Понятно, я надоел вам до смерти.

– Уверяю вас, мне это просто вдруг пришло в голову, – сказала она и покраснела. – Вы не должны на это обижаться. Дело вот в чем: мы собираемся устроить благотворительный базар для сбора средств в фонд государственной обороны. Только поэтому я вам и задала такой вопрос.

Пауза. Вдруг он поднимает голову и глядит на нее сияющими глазами.

– Я сегодня так счастлив... я хочу вам это сказать... быть может, поэтому я и болтаю слишком много. Я радуюсь всему, радуюсь, что я гуляю здесь с вами; и эта ночь меня радует, мне кажется, она самая прекрасная из всех, которые мне вообще довелось пережить. Я сам не понимаю, что со мной. Будто я – частица этого леса или этой земли, ветка сосны или камень, да, пусть даже камень, но камень, пропитанный этими тонкими ароматами и исполненный того покоя,

который нас окружает. Поглядите вон туда, – уже светает; вы видите эту серебряную полосу?

Они оба глядели на светлую полосу, появившуюся на горизонте.

– Мне сегодня тоже очень хорошо, – сказала она.

И она сказала это не в ответ на вопрос, а сама по себе, по собственной воле, совсем непосредственно, словно говорить об этом было ей радостно. Нагель пытливо заглянул ей в лицо, и на глазах у него снова выступили слезы. Нервно, порывисто, сбивчиво начал он говорить об Ивановой ночи, о ветре, который раскачивает верхушки деревьев и гудит, раскачивает и гудит, о том, что занимающийся вон там день переродил его, вселил в него совсем новые силы. Грундвиг поет: «Рассвет окрасил небо, и ночь уж миновала». Если он утомил ее своей болтовней, то он мог бы показать ей небольшой фокус с веткой и соломинкой, и она увидела бы, что соломинка крепче ветки. Он готов сделать для нее все, что угодно. Поглядите только... разрешите мне указать вам на одну мелочь, которая, однако, произвела на меня впечатление... поглядите на тот одинокий куст можжевельника. Ведь он буквально склоняется перед нами, и я вижу, он исполнен добра. А паук, глядите, тклет свою паутину, от сосны к сосне; паутинка – изделие редчайшей китайской работы, солнце, сотканное из мельчайших капелек воды. Вам не холодно? Я уверен, что сейчас вокруг нас танцуют теплые, смеющиеся эльфы, но если вам холодно, я разведу костер... Скажите, мне вдруг это пришло в голову, не здесь ли поблизости нашли Карлсена?

Была ли это месть за то, что она тогда над ним посмеялась? От него ведь всего можно ожидать.

Она вспыхнула и резко ответила:

– Оставьте его, прошу вас. Разве так можно!

– Простите! – поспешно сказал он. – Говорят, он был в вас влюблен, и мне это так понятно...

– Влюблен в меня? А не говорят ли также, что он из-за меня покончил с собой, моим перочинным ножичком? Ну, нам пора идти.

Она встала. Говорила она с легкой грустью, без смущения и без притворства. Он был крайне поражен. Она, значит, понимала, что довела до самоубийства одного из своих поклонников, но относилась к этому удивительно просто, не смеялась над этим, но и не пыталась обернуть это в свою пользу, – она говорила об этом как о печальном

происшествия, и только. Ее длинная светлая коса приминала ворот платья, а щеки слегка порозовели от ночной прохлады. Она шла, чуть заметно покачивая бедрами.

Лес кончился, перед ними раскинулась открытая поляна, где-то лаяла собака, и Нагель сказал:

– Вот уже и пасторская усадьба. Как уютно выглядят эти большие белые строения, и сад, и собачья конура, и флагшток, особенно когда вокруг густой лес. Вам не кажется, фрекен, что вы будете тосковать по дому, когда уедете отсюда, я хочу сказать, когда выйдете замуж? Впрочем, все зависит от того, где вы будете жить.

– Я еще не задумывалась над этим, – ответила она. И добавила: – Кто знает, что нас ждет впереди!

– Вас ждет счастье.

Пауза. Она шла и, видно, думала о его словах.

– Послушайте, – сказала она вдруг, – вы не должны удивляться, что я гуляю так поздно ночью. У нас здесь это принято. Мы ведь все крестьяне, так сказать, дети природы. Мы с адьюнктом часто бродили по лесу до самого утра и болтали.

– С адьюнктом? С ним, мне кажется, не очень-то поговоришь.

– Да, конечно, больше говорю я, вернее, я задаю ему разные вопросы, а он отвечает... Что вы будете сейчас делать, когда придете домой?

– Сейчас? – переспросил Нагель. – Когда я приду, я тут же лягу и засну – и буду спать до полудня, спать как убитый, спать без просыпу! И мне ничего не будет сниться. А вы что будете делать?

– Разве вы ни о чем не думаете? Вам не случается прежде чем заснуть, долго думать о самых разных вещах? Вы, правда, сразу засыпаете?

– Мгновенно, будто проваливаюсь. А вы нет?

– Послушайте, вот уже и первая птичка запела. Нет, сейчас, должно быть, куда позже, чем вы говорите. Дайте-ка я посмотрю на ваши часы. Бог ты мой, уже четвертый час, скоро четыре! Почему же вы недавно сказали, что только час?

– Простите меня!

Она посмотрела на него, нисколько не сердясь, и сказала:

– Вам незачем было меня обманывать, я все равно гуляла бы с вами, я говорю это совершенно честно. Надеюсь, вы не поймете меня

неверно. Просто здесь у меня мало развлечений, поэтому я обеими руками хватаюсь за все, что мне попадет. Так я привыкла жить с тех пор, как мы сюда переехали, и я не думаю, что кто-нибудь меня за это осудит. Впрочем, может, я и ошибаюсь, да мне это все равно. Папа, во всяком случае, не возражает, а для меня важно только его мнение. Давайте пройдемся еще немного.

Они миновали пасторский дом и снова вошли в лес по другую сторону усадьбы. Птицы уже пели вовсю, а светлая полоса на востоке становилась все шире и шире. Разговор как-то сник, он вертелся вокруг пустяков.

Они повернули назад и подошли к воротам усадьбы.

– Иду, иду! – крикнула она собаке, рвавшейся на цепи. – Спасибо, что вы меня проводили, господин Нагель, это был прекрасный вечер. И теперь мне есть о чем рассказать моему жениху, когда я буду ему писать. Я скажу, что вы такой человек, который ни с кем ни в чем не согласен. Вот он удивится! Так и вижу, как он размышляет над этим письмом, не в силах представить себе такого характера. Нет, ему этого не понять, он ведь удивительно добрый. Боже, какой он добрый! Он никогда не противоречит. Жаль, что вам не доведется с ним познакомиться, пока вы будете здесь. Спокойной ночи.

И Нагель ответил:

– Спокойной ночи, спокойной ночи. – И неотрывно глядел ей вслед, пока она не скрылась в доме.

Нагель снял кепку и нес ее в руках все время, пока шел через лес, всецело погруженный в свои мысли; много раз он останавливался, отрывал глаза от дороги и застывал на мгновение, глядя прямо перед собой, а потом медленно шел дальше. Что за голос у нее, что за голос! Просто невообразимо: голос, который звучит, как пение.

На другой день, около полудня.

Нагель только что встал и вышел, не позавтракав. Он направился в нижнюю часть города и забрел уже довольно далеко, его влекло сюда оживление и сутолока у пристани, да и погода стояла ослепительная. Вдруг он обратился к первому встречному и спросил, где находится канцелярия окружного суда. Узнав, как туда пройти, Нагель тотчас же повернул в указанном направлении.

Он постучал в дверь канцелярии и вошел в комнату, где сидели два каких-то господина и что-то писали; миновав их, он обратился к поверенному Рейнерту и попросил его уделить ему несколько минут на разговор с глазу на глаз – много времени он у него не отнимет. Поверенный нехотя встал и повел его в соседнюю комнату.

Тогда Нагель сказал:

– Простите, пожалуйста, что я еще раз возвращаюсь к этому делу – я имею в виду историю с Минуткой, как вы понимаете. Я приношу вам свои глубокие извинения.

– После того как вы публично извинились передо мной тогда, в канун Иванова дня, я считаю этот инцидент исчерпанным.

– Что ж, прекрасно, – сказал Нагель. – Но беда в том, что меня не устраивает создавшееся положение, господин поверенный. Я не о себе говорю – у меня лично к вам нет решительно никаких претензий, – я о Минутке. Вы, надеюсь, согласитесь с тем, что Минутка тоже вправе получить удовлетворение, и получить он его должен от вас, именно от вас.

– Вы что, хотите сказать, что мне следует извиниться перед этим слабоумным за те невинные шутки, которые я себе позволил, так, что ли? Не лучше ли вам заняться своими собственными делами, и не...

– Да, да, да, это старая песня! Но давайте вернемся к сути вопроса. Вы разорвали Минутке сюртук и обещали ему взамен другой, вы это помните?

– Я вам вот что скажу: вы находитесь не у себя дома, а в суде, и позволяете себе болтать бог весть что о частном деле, которое к тому

же вас совершенно не касается. Здесь я хозяин. Вам незачем проходить через канцелярию, отсюда тоже есть выход на улицу.

И поверенный отпер какую-то маленькую дверь.

– Благодарю. Но шутки в сторону, вы должны, не откладывая, послать Минутке обещанный вами сюртук. Он в нем нуждается, вы это знаете, и он поверил вашему слову.

Поверенный широко распахнул перед Нагелем отпертую дверь и сказал:

– Прошу вас!

– Минутка считал вас порядочным человеком, – не унимался Нагель, – и вам не следовало бы его обманывать.

В ответ поверенный открыл дверь, ведущую в канцелярию, и позвал тех двух чиновников, которые там сидели. Тогда Нагель приподнял кепку и поспешно вышел. Он не произнес больше ни слова.

Как нелепо все получилось! Зря он предпринял эту попытку, лучше было бы не объясняться. Нагель отправился домой, позавтракал, почитал газеты и поиграл со щенком Якобсеном.

После обеда Нагель увидел из окна своей комнаты Минутку, подымавшегося от пристани по крутой каменистой дороге с мешком угля на спине. Он шел, скрючившись, и не мог даже смотреть себе под ноги, – тяжесть совсем прижала его к земле. Ноги так плохо слушались его, такая странная была у него походка, что его брюки с внутренней стороны совсем обтрепались. Нагель вышел ему навстречу и столкнулся с ним у почты, где Минутка скинул мешок, чтобы перевести дух.

Они приветствовали друг друга одинаково низкими поклонами. Когда Минутка выпрямился, его левое плечо опустилось. Нагель вдруг вцепился в это плечо и без всяких предисловий, не снимая руки, спросил в сильном возбуждении:

– Вы проболтались насчет денег, которые я вам дал? Хоть кому-нибудь говорили?

Минутка прошептал в растерянности:

– Да нет, никому, ни одной живой душе.

– Я хочу вас предупредить, – продолжал Нагель, бледный от волнения, – что если вы хоть словом обмолвитесь о тех нескольких шиллингах, которые я вам дал, то я вас убью... да, просто убью – бог

свидетель! Вы меня поняли? И чтобы ваш дядя тоже держал язык за зубами!

Минутка стоял с открытым ртом, он остолбенел и только немного спустя снова бессвязно забормотал: он никому не скажет ни слова, он это обещает, никому...

А Нагель поспешно добавил, как бы в оправдание своей вспышки:

– Ну и городишко! Медвежий угол, дыра какая-то, настоящее осиное гнездо! Все на меня плазуют, куда бы я ни пошел, за мной следят, просто шагу ступить нельзя! Но я не желаю, чтобы за мной всюду шпионили! К черту всех этих людей! Теперь я вас предупредил. Еще я вам вот что скажу: я думаю, и на это у меня есть свои основания, что, например, эта фрекен Хьеллан из пасторской усадьбы уж очень хитра, она в два счета обведет вас вокруг пальца и вы, сами того не замечая, все ей выболтаете. Но я не потерплю этого любопытства, решительно не потерплю. Кстати" вчера я провел с ней вечер. Она большая кокетка. Впрочем, не об этом сейчас речь. Я только хочу еще раз попросить вас не болтать о той пустячной помощи, которую я вам оказываю. Очень хорошо, что я вас сейчас встретил, – продолжал Нагель. – Я хотел поговорить с вами еще и о другом: третьего дня на кладбище мы сидели с вами, если помните, на одной могильной плите.

– Да.

– Я написал на этой плите стишок, признаюсь, скверный, непристойный стишок; впрочем, не в этом суть; итак, я написал этот стишок, и когда мы ушли оттуда, я его не стер, а несколько минут спустя, когда я снова туда вернулся, его уже не было, его кто-то стер, – это ваша работа?

Минутка опустил глаза и ответил:

– Да.

Пауза. Запинаясь от волнения, вконец смущенный тем, что его уличили в столь дерзком поступке. Минутка попытался объяснить, почему он решился действовать на свой страх и риск:

– Я так хотел предотвратить... Вы не знали Мину Меек, в этом все дело, а то вы никогда бы себе этого не позволили, не написали бы таких стихов. И я тут же сказал себе: он не виноват, он в городе чужой, а я – здешний и легко могу это исправить; разве я не должен был так поступить? Я стер стихи. Никто их не прочел.

– Откуда вы знаете, что никто не успел их прочесть?

– Ни одна душа, это точно. Проводив вас и доктора Стенерсена до ворот кладбища, я тут же вернулся назад и стер их. Я отсутствовал так мало времени...

Нагель взглянул на него, взял его руку и молча пожал. Они смотрели друг на друга, и губы Нагеля чуть заметно дрожали.

– Прощайте, – сказал он... – Да, кстати, вы получили сюртук?

– Гм... Все же я уверен, что получу его, когда он мне будет нужен. Через три недели...

Тут мимо них проходит седая женщина, та, что торгует яйцами, Марта Гудэ; корзинка у нее, как всегда, спрятана под фартуком, а черные глаза потуплены. Минутка поклонился ей. Нагель тоже, но она едва ответила на поклон и торопливо прошла дальше; она поспешила на рынок, тут же продала два-три яйца, и с несколькими шиллингами в руке так же торопливо направилась домой. На ней было зеленое платье, и Нагель все время не терял ее из виду.

– Так, значит, – сказал он, – сюртук вам понадобится лишь через три недели. А что, собственно, будет через три недели?

– Благотворительный базар, большой вечер, разве вы не слышали? И я должен там участвовать в живых картинах, фрекен Дагни меня пригласила.

– Вот как, – задумчиво произнес Нагель. – Что ж, вы получите сюртук в ближайшие дни, я уверен, и даже новый, а не ношенный. Как было обещано. Поверенный мне это сам сегодня сказал. Он, в сущности, совсем неплохой человек... Но только запомните: вы не должны благодарить его за это ни при каких обстоятельствах! И вот еще: никогда не упоминайте в его присутствии об этом сюртуке, ему не нужна ваша благодарность, поняли?... Он сказал, что ему это было бы крайне неприятно. Да вы и сами, наверное, понимаете, что напоминать ему о том случае с вашей стороны просто бестактно, – ведь он был тогда пьян и ушел из гостиницы в помятой шляпе.

– Да.

– Дяде вашему вы тоже не говорите, откуда у вас этот сюртук. Ни одна душа не должна об этом знать, этого настоятельно требует поверенный. Вы ведь сами понимаете, что ему не хочется, чтобы в городе стало известно, что ему ничего не стоит оскорбить первого встречного, а потом подарить сюртук в искупление своей вины.

– Да, это я понимаю.

– Послушайте, мне это только сейчас пришло в голову: почему вы не развозите уголь на тачке?

– На тачке мне никак нельзя. Из-за увечья. Перетаскивать тяжелые мешки – это я могу, если только их не взваливать на спину рывком, но стоит мне взяться за тачку и толкнуть ее вперед, как я от напряжения настолько обессиливаю, что тут же падаю, разбиваю себе лицо, и у меня начинаются страшнейшие боли. А вот с мешком я справляюсь без особого труда.

– Что ж, это хорошо. Загляните ко мне как-нибудь. Не забудьте, комната номер семь. Приходите не стесняясь.

Говоря это, Нагель сунул Минутке в руку ассигнацию и торопливо двинулся вниз по улице в сторону набережной. Все это время он не терял из виду зеленое платье и шел теперь за ним следом.

Когда он дошел до домика Марты Гудэ, он остановился и огляделся по сторонам. Никто за ним не следил. Он постучал в дверь, но ответа не получил. Он уже дважды приходил сюда и стучал в эту дверь, и тогда тоже никто не отзывался; но на этот раз он своими глазами видел, как она вернулась домой с рынка, и он не хотел уходить, не побывав у нее. Полный решимости, отворил он дверь и вошел в дом.

Она стояла посреди комнаты и смотрела на него. Она так растерялась, что на ней лица не было, и от полной беспомощности даже вытянула вперед руки.

– Простите меня за назойливость, фрекен, прошу вас, – сказал Нагель и поклонился с удивительной почтительностью. – Я был бы вам крайне благодарен, если бы вы мне разрешили поговорить с вами. Не беспокойтесь, я не задержу вас надолго, – дело, которое привело меня к вам, можно решить за несколько минут. Я уже не раз пытался повидать вас, но, увы, безуспешно, и только сегодня мне наконец посчастливилось застать вас дома. Моя фамилия Нагель, я приезжий и живу здесь в гостинице «Централь».

Она по-прежнему была не в состоянии произнести ни слова, но придвинула ему стул, а сама отошла к кухонной двери. В страшном смущении глядела она на него, все время нервно теребя свой фартук.

Комната оказалась точь-в-точь такой, как представлял себе Нагель: стол, два стула и кровать – вот и вся ее обстановка. На

подоконнике стояло несколько горшков с белыми цветами, но занавесок на окне не было, а пол отнюдь не поражал чистотой. Нагель увидел и ветхое кресло с высокой спинкой в углу возле кровати. У этого кресла сохранились всего две ножки, оно было прислонено к стене и имело весьма жалкий вид. Сиденье у этой старой рухляди было обтянуто красным плюшем.

– Если бы я только мог вас успокоить, фрекен, – снова начал Нагель. – Я не на всех нагоняю такой страх, когда наношу визит, ха-ха-ха; я уже побывал здесь, в городе, и у других людей, не думайте, что я так бесцеремонно ворвался только к вам. Я хожу из дома в дом, пытаюсь попасть ко всем, да вы, наверно, уже об этом прослышали? Нет? Но дело обстоит именно так. Меня к этому вынуждает моя профессия, я ведь коллекционер, собираю антикварные предметы – покупаю старинные вещи и плачу за них столько, сколько они в действительности стоят. Только, пожалуйста, не пугайтесь, фрекен, я ничего не унесу у вас тайком, я не краду, ха-ха-ха, у меня вообще нет этой дурной привычки. На этот счет вы можете не волноваться. Если мне не удастся купить ту или иную вещь, договорившись по совести с владельцем, я отступаю.

– Но у меня нет никаких старых вещей, – вымолвила она наконец; она явно была в полном отчаянии.

– Так всегда говорят, – ответил он. – Я, конечно, понимаю, что есть вещи, которые любишь и с которыми трудно расстаться, вещи, к которым привык за жизнь, которые перешли по наследству от родителей, а то и от прадедов. Но, с другой стороны, эти старые вещи стоят и стоят и ни на что уже толком не годны; так зачем же им только зря занимать место в доме, быть мертвым капиталом? А ведь эти бесполезные фамильные реликвии часто могут принести весьма крупную сумму. Какой же смысл держаться за них, пока они окончательно не развалятся и не придется отправить их на чердак? Почему бы не продать их, пока не поздно? Некоторые сердятся, когда я являюсь, – они, мол, не держат дома старья, – что ж, прекрасно, каждый сам себе хозяин, я раскланиваюсь и ухожу. Тут уж ничего не поделаешь. Другие же, напротив, смущаются, им стыдно показывать такие бросовые вещи, как, скажем, сковородку с прогоревшим дном. Ведь они в этих делах ничего не смыслят. Так ведут себя, в первую очередь, люди простодушные, которые и понятия не имеют, как

широко распространилась в наше время мания коллекционирования. Я не случайно говорю «мания», я ведь вполне сознаю, что моя страсть собирать коллекции – это настоящая мания, я люблю называть вещи своими именами. Впрочем, все это никого не касается, это мое личное дело. А сказать я хотел вот что: смешно и глупо стесняться показывать антикварные вещи. А как выкладывают кольца и оружие, которые раскапывают в курганах? Но разве они из-за своего вида теряют цену? Ведь верно, фрекен? Вы бы только посмотрели на мою коллекцию коровьих колокольчиков! У меня есть, например, колокольчик – из простого железа, заметьте, – которому поклонялось, как божееству, одно индейское племя. Вы только представьте себе, этот колокольчик провисел невесть сколько лет на шесте в вигваме, ему поклонялись и приносили жертвы. Да, подумать только! Однако я что-то уклонился от цели своего визита. Но стоит мне заговорить о моих колокольчиках, и я не могу остановиться.

– У меня, право же, нет ничего старинного, – снова повторила Марта.

– Не позволите ли вы мне, – сказал Нагель медленно, с видом знатока, – не позволите ли вы мне взглянуть вон на то кресло? Это только просьба. Само собой разумеется, я не двинусь с места без вашего разрешения. Кстати, я обратил внимание на это кресло, как только вошел.

Марта, окончательно растерявшись, сказала:

– Это вот... пожалуйста... но у него сломаны ножки...

– Ножки сломаны, верно! Ну и что? Разве это имеет значение? Тем лучше, тем лучше! Могу ли я узнать, откуда оно у вас?

Нагель уже схватился за кресло и не выпускал его из рук, он вертел его и внимательно разглядывал со всех сторон. Позолоты на нем не было, а спинку украшало только нечто вроде короны, вырезанной из красного дерева. Задняя сторона спинки была к тому же вся исцарапана ножом. На деревянной раме сиденья тоже было множество зарубок – следы того, что на ней резали табак.

– Оно к нам попало откуда-то из-за границы, но, право, не знаю откуда. Мой дед когда-то привез несколько таких кресел, но теперь осталось только вот это. Мой дед был моряком.

– Вот как! А ваш отец тоже был моряком?

– Да.

– А не плавали ли вы вместе с ним? Простите, что я вас спрашиваю.

– Да, много лет я плавала вместе с ним.

– В самом деле? Как это, должно быть, было интересно! Вы повидали много разных стран, избороздили, как говорится, моря и океаны! Подумать только! А потом вы снова здесь поселились? Да, на родину всегда тянет – как ни хорошо в гостях, а дома лучше... А ргорос, вы не знаете случаем, где ваш дед купил эти кресла? Должен вам сказать, что мне очень важно знать хоть немножко историю тех вещей, которые я собираю, так сказать, их биографию.

– Нет, я не знаю, где он его купил, это было так давно. Может быть, в Голландии? Нет, право же, не знаю.

Он заметил, к своему удивлению, что она оживляется все больше и больше. Она уже вышла на середину комнаты и стояла почти рядом с ним, пока он колдовал над креслом и, казалось, не мог на него наглядеться. Он говорил, не умолкая, так и сыпал всевозможными замечаниями относительно отделки и пришел просто в восторг, когда обнаружил на задней стороне спинки небольшую, вделанную в дерево пластинку, в которую, в свою очередь, была вделана еще одна пластинка – совсем простая работа, безвкусная, да и выполнена с детской неумелостью. Кресло было очень ветхое, и он обращался с ним крайне осторожно.

– Да, – сказала она в конце концов, – если вы действительно... я хочу сказать: если вам это доставит хоть какое-то удовольствие, то возьмите себе это кресло, я охотно вам его отдам. Я сама отнесу его в гостиницу, если вам угодно. Мне оно не нужно.

И она вдруг рассмеялась над той горячностью, с которой он добивался этого трухлявого кресла.

– Ведь у него только одна ножка цела, – добавила она.

Он взглянул на нее. Волосы у нее были седые, но улыбка оказалась молодой и заразной, и зубы прекрасные. Когда она смеялась, глаза ее сверкали влажным блеском. Что за черные глаза у этой старой девы! Но лицо Нагеля оставалось невозмутимым.

– Я рад, – сказал он сухо, – что вы решились уступить мне это кресло. Теперь давайте поговорим о цене. Нет, простите, но уж наберитесь терпения и разрешите мне сперва назвать вам цену, я всегда сам ее назначаю. Я оцениваю вещь, предлагаю за нее такую-то

сумму, и все! Вы могли бы заломить невесть сколько, постараться выжать из меня побольше, почему бы и нет? На это вы можете, конечно, возразить, что вас трудно заподозрить в жадности. Хорошо, с этим я готов согласиться, но ведь мне приходится иметь дело со всякими людьми, поэтому мне важно всегда самому назначать цену, я-то знаю, что сколько стоит. Для меня это вопрос принципа. Если дать вам волю, то что может вам помешать запросить за кресло, например, триста крон? Вам это тем легче сделать, что речь идет, как вы знаете, действительно об очень дорогом и редком предмете. Но это баснословная цена, такое кресло мне не по карману; я заявляю вам это прямо, чтобы у вас на этот счет не было никаких заблуждений. Я вовсе не намерен разориться, я же не сумасшедший, чтобы отвалить вам за это кресло триста крон. Короче говоря, я дам вам за него две сотни, – и ни шиллинга больше. Я всегда готов дать за вещь ее настоящую цену, но не больше.

Она не сказала ни слова, она только смотрела на него, и глаза у нее расширились от удивления. В конце концов она решила, что он шутит, и снова засмеялась, но негромко и растерянно.

А Нагель тем временем преспокойно вынул из кармана две красные ассигнации и несколько раз помахал ими. При этом он не спускал глаз с кресла.

– Не отрицаю, – сказал он, – что какой-нибудь другой коллекционер дал бы вам, возможно, и больше, я хочу быть честным и поэтому не скрою, что еще немного вы, скорее всего, могли бы выжать. Но я уже сказал вам свою цену – двести крон, для ровного счета, ни шиллинга сверх этого, повторяю, я вам заплатить не смогу. Поступайте, как знаете, дело ваше, но прежде обдумайте все как следует. Ведь двести крон тоже на улице не валяются.

– Нет, – ответила она, и смущенная улыбка осветила ее лицо, – оставьте эти деньги при себе.

– Оставить при себе! Что это значит? Могу ли я узнать, чем вас мои деньги не устраивают? Уж не думаете ли вы, что я их сам печатаю? Или подозреваете меня в том, что я их украл, ха-ха-ха, так, что ли?

Она перестала смеяться. Похоже было, что он говорит всерьез, и она попыталась все это обдумать. Что надобно от нее этому сумасшедшему, чего он добивается? Судя по его глазам, он на все

способен. Одному богу известно, нет ли у него какого-то тайного умысла, не ставит ли он ей ловушки. Почему он явился именно к ней со своими деньгами? Наконец она как будто приняла какое-то решение и сказала:

– Если вы уж так настаиваете, то дайте мне за кресло крону или две, я буду вам премного благодарна. Но больше я не возьму.

На его лице отразилось крайнее изумление, он сделал шаг в ее сторону и поглядел на нее, а потом разразился смехом:

– Но... обдумали ли вы... За всю мою долгую жизнь коллекционера со мной впервые такое случается! Впрочем, я, конечно, понимаю, это шутка...

– Нет, не шутка. Сроду не слыхала ничего подобного! Я не хочу брать с вас больше, чем сказала, я вообще ничего не хочу брать. Возьмите кресло даром, если вам угодно.

Нагель безудержно хохотал.

– Повторяю, я понимаю шутки и ценю их, а ваша приводит меня просто в восторг, да, в восторг, черт меня подери, над хорошей шуткой я готов хохотать до упаду. Но, по-моему, нам пора уже до чего-то договориться, не правда ли? Как по-вашему, не покончить ли нам с этим делом прежде, чем у вас снова испортится настроение? А то, чего доброго, вы поставите кресло обратно в угол и потребуете за него пять сотен.

– Возьмите это кресло... Я... Что у вас на уме?

Они не сводили друг с друга глаз.

– Вы ошибаетесь, если думаете, что мною движет не желание приобрести это кресло за сходную цену, а что-то другое, – сказал он.

– Бог ты мой, так берите же его, берите!

– Я вам безмерно признателен за вашу полную готовность пойти мне навстречу. Но мы, коллекционеры, еще не потеряли окончательно чувства чести, хотя его и не всегда хватает, и вот это-то чувство чести и удерживает меня, восстает, так сказать, во мне и не позволяет купить за бесценок дорогую вещь. Моя коллекция потеряла бы в моих глазах – в глазах ее собственника – всякую ценность, если бы в нее затесался предмет, приобретенный таким нечестным путем, и вся она потеряла бы для меня свою подлинность. Ха-ха-ха, это же просто смешно, все у нас получается как-то наизуоборот, выходит, я вынужден отстаивать ваши интересы, вместо того чтобы защищать свои

собственные? Но что поделаешь, ведь вы меня сами к этому принуждаете.

Но она не сдавалась, нет, ему ничего не удалось добиться. Она твердо стояла на своем: пусть он берет кресло за крону или две, не больше, либо пусть вообще его не трогает. Так как победить ее упрямство оказалось невозможным, он сказал в конце концов, чтобы хоть как-то выйти из положения:

– Хорошо, на сегодня хватит, отложим это до другого раза. Но обещайте мне, что вы не продадите кресло никому другому, не предупредив меня об этом, договорились? Я не упусти его, даже если оно окажется несколько дороже. Во всяком случае, я готов заплатить столько же, сколько любой другой, а ведь все же я пришел первым.

Когда Нагель снова очутился на улице, он пошел быстрым шагом, – так он был возбужден. До чего же упряма эта девушка, и как она бедна и недоверчива! «Видел ли ты ее кровать?» – спросил он самого себя. Там нет даже охапки соломы, не говоря уже о простыне, там постелены только две нижние юбки, которые она, наверно, носит днем, когда холодно. И в то же время она так боится впутаться в какую-нибудь темную историю, что отказывается от выгоднейшего предложения! Но ему-то что за дело до всего этого, черт подери? Да, собственно говоря, ему и нет до этого никакого дела. Но что за существо! Истый дьявол, ведь верно? Если он подошлет к ней кого-нибудь, чтобы взвинтить цену на кресло, то это ей, верно, тоже покажется подозрительным. Просто дура какая-то! Настоящая дура! И надо же было ему туда соваться, чтобы получить такой афронт!

Он был так раздосадован, что сам не заметил, как очутился возле гостиницы. Он остановился в недоумении, потом резко повернул и пошел назад, вниз по улице, к портняжной мастерской И.Хансена; туда он и зашел, отозвал мастера в сторону, и только когда они оказались с глазу на глаз, заказал такой-то и такой-то сюртук и попросил портного держать заказ от всех в тайне. Как только сюртук будет готов, пусть его незамедлительно отошлют Минутке, то есть, Грегорду, ну, этому кособокому разносчику угля, который...

– Как, это сюртук для Минутки?

– Ну и что? Очень уж вы любопытны! Хочется все выведать, да?

– Да нет, просто дело в мерке.

– Вот как! Что ж, хорошо, знайте, сюртук этот заказан для Минутки. Собственно говоря. Минутка может и сам зайти, чтобы вы сняли с него мерку, почему бы и нет? Но ни слова, ни намек – договорились? А когда сюртук будет готов? Через два дня? Прекрасно.

Нагель тут же заплатил деньги, попрощался и вышел. Он потирал руки от удовольствия, досада его улетучилась, он шел и пел. Да, да, несмотря ни на что – несмотря ни на что! Только подождите! Придя в гостиницу, он тут же опрометью взбежал по лестнице, влетел к себе в комнату и позвонил; руки его дрожали от нетерпения, и не успела открыться дверь, как он крикнул:

– Телеграфные бланки, Сара!

Футляр для скрипки был открыт, и Сара, войдя, увидела к своему великому изумлению, что в этом футляре, с которым она всегда обращалась так осторожно, лежало грязное белье да какие-то бумаги и письменные принадлежности, а вовсе не скрипка. Она стояла как вкопанная посреди комнаты и глядела на футляр.

– Телеграфные бланки, – повторил Нагель, еще больше повышая голос, – я, кажется, просил телеграфные бланки.

Когда ему принесли наконец эти бланки, он написал на одном из них своему знакомому в Христианин, что просит его анонимно послать двести крон Марте Гудэ, проживающей здесь, в этом городке. Двести крон, без всякого объяснения. Соблюдать в тайне. Юхан Нагель.

Нет, так не выйдет! Когда он все это обдумал как следует, то понял, что его план никуда не годится. Не лучше ли подробнее объяснить, что к чему, и приложить к письму деньги, чтобы быть уверенным, что его поручение тут же выполнят? Он разорвал телеграмму на мелкие клочки, а потом тут же сжег их, и второпях написал письмо. Да, так лучше, даже самое короткое письмецо убедительней телеграммы, так, пожалуй, сойдет. Ну, он ей покажет, она еще увидит...

Но когда он вложил деньги в конверт и запечатал его, он снова задумался. «У нее опять может возникнуть подозрение, – рассуждал он. – Двести крон – это круглая сумма, да к тому же как раз та самая, которой он только что размахивал перед ее носом. Нет, это тоже не годится!» И он вынул из кармана десятикрановую бумажку,

распечатал конверт и вложил ее, изменив общую сумму на десять крон. Потом он снова запечатал письмо и отправил его.

Час спустя мысли его все еще вертелись вокруг этой выдумки, и он был от нее в восторге. Это чудесное письмо свалится на нее прямо с неба, из заоблачных высот, брошенное чьей-то таинственной рукой. Интересно, что она скажет, когда получит деньги? Но когда он еще раз задал себе этот вопрос и попытался себе представить, как она вообще ко всему отнесется, он снова пал духом: план показался ему чересчур дерзким, одним словом, плутый, никуда не годный план. Она, ясное дело, не скажет ничего разумного, а поведет себя как последняя дура. Когда она получит письмо, она ровным счетом ничего не поймет и обратится к кому-нибудь, чтобы ей помогли разобраться. На почте она положит его на видном месте для всеобщего обозрения, тут же сунет назад деньги почтовому чиновнику, будет от них отказываться и ломаться: «Нет, нет, оставьте эти деньги у себя!» А этот чиновник вдруг ткнет себя пальцем в нос и возвестит: «Подождите-ка, стойте, я, кажется, нашел!» И он пороется в своих книгах и обнаружит, что несколько дней назад отсюда была послана точно такая же сумма, чтобы не сказать, те же самые ассигнации – двести десять крон, – по такому-то и такому-то адресу в Христианин). Отправителем окажется некий Юхан Нагель, приезжий, временно проживающий в гостинице «Централь»... Да, у почтовых чинуш такие длинные носы, что они все разносят.

Нагель снова позвонил и велел посыльному немедленно вернуть письмо.

Весь день он находился в таком нервном напряжении, что в конце концов ему все надоело. В сущности, черт с ней, со всей этой историей! Какое ему дело до того, что господь бог устраивает железнодорожную катастрофу с человеческими жертвами где-то в глубинном районе Америки? Да ровным счетом никакого! И в той же мере ему нет дела до живущей здесь благодетельной девицы Марты Гудэ.

Два дня он не выходил из гостиницы.

В субботу вечером к Нагелю в комнату вошел Минутка. Он весь сиял от счастья – на нем был новый сюртук.

– Я встретил поверенного, – сказал он, – он и виду не подал и даже спросил меня, откуда у меня этот сюртук. Вот как хитро он меня испытывал.

– И что же вы ему ответили?

– Я рассмеялся и ответил, что этого не скажу, никому не скажу, пусть уж он меня простит, и откланялся. Я сумел ему ответить... Знаете, уж лет тридцать у меня не было нового сюртука; я подсчитал... Да, я еще не поблагодарил вас за те деньги, которые вы мне дали в последний раз. Это слишком много для такого калеки, как я, – куда мне их девать? У меня просто голова идет кругом от всех ваших благодеяний; будто во мне все шарниры разболтались, и все внутри ходуном ходит, ха-ха-ха! Но господь бог меня не оставит, я ведь как дитя. Нет, я твердо знал, что в конце концов обязательно получу этот сюртук, разве я вам не говорил? Обещанного, говорят, три года ждут, и я никогда еще не ждал понапрасну. Лейтенант Хансен посулил мне как-то две шерстяные фуфайки, которые ему больше не нужны. С тех пор уже два года прошло, но все равно я их получу, я в этом так уверен, что можно считать, они уже на мне. Так всегда бывает, рано или поздно люди вспоминают свои обещания и дают мне все, в чем я нуждаюсь. Вам не кажется, что теперь, когда я так хорошо одет, я стал другим человеком?

– Вы давно не приходили ко мне.

– Я объясню: я ждал нового сюртука, я твердо решил не приходить к вам больше в старом. Видите ли, у меня есть свои причуды, мне неприятно появляться в обществе в рваном сюртуке, бог его знает почему, но я теряю к себе всякое уважение, это оскорбляет мое чувство собственного достоинства. Уж вы меня простите, что я говорю вам о своем чувстве собственного достоинства, словно это что-то существенное, с чем необходимо считаться. Вовсе нет, уверяю вас, да и куда мне! И все же время от времени оно у меня вдруг появляется.

– Не выпьете ли вина? Нет. Тогда, может, выкурите хоть сигару?

Нагель позвонил и велел принести вина и сигар. Он сразу же стал пить, и пил много, но Минутка только курил, глядел на потолок и говорил, говорил. Казалось, он никогда не умолкнет.

– Послушайте, – сказал вдруг Нагель, – может, у вас плохо обстоит дело с рубашками? Простите, что я об этом спрашиваю.

– Я вовсе не поэтому упомянул о двух фуфайках, провалиться мне на этом месте, – поспешно сказал Минутка.

– Конечно, конечно! Чего вы так горячитесь? Если вы не возражаете, то разрешите мне посмотреть, что у вас под сюртуком.

– Охотно вам покажу, да, да, пожалуйста, смотрите! Вот сзади, сами видите, рубашка выглядит прекрасно, да и спереди не хуже...

– Нет, погодите, по-моему, спереди она много хуже.

– А мне лучше и не надо! – воскликнул Минутка. – Нет, мне не нужна новая рубашка, правда, не нужна. Больше того, я скажу вам, что даже такая рубашка, как эта, и то слишком хороша для меня. Знаете, кто мне ее дал? Доктор Стенерсен, да, сам доктор Стенерсен. И я думаю, тайком от своей жены, хотя она – сама доброта. Я получил эту рубашку к рождеству.

– К рождеству?

– Вы считаете, что это очень давно? Но ведь такую рубашку я не рву, как идиот, я стараюсь не донашивать ее до дыр, на ночь я ее снимаю и сплю голый, чтобы не трепать ее понапрасну. Так она прослужит намного дольше, и я могу свободно появляться в обществе, не стыдясь, что у меня нет приличной рубашки. А теперь еще эти живые картины, в которых я должен участвовать, поэтому как нельзя более кстати, что у меня есть рубашка, в которой я смело могу показаться на людях. Фрекен Дагни по-прежнему настаивает на том, чтобы я тоже выступал. Я повстречал ее вчера у церкви. Она говорила о вас...

– Тогда я подарю вам брюки... Ради удовольствия увидеть ваше публичное выступление стоит раскошелиться. Раз поверенный преподнес вам сюртук, я куплю вам брюки и не буду внакладе. Но только все с тем же условием – никому ни слова об этом.

– Конечно, конечно!

– Позвольте, я налью вам рюмочку. Нет, нет, я не настаиваю, как вам угодно. А вот мне сегодня хочется выпить, я что-то нервничаю, и

мне грустно. Вы мне разрешите задать вам нескромный вопрос? Известно ли вам, что у вас есть прозвище? Вас за глаза все зовут Минуткой, – вы это знаете?

– Да, конечно, знаю. Сперва мне это было очень тяжело, и я просил бога помочь мне; как-то раз я даже целое воскресенье пробродил в лесу, и трижды падал на колени, там, где было посуше, – тогда стояла ранняя весна, и снег только-только стаял, – и молился. Но это было уже давным-давно, с тех пор прошло много лет, и никто теперь не зовет меня иначе, чем Минутка, и меня это уже не трогает. А почему вас интересует, знаю ли я это? Разве я в силах тут что-либо изменить?

– А вы знаете, почему вы получили это дурацкое прозвище?

– Да, и это я знаю. Собственно говоря, это было уже очень давно, еще до того, как я стал калекой, но я все это прекрасно помню. Дело было вечером, вернее, ночью, на холостой пирушке. Быть может, вы обратили внимание на дом, выкрашенный охрой, у самой таможни, справа, если идти вниз, к пристани? В то время этот дом был белым и жил там фогт. Звали его Серенсен, был он холостяком и любил повеселиться. Как-то весенним вечером возвращался я домой с набережной, где я гулял и разглядывал суда: поравнявшись с домом фогта, я услышал, что там гости – до меня донесся шум голосов и смех, а когда я прошел мимо окон, меня увидели и стали мне стучать в стекло. Я вошел в дом и застал там доктора Кольбю, капитана Вильяма Пранте, таможенного чиновника Фолькедаля и еще несколько человек, – теперь никого из них уже здесь нет: кто умер, а кто уехал, – гостей было человек семь или восемь, все пьяные в стельку. Они переломали все стулья просто так, забавы ради, потешая фогта, перебили все рюмки, так что пить пришлось прямо из горлышка. Вскоре я тоже напился как свинья, и тогда началось настоящее светопреставление. Гости разделись и стали прыгать по комнатам, в чем мать родила, хотя шторы на окнах не были спущены, а когда я отказался последовать их примеру, они схватили меня и принялись насильно раздевать. Я отбивался, как мог, и всячески пытался вырваться; я был в безвыходном положении, я просил у них прощения, пожимал им руки и снова просил прощения!..

– Почему вы просили прощения?

– Я думал, что, может, сказал что-нибудь лишнее, обидел их, и они потому так на меня накинулись. Я хватал их за руки и умолял простить меня, надеясь, что они сжалятся. Но все было тщетно, в конце концов они раздели меня догола. К тому же доктор обнаружил у меня в кармане письмо и стал его всем читать вслух. Но тут я немного протрезвел, – ведь письмо это было от моей матери, которая написала мне, когда я отправился в плавание. Короче говоря, я обозвал доктора винной бочкой, потому что все знали, что он много пьет. «Вы винная бочка!» – крикнул я ему. Он расвирепел и кинулся было на меня, но остальные его удержали. «Давайте лучше накачаем его как следует!» – предложил фогт, словно я и так уже не был смертельно пьян. И они стали лить мне в плотку все остатки из разных бутылок. Потом двое из этих господ, – теперь уже не помню, кто именно, – внесли в комнату лохань воды: они поставили ее прямо на пол и предложили меня крестить. Все были в восторге от этой забавы и подняли невообразимый крик. Потом им пришлось в голову запакостить эту воду; чего только они не делали – и плевали, и лили водку, а потом побежали в спальню, принесли оттуда горшок и выплеснули его содержимое в лохань, а потом еще насыпали туда два совка золы из печки, чтобы и на вид вода была бы как можно более отвратительной. И вот все было готово для моих крестин. «Почему вы не хотите крестить кого-нибудь другого?» – взмолился я и упал перед фогтом на колени. «Мы все уже крещеные, – ответил он, – нас крестили точно так же». И я ему поверил, потому что в городе говорили, что всех, с кем он водит компанию, он крестит таким образом. «Подойди сюда для свершения обряда», – приказал мне фогт. Но я не пошел по доброй воле, я не двинулся с места, а наоборот, вцепился в дверную ручку. «Ну-ка, пошевеливайся, живо! Сейчас же иди сюда, сию минутку!» Так он и сказал – не «сию минуту», а «сию минутку», потому что был родом из Гудбрансдале, а там все так говорят. Но я по-прежнему не двинулся с места. Тогда капитан Пранте завопил: "Минутка, Минутка, вот оно, нужное слово! Мы наречем его «Минуткой», так точно, мы его сейчас окрестим и-дадим имя «Минутка». И все нашли, что имя это мне пристало, потому что росточком я не вышел. И двое гостей схватили меня и поволокли к фогту, а так как по сравнению с ним я был фитюлькой, он сгреб меня в охапку и окунул в лохань. Он пригнул меня головой в осевшую там жижу и осколки битых рюмок, а

затем вытащил и прочитал надо мной нечто вроде молитвы. Потом мною занялись крестные отцы – обряд сводился к тому, что каждый по очереди подкидывал меня высоко в воздух, а когда им это надоело, они разделились на две партии и перебрасывали меня из рук в руки, как мяч, – надо, мол, меня подсушить; они играли так, пока им и это не надоело, а когда фогт крикнул: «Стоп», они отпустили меня и стали все по очереди пожимать мне руку и величать Минуткой. Но все же меня еще раз искупали в лохани, меня кинул туда со всего маху доктор Кольбю, я больно ударился, и что-то у меня в боку хрустнуло, – это он в отместку, потому что я назвал его винной бочкой... С той ночи это прозвище ко мне и прилипло. На следующий день весь город уже знал, что я побывал у фогта и что меня крестили.

– Вы говорите, вы ударились боком? А голову вы себе не повредили, саму голову?

Пауза.

– Вы меня уже второй раз спрашиваете, не повредил ли я себе голову, и это, видимо, неспроста. Но я тогда не ударялся головой, и у меня не было сотрясения мозга, если вы этого опасаетесь. Я так сильно ударился о лохань, что сломал себе ребро. Но оно уже давным-давно срослось, доктор Кольбю лечил меня бесплатно, и этот перелом не подорвал моего здоровья.

Пока Минутка рассказывал. Нагель все время пил, потом он позвонил и заказал еще вина, а когда его принесли, снова стал пить. Вдруг он сказал:

– Как вы думаете, – мне почему-то сейчас пришло в голову спросить вас об этом, – как вы думаете, я хорошо разбираюсь в людях? Не глядите на меня такими глазами, я спрашиваю просто так, товарищески. Вам не кажется, что я вижу насквозь человека, с которым говорю?

Минутка смотрел на него в полной растерянности, он не знал, что сказать. Тогда Нагель снова заговорил:

– Впрочем, извините меня; уже в тот раз, когда я имел удовольствие видеть вас у себя, я привел вас в замешательство в высшей степени глупыми вопросами. Вы, верно, помните, что я предлагал вам немалую сумму за то, чтобы вы признали себя отцом чужого ребенка, ха-ха-ха. Но я сделал вам тогда это странное предложение только потому, что не знал вас; а теперь я снова смущаю

вас своими вопросами, хотя уже хорошо вас знаю и высоко ценю. Видите ли, сегодня я веду себя так потому, что я нервничаю, да к тому же я совсем пьян. Вот вам и все объяснение. Вы, конечно, давно заметили, что я напился. Еще бы не заметить! Чего же вы притворяетесь?.. Позвольте, что это я хотел сказать? Ах да, меня и в самом деле очень интересует, в какой мере я, по-вашему, могу проникнуть в человеческую душу. Ха-ха, я хочу сказать, что я, например, очень тонко различаю интонации своего собеседника, у меня на этот счет на редкость чуткое ухо. Когда я с кем-нибудь разговариваю, мне вовсе не надо глядеть на этого человека, чтобы разобраться в том, что он говорит, я тут же слышу, если он хочет навязать мне свое мнение или если он говорит фальшиво. Голос – опасный аппарат. Только поймите меня правильно, я имею в виду не звучание голоса в физическом смысле, дело не в том, что он может быть высоким или низким, звонким или глухим, я говорю не о тембре, нет, меня занимает тайна, которая за ним скрыта, мир, который его порождает. Впрочем, черт с ним, с этим внутренним скрытым миром! В конце концов за всем всегда стоит какой-нибудь скрытый мир. Плевать я хотел на все это!

Нагель снова выпил.

– Вы совсем притихли. Я расхвастался, – вижу, мол, всех насквозь, и вы теперь боитесь пальцем пошевелить, но выбросите, прошу вас, весь этот вздор из головы. Ха-ха-ха, что ж, недурно, ей-богу, недурно! Да, что я хотел сказать? Забыл! Ну ладно, тогда я скажу что-нибудь другое, что-нибудь, что мне совершенно безразлично, я буду говорить до тех пор, пока не вспомню то, что забыл. Боже, что за чушь я порю! Как вы относитесь к фрекен Хьеллан? Мне хотелось бы узнать ваше мнение о ней. А мое мнение вот какое: фрекен Хьеллан такая невероятная кокетка, что была бы счастлива, если бы и другие, и, между прочим, я в том числе – чем больше людей, тем лучше, – наложили бы на себя руки из-за нее. Вот вам мое мнение. Она очаровательна, да, что говорить, просто очаровательна, и, наверно, испытываешь сладостную боль, когда она топчет тебя ногами, одним словом, не поручусь, что не настанет день, когда я попрошу ее оказать мне эту небольшую услугу. Впрочем, пока еще этого опасаться не приходится, спешить мне некуда, время терпит... Бог ты мой, как я,

должно быть, напугал вас сегодня своей болтовней! Я не обидел вас, я имею в виду вас лично?

– Если бы вы только знали, как хорошо фрекен Хьеллан о вас отзывалась! Я встретил ее вчера, она долго со мной разговаривала...

– Скажите мне – простите, что я снова не даю вам говорить, – может, вы тоже обладаете способностью хоть в какой-то мере слышать в голосе фрекен Хьеллан что-то помимо самого звука? Однако теперь вы наверняка уже заметили, что я несу невесть что, ведь верно? Вот видите! Но я был бы рад, если бы вы тоже хоть немного разбирались в людях, тогда я поздравил бы вас и сказал бы: нас двое, мы оба на недостижимой высоте, потому что видим все насквозь, так давайте же объединимся, заключим союз и никогда не будем обращать наши знания друг против друга – друг против друга, понимаете, – иначе говоря, вот я, например, никогда не буду пользоваться своими знаниями против вас, даже если я и вижу вас насквозь. Ну вот, вы снова забеспокоились, и снова у вас перепуганный вид! Моя хвастливая болтовня не должна вас смущать, я ведь пьян... Но сейчас я вдруг случайно вспомнил, что я хотел сказать тогда, когда заговорил о фрекен Хьеллан, до которой мне решительно нет никакого дела. Да и чего это мне вздумалось излагать вам свое мнение о ней, когда вы меня даже об этом не спрашивали! Я вам вконец испортил настроение; вы помните, как вы радовались, когда час назад переступили порог этой комнаты? Все это получилось из-за вина – хлебнул лишнего и несу всякий вздор... Пойдите, пойдите, как бы мне снова не забыть, что я хотел сказать: когда вы рассказывали про холостую пирушку у фогта, ну, помните, про то, как вас крестили, мне пришла, как это ни странно, в голову мысль тоже устроить у себя такую пирушку, устроить ее, чего бы мне это ни стоило, и пригласить несколько гостей; и можете быть уверены, что никто не заставит меня отказаться от этой затеи, пирушка состоится обязательно, и вы тоже должны прийти, я твердо на вас рассчитываю. И можете быть спокойны, крестить вас больше не будут, я позабочусь о том, чтобы с вами обращались с величайшей предупредительностью и уважением, и вообще, стульев и столов мы ломать тоже не будем, но мне очень бы хотелось собрать у себя вечером нескольких друзей, и чем скорее, тем лучше, ну, допустим, к концу этой недели. Что вы на это скажете?

Нагель снова выпил, выпил два полных стакана подряд. Минутка ничего не отвечал. Его первая детская радость уже прошла, это было ясно, и болтовню Нагеля он явно слушал только из вежливости. Выпить что-либо он наотрез отказывался.

– Вы стали вдруг так удивительно молчаливы, – сказал Нагель, – это просто смешно, но сейчас у вас такой вид, будто вы чем-то задеты, словом каким-нибудь или намеком? Да, как ни странно, вы именно чем-то задеты! Я заметил, что вы как будто только что вздрогнули? Нет? Ну, тогда я ошибся. Вы когда-нибудь пытались представить себе, что должен испытывать фальшивомонетчик, когда в один прекрасный день сыщик кладет ему руку на плечо и, ни слова не говоря, глядит в глаза? Но что мне с вами делать? Вы становитесь все печальней и печальней и все больше замыкаетесь. У меня сегодня совсем сдали нервы, и я вас вконец замучил, знаю, но я должен говорить, на меня это всегда находит, когда я пьян. И вам нельзя уйти, не то мне придется еще битый час проболтать с Сарой, здешней горничной, а это неприлично, не говоря уже о том, что и просто скучно. Не разрешите ли вы мне рассказать одну маленькую историю? Мой рассказ лишен какого-либо значения, но, может, он вас немного позабавит и вместе с тем покажет вам, как хорошо я разбираюсь в людях. Ха-ха-ха, вы сейчас убедитесь, что если кто-нибудь решительно ничего не смыслит в людях, так это я, – быть может, это открытие вас немного взбодрит. Короче говоря, как-то раз я приехал в Лондон – это было, наверно, года три назад, не больше, – и познакомился там с очаровательной девушкой, дочерью человека, с которым у меня были кое-какие дела. Мы приглянулись друг другу, три недели подряд мы виделись ежедневно и стали добрыми друзьями. Как-то раз после обеда она решила показать мне Лондон, и мы долго бродили по городу, посетили несколько музеев и картинных галерей, осмотрели ряд памятников и обошли парки; наконец настал вечер, а мы все еще не возвращались домой. Тем временем природа брала свое, у меня возникли естественные потребности, и я оказался в ужасном положении, в котором, впрочем, нельзя было не оказаться во время прогулки, затянувшейся на полдня. Что мне было делать? Незаметно отойти я не мог, попросить на это разрешение не хотел. Короче говоря, в какой-то момент я перестал сдерживаться, я проделал все прямо на ходу и оказался, естественно, в совершенно

мокрых штанах. Но скажите, черт возьми, что мне было делать? К счастью, на мне было пальто чуть ли не до пят, и поэтому я надеялся, что мне удастся скрыть свой позор. И надо же было случиться, чтобы мы вышли на ярко освещенную улицу, где к тому же находилась кондитерская, и тут, о ужас, моя дама останавливается и предлагает зайти перекусить. Ее желание было вполне понятным, ведь мы проходили целых полдня, проголодались и устали, но мне, конечно, пришлось отказаться. Она посмотрела на меня с укором, явно считая, что это нехорошо с моей стороны, и попросила объяснить, почему я отказываюсь идти. «Хорошо, – сказал я, – вы хотите знать причину? Пожалуйста, вот она: у меня нет при себе денег, ни единого пенни, просто ни единого!» Причина уважительная, на это ничего не скажешь, а у нее тоже денег не нашлось, ну, как назло, тоже ни пенни! Мы стоим, смотрим друг на друга и смеемся над нашим безвыходным положением. Но она все же находит выход, она подымает глаза на дом напротив и говорит: «Подождите меня здесь минуту, у меня в этом доме на втором этаже живет подруга, она одолжит мне деньги!» На этом моя дама убегает. Она отсутствует довольно долго, и все это время я отчаянно терзаюсь. Господи, как мне выйти из положения, если она вернется с деньгами? Я не мог переступить порога кондитерской, где было так светло и полным-полно народу, меня бы просто тут же вышвырнули вон, а это мне никак не улыбалось. Я решил, стиснув зубы, набраться мужества и попросить ее сделать мне личное одолжение и пойти в кондитерскую одной, а мне разрешить подождать ее на улице. Прошло еще несколько минут, и наконец она появилась. Вид у нее был радостный, даже больше – просто счастливый, она сказала, что не застала подругу дома, но что это не имеет никакого значения, что, собственно, она прекрасно может подождать еще немного, ведь не позже чем через четверть часа она вернется домой и поужинает. И она извинилась, что заставила меня ждать. Но я радовался еще больше ее, хотя был весь мокрый и прогулка превратилась для меня в мучение. А теперь будет самое интересное, – может, вы уже догадались, в чем дело? Да, конечно, догадались, я уверен, но все же я хочу вам рассказать все до конца: только в этом году я понял, насколько я был тогда глуп. Я заново продумал всю эту историю, нашел глубокий смысл в каждой подробности и постепенно сообразил, что моя дама вовсе не

подымалась по лестнице, она и не думала подыматься на какой-то там второй этаж, теперь мне ясно, что, очутившись в парадном, она приоткрыла дверь черного хода и выскользнула во двор, а потом, и это мне ясно, вернулась со двора тем же путем, через ту же дверь, тихо и незаметно. Что же это доказывает? Собственно говоря, ничего, но согласитесь, это все-таки странно, что она не поднялась на второй этаж, а наоборот, вышла во двор, не правда ли? Ха-ха-ха, вы, конечно, прекрасно понимаете, в чем здесь дело, я это вижу по вас, а мне это пришло в голову только теперь, в тысяча восемьсот девяносто первом году, то есть спустя три года! Вы все же меня не заподозрите, надеюсь, в том, что я подстроил это нарочно, что я сознательно затянул нашу прогулку, чтобы поставить мою спутницу в такое ужасное положение, что в музее я никак не мог вдоволь насмотреться на какую-нибудь окаменелость или чучело гиены, и при этом преднамеренно ни на шаг не отходил от девушки и не спускал с нее глаз, чтобы она не могла незаметно уединиться? Само собой разумеется, вы не заподозрите меня в этом? Впрочем, кто-то может оказаться настолько коварным, вполне допускаю, что согласился бы сам страдать и даже ходить в мокрых брюках ради редкого удовольствия поставить молодую прелестную девушку в такое же мучительное положение. Но я разобрался во всем этом, как я уже говорил, только в этом году, только через три года после того, как это произошло. Ха-ха-ха, что вы на это скажете?

Пауза. Нагель выпил и снова заговорил...

– Вы можете спросить, какое отношение имеет эта история к вам, ко мне и к холостой пирушке? Конечно, дорогой друг, ровным счетом никакого... Но мне все же пришло в голову рассказать вам эту историю в доказательство моего идиотизма в понимании человеческой души. Ах, человеческая душа! Что вы о ней скажете, если узнаете, например, что как-то утром несколько дней тому назад я ловлю себя, – да, себя, Юхана Нильсена Нагеля, – на том, что хожу взад и вперед перед домом консула Андерсена, вон там, на холме, и прикидываю в уме, какой высоты у него могут быть потолки в гостиной! Ну, каково? Вот что это такое, человеческая душа, если мне будет позволено так выразиться. Ни один пустяк не ускользает от нее, все имеет для нее свое значение... Какое на вас произведет, например, впечатление, если вы, возвращаясь ночью домой из гостей или с

прогулки, идете своей обычной дорогой и вдруг видите на углу человека, который стоит и смотрит на вас, да, он даже поворачивает голову, чтобы посмотреть вам вслед, он смотрит на вас в упор и молчит. А теперь представьте себе еще, что он одет во все черное, и поэтому вы видите только его лицо и глаза. Тогда что? Ах, чего только не творится в человеческой душе! Как-то вечером вы попадаете в общество, там собралось, допустим, двенадцать человек, а тринадцатый – это может быть телеграфистка, какой-нибудь жалкий ассессор, конторщик или там капитан, короче говоря, самая обычная, совершенно незначительная личность, – так вот, этот тринадцатый сидит себе в уголке, не принимает участия в разговоре и вообще никак не привлекает к себе внимания, но все же этот человек имеет большое значение, и не только сам по себе, но и как фактор, влияющий на собравшееся общество. Все в нем – и его одежда, и его молчание, и его глупые невыразительные глаза, вяло скользящие по остальным гостям, вся его ничтожная личность – самым прямым образом воздействует на присутствующих. Он молчит, и это отрицательно сказывается на всех, вносит ноту уныния, мешает другим гостям быть оживленней и говорить громче, чем они говорят. Разве я не прав? Этот тринадцатый может таким путем стать в тот вечер самым значительным человеком. Как я уже вам говорил, я в людях не разбираюсь, но мне все же часто занятно наблюдать, какое невероятное значение имеют мелочи. Я был раз свидетелем, как какой-то бедный инженер, который за весь вечер и рта не раскрыл... Но это совсем другая история, и она не имеет никакого отношения к первой, не считая того, что они обе вспомнились мне вместе и оставили след в моей памяти. Но возвращаюсь к тому, с чего начал: кто знает, не наложило ли ваше молчание нынче вечером своего особого отпечатка на то, что я говорю, – конечно, помимо того, что я пьян как сапожник, не подстрекало ли меня выражение вашего лица, та смесь страха и невинности, которую я видел в ваших глазах, – не подстрекало ли это меня идти все дальше и дальше? Да оно и вполне понятно! Вы слушаете, что я говорю, – я, совершенно пьяный человек, – и что-то в моей болтовне задевает вас – я нарочно возвращаюсь к уже употребленному слову «задевает» – и тогда меня так и тянет продолжать и кинуть вам в лицо еще два десятка слов. Я привожу это только как пример того, какое значение имеют мелочи.

Не пренебрегайте мелочами, дорогой друг! Помните, бога ради, как невероятно важны мелочи... Войдите!

Это была Сара; она постучала, чтобы сказать, что ужин подан. Минутка тут же вскочил. Нагель был уже так сильно пьян, что не заметить этого было невозможно, язык у него заплетался, он сам себе противоречил на каждом слове и нес все большую и большую чушь. Напряженный взгляд его глаз и пульсирующие на висках жилы свидетельствовали о том, что он не в силах совладать с тем множеством мыслей, которые ворочаются у него в голове.

– Да, – сказал он, – меня несколько не удивляет, что вы готовы воспользоваться первым удобным случаем, чтобы уйти поскорее после всей той болтовни, которую вам пришлось сегодня выслушать. А мне очень хотелось бы узнать ваше мнение о многих вещах – вы ведь даже не ответили на мой вопрос о фрекен Хьеллан, не сказали, что вы думаете о ней в глубине души. Для меня она редчайшее, недостижимое существо, исполненное прелести и чистоты, представьте себе белый, белый, глубокий, пушистый снег, – она вот такая же чистая, как этот снег, да, такой она представляется мне, когда я думаю о ней. Если у вас создалось другое впечатление из того, что я прежде говорил, то вы ошиблись... Разрешите мне выпить этот последний стакан, пока вы не ушли, будьте здоровы!.. Мне сейчас пришла в голову одна мысль. Если у вас хватит терпения уделить мне еще две-три минуты, то я был бы вам крайне обязан. Дело вот в чем, – но подойдите-ка поближе, стены здесь тонкие, – да, так дело, значит, вот в чем: я безнадежно влюблен в фрекен Хьеллан. Ну, вот я это и выговорил! Несколько сухих жалких слов, но бог свидетель, как безумно я ее люблю, как из-за нее страдаю. Впрочем, это особый разговор, я люблю, я страдаю, все это верно, но к делу не относится. Так вот! Но надеюсь, вы не воспользуетесь моей откровенностью мне во вред, но отнесетесь к ней с тем уважением, которое она заслуживает, и сохраните в тайне то, что узнали; вы мне это обещаете? Благодарю вас, дорогой друг! Но как я могу быть в нее влюблен, спросите вы, когда совсем недавно я называл ее ужасной кокеткой? Прежде всего, можно сколько угодно быть влюбленным в кокетку, – кокетство не препятствие для чувства. Впрочем, нет нужды на этом останавливаться, потому что суть заключается совсем в ином. Так что же вы утверждали, разбираетесь вы в людях или нет? Если разбираетесь, то вы поймете, что я сейчас

скажу: я вовсе не думаю, не могу думать, что фрекен Хьеллан в самом деле кокетка. Я говорю это просто так, не всерьез. Напротив, она исключительно естественно себя ведет – чего стоит, например, ее смех, она смеется так непринужденно и охотно, несмотря на то что зубы ее не отличаются белизной. И тем не менее я способен, нисколько не смущаясь, повсюду говорить, что фрекен Хьеллан – кокетка. И делаю я это вовсе не для того, чтобы ей повредить или отомстить, а только чтобы поддержать себя, из самолюбия, потому что она для меня недосягаема, потому что она смеется над всеми моими усилиями ей понравиться, потому что она помолвлена, уже связана словом с другим, а для меня потеряна, потеряна навсегда. Вот, полюбуйтесь, это, с вашего разрешения, совсем новая трудноуловимая сторона человеческой души. Я способен подойти к фрекен Хьеллан на улице и в присутствии других людей сказать ей с вполне серьезным видом – только для того, чтобы унижить ее, доставить ей неприятность, – так вот, я мог бы поглядеть на нее и сказать: «О, добрый день, фрекен Хьеллан! Поздравляю вас, на вас чистая рубашка!» Слыхали ли вы что-либо подобное? Просто бред какой-то! Но я вполне мог бы это сказать. Что бы я потом стал делать – вопрос другой: побежал бы я домой, чтобы рыдать, уткнувшись лицом в носовой платок, или выпил бы несколько капель из пузырька, который всегда ношу вот здесь, в кармане жилета, – об этом говорить не будем. С тем же успехом мог бы я войти в церковь в воскресенье утром, когда ее отец, пастор Хьеллан, проповедует там слово божье, спокойно пробраться к первым рядам, остановиться перед фрекен Хьеллан и сказать ей громко: «Вы разрешите мне вас ущипнуть!» Ну, каково? И сказал бы я это, не имея решительно ничего в виду, просто, чтобы заставить ее покраснеть, но все же я сказал бы ей: «Разрешите вас ущипнуть», а потом бросился бы перед ней на колени и молил бы ее осчастливить меня, плюнув мне в лицо... Ну вот, опять вы перепугались; да я и сам готов согласиться, что веду недостойные речи, тем более что говорю о дочери пастора с сыном пастора. Простите меня, мой друг, все это не по злобе, вовсе не по злобе, а оттого, что я в дымину пьян... Послушайте: я знал одного молодого человека, который стащил как-то газовый фонарь, продал его старьевщику, а деньги прокутил. Ей-богу, это чистейшая правда; я был с ним хорошо знаком, это родственник покойного пастора Нэрема. Но

какое это имеет отношение к фрекен Хьеллан? Да, вы совершенно правы! Вы молчите, но я прекрасно вижу, что этот вопрос вертится у вас на языке, вам хочется его задать, и это совершенно справедливо. Что до фрекен Хьеллан, то она для меня безнадежно потеряна, и жалеть ее из-за этого нечего, жалости заслуживаю я. Вы вот стоите сейчас предо мной совершенно трезвый, вы видите людей насквозь и поэтому поймете меня, если в один прекрасный день я просто-напросто пущу по городу слух, что фрекен Хьеллан сидела у меня на коленях, что три ночи подряд она приходила ко мне на свидание в условленное место в лесу, а потом принимала от меня подарки. Не правда ли, вы меня поймете? Ведь вы чертовски хорошо разбираетесь в людях, друг мой, да, да, прекрасно разбираетесь, пожалуйста, не отпирайтесь... Случалось ли вам когда-нибудь идти по улице, настолько погрузившись в свои мысли, мысли вполне невинные, впрочем, что вы не замечаете обращенных на вас взглядов, а между тем все прохожие пялят на вас глаза, оглядывая с головы до ног. Трудно попасть в более неприятное положение. Вы начинаете оправлять и отряхивать на себе костюм, украдкой, словно вор, глядите вниз, в порядке ли ваши брюки, вы настолько полны всяких ужасных опасений, что, не выдержав, снимаете шляпу – не торчит ли на ней этикетка с ценой, хотя шляпа на вас старая. Но все ваши старания ни к чему не приводят, вы не находите в своем туалете никакой погрешности, и вы вынуждены примириться с тем, что каждый портняжка или там лейтенант разглядывает вас, сколько его душе угодно... Но, дорогой друг, коли это такая мука, то что бы вы сказали, если бы вас вызвали на допрос?.. Вы снова вздрогнули? Нет, я ошибся? Подумать только, а я как будто явственно видел, что вы слегка вздрогнули... Да, так вас, значит, вызывают на дознание, вы стоите перед хитрым, как черт, следователем, вас публично подвергают перекрестному допросу, чуть ли не двенадцать раз окольными путями все возвращаются к одному и тому же – что за изысканное наслаждение сидеть при этом в качестве стороннего наблюдателя, сидеть и слушать!.. Вы со мной согласны, не правда ли?.. Попробуем-ка потрясти как следует эту бутылку, – может, выжмем из нее еще несколько капель.

Нагель вылил себе остатки вина, выпил залпом и продолжал:

– Кстати, я должен извиниться перед вами за то, что все время перехожу с одного предмета на другой. Мои мысли так скачут отчасти потому, что я мертвецки пьян, но не только поэтому, – это вообще мой недостаток. Все дело в том, что я простой агроном, ученик навозной академии, мыслитель который не научился мыслить. Ладно, давайте не будем углубляться в столь специальную тему, вам это неинтересно, а мне просто противно. Знаете, когда я сижу здесь один и думаю о всякой всячине и проверяю себя, дело часто доходит до того, что я вслух называю себя Рошфором, да, тыкаю себя в грудь и называю Рошфором. Что вы скажете, если узнаете, что однажды я заказал себе печать с изображением ежа?.. Тут я не могу не вспомнить одного человека, которого я знал в свое время как вполне толкового и всеми уважаемого студента филологического факультета одного из немецких университетов. И представьте себе, он плохо кончил: за два года он спился и стал писать романы. Если он с кем-нибудь знакомился и его спрашивали, кто он такой, то он неизменно отвечал, что он – факт. «Я факт», – говорил он и высокомерно поджимал губы. Впрочем, вас это не может интересовать... Вы вот говорили об одном человеке, о мыслителе, который не научился думать. Или, может, это я сам говорил? Извините, я ведь просто мертвецки пьян, но это не важно, не обращайтесь внимания. Прежде всего мне хотелось бы, чтобы вы разрешили объяснить вам насчет мыслителя, который не умеет думать. Насколько я вас понял, вы не одобряете этого человека. Да, да, у меня четко сложилось это впечатление, вы говорили о нем в таком насмешливом тоне, но этот человек все же достоин того, чтобы его оценивали по совокупности всех обстоятельств. Прежде всего он большой дурак. Да, да, не стану отрицать, что он был дураком, носил всегда длинный красный галстук и все улыбался от глупости. Да, он был настолько глуп, что сидел, уткнувшись в книги, вернее, так его всегда заставляли, когда к нему приходили, хотя он и не думал читать. Он ходил без носков, в ботинках на босу ногу, чтобы иметь возможность купить розу в петлицу. Вот он был какой. Однако все бледнеет перед тем, что он хранил у себя несколько фотографий скромных и милых дочек ремесленников, но он написал на этих фотографиях всем известные, громкие имена для того, чтобы люди подумали, что у него такие знатные знакомые. На одной из карточек он четко вывел крупными буквами: «Фрекен Станг», чтобы все

решили, что эта девица в родстве с министром, хотя она была всего-навсего какой-нибудь там Ли или Хауч. Ха-ха-ха, как вам нравится такое бахвальство? Этот дурак воображал, что все интересуются его персоной, сплетничают о нем. «Обо мне ходит столько сплетен», – говорил он. Ха-ха-ха, вы в самом деле верите, что людям охота была о нем сплетничать? В один прекрасный день он зашел в ювелирную лавку, куря одновременно две сигары! Одну он держал в руке, другая была во рту, и от обеих шел дым. Вполне возможно, что он и не заметил, что закурил одновременно две сигары, и, как мыслитель, не научившийся мыслить, он и не...

– Мне пора, – тихо сказал наконец Минутка.

Нагель тут же вскочил.

– Вы уходите? – спросил он. – Вы действительно собираетесь меня покинуть? Да, эта история, наверно, и в самом деле слишком длинная, особенно если судить об этом человеке по совокупности его поступков. Что ж, давайте отложим это до другого раза. Так, значит, вы непременно хотите теперь уйти? Послушайте: я вам бесконечно благодарен за сегодняшний вечер. Слышите? Ну и напился же я! Интересно, на что я сейчас похож? Возьмите свой мизинец, суньте его под лупу и поглядите! Что? О, у вас все на лице написано, я вас прекрасно понимаю, вы дьявольски умны, господин Грегорд, и для меня просто праздник глядеть вам в глаза – уж больно они у вас невинные. Закурите-ка еще сигару перед уходом. Когда вы снова меня навестите? Да, я чуть было не позабыл, черт возьми, вы ведь должны прийти на мою холостую пирушку, слышите! Не бойтесь, волос не упадет с вашей головы... Нет, я хочу вам объяснить: у меня будет только несколько человек, соберемся, чтобы уютно провести вечер вместе, выкурить сигару, выпить стакан вина, поболтать и девять раз прокричать девятикратное «ура» в честь отечества, – надо же доставить удовольствие доктору Стенерсену, не правда ли? Вот так оно и будет. А брюки, о которых мы говорили, вы получите, черт меня побери! Но, конечно, с обычным условием. Благодарю вас за терпение, которое вы проявили нынче ко мне. Позвольте мне пожать вашу руку. Да закурите же сигару, старина!.. Послушайте, еще одно только слово: нет ли у вас ко мне какой-нибудь просьбы? Если есть, то пожалуйста. Ну, как угодно. Спокойной ночи, спокойной ночи.

Наступило 29 июля. Это был понедельник.

В этот день произошло несколько удивительных событий: прежде всего, в городе появилась незнакомка, дама под вуалью, она направилась прямо в гостиницу, провела там два часа и снова исчезла...

С раннего утра, как только Юхан Нагель проснулся, он начал весело напевать и насвистывать. Одеваясь, он продолжал насвистывать веселые мелодии, словно что-то его несказанно радовало. Накануне – это было на следующий день после той пьянки, которую он устроил в субботу вечером, когда у него был в гостях Минутка, – Нагель был тихий и молчаливый, он проходил весь день взад-вперед по комнате и без конца пил воду. Но когда он вышел из гостиницы в понедельник утром, он все еще что-то мурлыкал себе под нос, и видно было, что он прекрасно настроен; от этого радостного переполнения он заговорил с какой-то женщиной, стоящей у лестницы, и дал ей несколько шиллингов.

– Вы не скажете, где бы я мог здесь достать напрокат скрипку? – спросил он. – Вы не знаете кого-нибудь в городе, кто играл бы на скрипке?

– Нет, не знаю, – ответила она, растерянно взглянув на него.

И хотя она не знала, он все же дал ей на радостях несколько шиллингов и торопливо пошел дальше: он издали увидел красный зонтик Дагни Хьеллан – девушка как раз выходила из какой-то лавки – и поспешил вслед за ней. Дагни была одна. Нагель низко поклонился и поздоровался. Она, как обычно, тут же покраснела до корней волос и, чтобы скрыть смущение, заслонила лицо зонтиком.

Сперва они заговорили о той ночной прогулке по лесу. Дагни все же была тогда несколько неосмотрительна, так долго гуляя, потому что она немного простыла, хотя и было совсем тепло, да и сейчас она еще не совсем здорова. Она рассказала все это простодушно и доверчиво, словно говорила со старым добрым другом.

– Но вы не должны сожалеть о той прогулке. Обещайте мне, – сказал Нагель, не вдаваясь в объяснения.

– Да нет, нимало, – ответила она с удивлением. – С чего вы взяли, что я сожалею об этом! Напротив, это была прекрасная ночь, хоть видит бог, как я боялась этого вашего человека с фонарем. Он мне даже снился. Страшный сон!

Они поговорили немного о человеке с фонарем. Нагель был разговорчив и, между прочим, признался в том, что и сам иногда подвержен приступам необоснованного страха. Частенько бывает, что он не может подняться по лестнице, не оглядываясь назад на каждом шагу, потому что ему чудится, что кто-то крадется за ним по пятам. Что же это такое? Скажите. Что это такое? Какая-то мистика, нечто необъяснимое, во что наша жалкая «всеведущая» наука бессильна проникнуть, потому что она слишком элементарна и груба. Толчок таинственных сил, воздействие непознаваемых жизненных импульсов?

– Знаете, у меня сейчас возникло неодолимое желание свернуть с этой улицы, потому что эти вот дома, эта груда камней, вон там слева, и эти три грушевых дерева в саду окружного судьи производят на меня отталкивающее впечатление, действуют как-то угнетающе. Когда я брожу один, я всегда избегаю этой улицы, обхожу ее стороной, даже если ради этого нужно сделать крюк. Что же это такое?

Дагни рассмеялась.

– Не знаю. Но доктор Стенерсен назвал бы это повышенной нервозностью и суеверием.

– Совершенно верно. Именно так бы он это и назвал. Но, боже, что это за высокомерная глупость! Представьте себе, вы приезжаете как-то вечером в какой-нибудь чужой город, допустим, в этот, почему бы и нет? На следующий день совершаете первую прогулку по городу, чтобы оглядеться. И вот во время этой прогулки у вас возникает безотчетная, но острая неприязнь к некоторым улицам и домам, в то время как другие вызывают у вас чувство благорасположения и даже радости. Что это, повышенная нервозность? Но допустим, что нервы у вас как канаты и что вы и понятия не имеете о том, что такое неврастения. Далее. Вы шагаете по улице, встречаете сотни людей и совершенно равнодушно идете дальше, и вдруг как раз в тот момент, когда вы спускаетесь на набережную и проходите мимо одноэтажной развалюшки без занавесок на окне, уставленном горшками с белыми

цветами, вам навстречу попадаетея человек, который почему-то привлекает к себе ваше внимание. Вы глядите на него, а он глядит на вас. В нем нет ничего примечательного, кроме разве того, что он бедно одет и ходит слегка ссутулившись. И хотя вы впервые в жизни видите его, вам в голову приходит вдруг странная мысль, что его, должно быть, зовут Юханнес. Именно Юханнес, и никак иначе. Почему же вы решили, что его имя Юханнес? Этого вы себе объяснить не можете, но это вам ясно по его глазам, по движениям рук, по звуку его шагов, дело тут вовсе не в том, что когда-нибудь прежде вы встречали похожего на него человека, которого звали Юханнес. Нет, дело здесь совсем в другом, тем более что вы никогда не встречали никого, кто хоть немного напоминал бы вам этого человека. И вот вы стоите в недоумении и не можете отдать себе отчет в том странном мистическом чувстве, которое вас охватило.

– Вы встретили такого человека в нашем городе?

– Нет, нет, – ответил он поспешно, – я назвал этот город, рассказал об одноэтажном домишке и об этом человеке только так, для примера. Но все же это странно, не правда ли? Случаются и другие странные вещи. Представьте себе, вы приезжаете в чужой город и входите в чужой дом, в котором вы раньше никогда не бывали, скажем, в гостиницу. И вдруг вам становится совершенно очевидно, что прежде, быть может, много лет назад, в этом доме была аптека. Почему вы это решили? Ничто, казалось бы, об этом не свидетельствует, никто вам на это не намекал, лекарствами там не пахнет, нет, решительно не пахнет, на стенах нет никаких следов от полок, на полу нигде не протоптана дорожка к прилавку. И все же у вас нет ни тени сомнения в том, что когда-то в этом доме была аптека. И представьте себе, вы не ошиблись, на вас вдруг снизошло какое-то таинственное знание, сродни откровению, и благодаря ему вы постигли то, что скрыто от других. Но, может, с вами такого никогда не случалось?

– Прежде я как-то не задумывалась о таких вещах. Но сейчас, когда вы об этом говорите, мне кажется, что и со мной бывало нечто подобное. Во всяком случае, меня часто охватывает безотчетный страх, особенно в темноте. Но это, может, и не то.

– Бог его знает, то ли это самое или нет. Чего только не случается на нашей грешной земле, столько странного, удивительного и

прекрасного! Но порой нас томит совершенно необъяснимое предчувствие, нас терзает безотчетный страх, мы содрогаемся от ужаса. Представьте себе, что на дворе темная ночь и вы слышите, как кто-то тихо крадется вдоль стены вашего дома. Вы не спите, а сидите за столом, курите трубку, все ваши чувства обострены. В голове вашей бурлят всевозможные планы, вы их обдумываете во всех подробностях – только этим заняты ваши мысли. И вдруг вы совершенно отчетливо слышите, что кто-то крадется по тротуару вдоль стены вашего дома, а может, и вовсе не по тротуару, а в самой комнате, вон там, у печки, и вы даже видите чью-то тень в том углу. Тогда вы снимаете абажур с настольной лампы, чтобы было больше света, и идете к печке. Вы останавливаетесь перед тенью и видите незнакомого человека среднего роста с шерстяным, в черно-белую полоску, шарфом на шее и синими, совершенно синими губами. Он похож на трефового валета, как его изображают на норвежских игральных картах. Теперь предположим, что любопытство берет в вас верх над страхом, вы подходите вплотную к непрошенному гостю, надеясь, что он исчезнет от вашего взгляда, но он и не думает сдвинуться с места, хотя вы стоите уже так близко, что замечаете, как он моргает, и тогда вы понимаете, что он такой же живой человек, как и вы. Вы решаете не терять спокойствия, не нарушать уютной атмосферы дома и спрашиваете его вполне добродушно, хотя никогда прежде его не видели: «Скажите, вас, случаем, зовут не Хоман, Бернт Хоман?» А так как он не отвечает, вы решаете звать его Хоманом и снова обращаетесь к нему: «А почему бы вам, черт возьми, не быть Бернтом Хоманом?» Вы глядите на него и хихикаете, но он по-прежнему стоит, не шелохнувшись, и вы не знаете, что вам дальше делать. Вы почему-то отступаете на шаг, целитесь в него мундштуком трубки и произносите «бах», но он даже не ухмыляется. Тогда вы начинаете злиться и даете незнакомцу тумака, и хотя он стоит здесь, рядом с вами, у него такой вид, будто этот удар не имеет к нему никакого отношения; он не падает, он стоит, упрямо засунув руки в карманы, выпрямив плечи, в такой позе, словно хочет сказать: «Ну, а что дальше?» Ваш удар его явно не задел. «Что дальше?» – вопите вы в бешенстве и с размаху бьете его под ложечку. Тогда происходит следующее: от этого удара пришелец начинает дематериализовываться, вы видите собственными глазами, как контуры его фигуры становятся менее и менее четкими,

как он постепенно растворяется в воздухе и, наконец, виден лишь один живот, который потом тоже исчезает. Но все время, пока ваш ночной гость стоял у стены, он держал руки в карманах и пялил на вас глаза с вызывающим видом, словно хотел сказать: «Ну, а что дальше?..»

Дагни снова рассмеялась.

– Какие невероятные истории случаются с вами. А потом? Чем все это кончилось?

– Когда вы снова садитесь за стол и возвращаетесь к своим мыслям, вы замечаете, что в кровь разбили руку об стену... Собственно, я хочу сказать вот что: на другой день вы рассказываете об этом происшествии своим знакомым, и они начинают вас уверять, что все это вам приснилось. Ха-ха-ха! Вам твердят, что вы спали, хотя сам господь бог и все его ангелы свидетели того, что вы и глаз не сомкнули в ту ночь. Только примитивная школьная премудрость может назвать это сном – ведь вы стояли у печки в здравом уме и твердой памяти, курили трубку и пытались вступить в разговор с таинственным посетителем. Тогда приводят врача, превосходного специалиста, типичного представителя этой чванливой науки. «Нервы, – говорит он, высокомерно поджав губы, – только нервы». Боже, что за карикатура на человека! Ну ладно. Значит, нервы. В представлении врачей это нечто такое, что можно измерить, взвесить и положить на ладонь: полюбуйтесь, вот они, эти шалящие нервы! И врач на ходу прописывает вам железо и хину и считает, что теперь все в порядке. Вот как это бывает. Но подумайте сами, что за идиотизм, что за темное невежество лезть со своими измерениями и хиной в сферу, где бессильны разобраться самые тонкие и могучие умы.

– У вас сейчас оторвется пуговица, – сказала Дагни.

– Оторвется пуговица?

Она с улыбкой указала на пуговицу сюртука, которая болталась на одной нитке.

– Оторвите, пожалуйста, а то вы ее потеряете.

Нагель послушно вынул из кармана ножичек и перерезал нитку. Когда он его вытаскивал, у него из кармана выпали несколько медных монет и медаль на замызганной ленточке. Он поспешно нагнулся и поднял с земли все, что уронил. Дагни с интересом следила за ним.

– Это что, медаль? – спросила она. – Но как вы с ней обращаетесь, в каком виде ленточка! За что вы ее получили?

– Это медаль за спасенье на водах. Но, пожалуйста, не думайте, что я чем-нибудь ее заслужил, – так, сплошное надувательство.

Она взглянула на него. Лицо его было спокойно, глаза глядели открыто, правдиво, словно он и не думал лгать. Медаль все еще была у него в руке.

– Ну вот вы опять начинаете, – сказала она. – Если вы не заслужили этой медали, то зачем же вы ее храните и носите при себе?

– Я ее купил! – воскликнул Нагель и расхохотался. – Она – моя собственность, она принадлежит мне, как перочинный ножик или эта вот пуговица. Зачем же мне ее выбрасывать?

– Но как вам вздумалось купить себе медаль?

– Конечно, это обман. Не спорю. Но чего только не приходится иногда делать! Как-то я целый день носил ее на груди, красовался и даже с удовольствием выпил, когда провозглашали тост в мою честь, ха-ха-ха! В конце концов один обман стоит другого.

– А имя здесь стерто, – сказала Дагни.

Нагель изменился в лице и протянул руку, чтобы взять медаль.

– Стерто имя? Не может быть! Дайте я посмотрю. Ах, вот, наверно, в чем дело: я таскаю ее в кармане вместе с мелочью – она и поцарапалась.

Дагни с сомнением посмотрела на него. Тогда он вдруг весело щелкнул пальцами и воскликнул:

– Боже, до чего же я беспамятный! Вы совершенно правы – имя стерто, как я мог это забыть! Ха-ха-ха, совершенно верно, я сам соскоблил имя. Ведь на медали значилось не мое имя, а того, кто был ею награжден. Как только я купил ее, я первым делом уничтожил имя владельца. Покорнейше прошу, простите, что я сразу не сказал вам об этом. Я вовсе не собирался вас обманывать. Просто я думал совсем о другом: я хотел понять, почему вам действовала на нервы моя болтающаяся на нитке пуговица. Допустим, она бы оторвалась, ну и что с того? Не есть ли это иллюстрация к нашему разговору о нервах и науке?

Пауза.

– Вы говорите со мной всегда с какой-то нарочитой откровенностью, – сказала она, не отвечая на его вопрос. – Но я не

понимаю, какую цель вы преследуете. Ваши взгляды так необычны; вы только что убеждали меня в том, что все на свете сплошной обман и нет ни благородства, ни чистоты, ни величия. Это действительно ваше искреннее убеждение? Неужели нет никакой разницы между тем, чтобы купить медаль за сколько-то там крон или получить ее в награду за тот или иной поступок?

Нагель молчал. Тогда Дагни снова заговорила медленно и серьезно:

– Я не понимаю вас. Иногда, слушая ваши рассуждения, я спрашиваю себя: в полном ли он рассудке? Простите, что я вам это говорю! Раз от разу вы вселяете в меня все большее беспокойство, даже волнение. Вы спутали все мои представления. О чем бы ни шла речь, вы все переворачиваете с ног на голову. Зачем? Я никогда еще не встречала человека, который бы до такой степени противоречил всем моим понятиям. Скажите мне, насколько вы сами искренне верите в то, что говорите? Что вы думаете в глубине своего сердца?

Она говорила так серьезно и с такой теплотой, что он обомлел.

– Если бы я верил в бога, – ответил он, – в бога, который был бы для меня велик и свят, я поклялся бы его именем, что я на самом деле думаю все то, что я вам говорил, абсолютно все. И даже тогда, когда я сбиваю вас с толку, я глубоко убежден, что поступаю во благо. В прошлый раз вы мне сказали, что я – воплощенное противоречие всему, что думают другие. Да, это правда, я согласен, что я – воплощенное противоречие, хотя сам не понимаю, почему это так. Для меня загадка, почему другие не думают так же, как и я, настолько ясны и очевидны для меня все эти вопросы и так отчетливо видна мне их взаимосвязь. Вот что я думаю в глубине своего сердца, фрекен. Если бы я мог сделать так, чтобы вы верили мне сейчас и всегда!

– Сейчас и всегда? Нет, этого я не могу обещать.

– А мне это так бесконечно важно, – сказал он.

Они шли уже по лесу, так близко друг от друга, что то и дело касались друг друга локтями. Кругом стояла такая тишина, что можно было говорить чуть ли не шепотом. То тут, то там раздавался птичий щебет.

Вдруг Нагель остановился, и тогда Дагни тоже невольно остановилась.

– Как я скучал по вас эти дни. Нет, нет, только не пугайтесь, в этом нет ничего дурного, я знаю, что надеяться мне не на что, и, поверьте, я не строю себе никаких иллюзий, решительно никаких. Быть может, вы меня и вообще не понимаете, я не с того начал, я просто проболтался, сказал то, чего не хотел говорить...

Он замолк, и тогда Дагни сказала:

– Какой вы странный сегодня!

И хотела было пойти дальше.

Но он ее снова остановил:

– Милая фрекен, подождите. Будьте сегодня ко мне хоть немного снисходительны. Мне страшно говорить, я боюсь, вы прервете меня и скажете: уходите! А между тем я думал об этом долгие часы, когда лежал без сна.

Она все с большим удивлением глядела на него, а потом спросила:

– Что все это значит?

– Что это значит? Вы разрешаете мне сказать вам? Это значит... Это значит, что я люблю вас, фрекен Хьеллан. И, собственно говоря, я не понимаю, почему вы так поражены; я живой человек из плоти и крови, я встретил вас – и потерял голову! Чему же здесь удивляться? Только вот, может быть, я не должен был признаваться вам в этом?

– Да, не должны были.

– Но как совладать с собой? Я даже оговорил вас из любви к вам, я назвал вас кокеткой, я пытался развенчать вас в собственных глазах, только чтобы утешить себя и окончательно не пасть духом, потому что я знаю, что вы для меня недосыгаемы. Сегодня я вижу вас в пятый раз, но до сих пор ничем не выдал своих чувств, хотя мог бы сказать вам все это и в нашу первую встречу. А сегодня к тому же еще день моего рожденья, мне исполнилось двадцать девять лет, и с самого утра у меня было так весело на душе, что я все время что-то напевал. Я думал – быть может, это смешно, что поддаешься таким глупостям, – но все же я думал: если ты встретишь ее сегодня и во всем признаешься, то это будет неплохо, потому что нынче день твоего рождения. Ты скажешь ей, что нынче – твой праздник, и тогда, быть может, она скорее простит тебя – ради такого дня. Вы улыбаетесь? Конечно, это смешно, я знаю. Но теперь уже поздно идти на попятный. Я, как и все, приношу вам свою дань.

– Как грустно, что все это случилось именно сегодня. В этом году у вас оказался несчастливый день рождения. Больше мне вам нечего сказать.

– Конечно, нет... Господи, что за власть у вас! Я понимаю, что ради вас можно решиться на что угодно. Даже сейчас, когда вы произносили ваш приговор, который не принес мне радости, ваш голос звучал, как музыка. Какое странное чувство, словно во мне что-то расцвело. Просто удивительно! Знаете, по ночам я бродил вокруг вашего дома в надежде увидеть хоть вашу тень в окне; здесь, в лесу, я на коленях молил за вас бога, это я-то, я, хотя я толком и в бога-то не верю. Видите ту осину? Я остановил вас именно здесь потому, что под этой осиной я не одну ночь простоял на коленях в полном отчаянии, опустошенный и раздавленный оттого, что не мог заставить себя не думать о вас. Здесь я каждый вечер желал вам доброй ночи, я стоял на коленях и молил ветер и звезды передать вам мой привет. Вы не могли не почувствовать этого во сне...

– Зачем вы мне все это говорите? Разве вы не знаете, что я...

– Да, да, – прервал он ее в крайнем волнении, – я знаю, что вы хотите сказать: что вы уже давно дали слово другому и что я веду себя бесчестно, преследуя вас теперь, когда уже все решено. Неужели вы думаете, что я не понимаю этого? Так почему же я все это вам сказал? Извольте: я хотел поразить вас, произвести на вас впечатление, заставить вас еще раз все передумать. Видит бог, я говорю чистую правду, сейчас я не мог бы лгать. Я знаю, что вы помолвлены, что у вас есть жених, которого вы любите, и что мне рассчитывать не на что. Все это так, и тем не менее я хочу попытаться повлиять на вас, я не могу отказаться от надежды. Вы только вникните в смысл этих слов: «Потерять всякую надежду», – тогда, быть может, вы меня лучше поймете. Я вам сейчас сказал, что я ни на что не рассчитываю, но, конечно, это ложь. Да и сказал я это только, чтобы вас успокоить и выиграть время, словом, чтобы не отпугнуть вас сразу. Милая, милая моя, я несу невесть что, да? Я вовсе не хочу сказать, что вы когда-либо давали мне повод хоть на что-то рассчитывать, и я вовсе не так самонадеян, чтобы вообразить, что могу вытеснить кого-либо из вашего сердца. Клянусь, это мне ни разу не приходило в голову. Но в часы безнадежного отчаяния я говорил себе: да, она помолвлена и скоро уедет. В добрый путь! Но ведь пока она еще не абсолютно

потеряна для меня – она еще здесь, она не вышла замуж, она не умерла... Кто знает! Если я решусь на все, то, быть может, еще не поздно! Вы были моей неотвязной мыслью, я узнавал вас во всем, что меня окружало, и всех голубых эльфов я называл Дагни. За эти недели, что я здесь, не было ни одного дня, чтобы я непрестанно не думал о вас. Когда бы я ни вышел из гостиницы – стоило мне только открыть дверь и спуститься по лестнице, как надежда пронзала мое сердце: быть может, я сейчас увижу ее, – и я всюду искал встречи с вами. Я перестал что-либо понимать, и управлять собой я не в силах. Поверьте, если я сейчас и открылся вам, то решился на это не без борьбы. Не очень-то весело сознавать, что твои усилия совершенно тщетны, и все же не суметь отказаться от этих усилий, вот и борешься из последних сил, зная, что обречен. Нет выхода. Чего только не передумаешь за ночь, когда тебе не спится! Сидишь у окна, в руках у тебя книга, но тебе не читается: стиснув зубы, заставляешь себя пробежать глазами три строчки, но дальше дело не идет, и ты в конце концов захлопываешь книгу и опускаешь голову на руки. Сердце бьется как бешеное, беззвучно шепчешь тайные, нежные слова, все твердишь одно имя и в мыслях целуешь его. Часы бьют два, четыре, шесть; и тогда решаешь положить этому конец, отважиться, как только представится случай, на отчаянный шаг и во всем признаться... Если бы я еще смел попросить вас о чем-либо, то я попросил бы вас промолчать. Я люблю вас... А вы промолчите, промолчите! Подарите мне три минуты.

Она слушала, совершенно ошеломленная, и ни слова не сказала в ответ. Они все еще не двинулись с места.

– Нет, вы, наверно, все же сошли с ума! – произнесла она наконец и покачала головой. Она стояла печальная, бледная, а когда снова заговорила, в синих ее глазах появился холодный отблеск льда:

– Вы знаете, что я уже помолвлена, вы это помните, даже говорите об этом, и все же...

– Конечно, знаю! Разве я могу забыть его лицо, его мундир! Он хорош собой, и я не нахожу в нем никаких недостатков, но все же я хотел бы, чтобы он умер или исчез. Я сотни раз твердил себе: «Тебе здесь ждать нечего», – да что толку? Поэтому я стараюсь забыть, что это невозможно, и я подбадриваю себя: «Может, еще не все потеряно,

чего только не случается, есть еще надежда...» Ведь верно, есть еще надежда?

– Нет, нет! – закричала она. – Не доводите меня до отчаяния! Чего вам от меня надо? Что у вас на уме? Уж не считаете ли вы, что я должна... Господи, давайте не будем больше об этом говорить, прошу вас. И уходите! Теперь вы все испортили – испортили несколькими глупыми словами, теперь настал конец нашим разговорам, и встречаться нам больше нельзя. Зачем вы это сделали? Если бы я только могла это предвидеть! Да, да, теперь ни слова больше об этом, прошу вас, ради нас обоих – и ради вас, и ради меня. Вы сами прекрасно понимаете, что я никем не могу быть для вас; как только вы могли себе вообразить такое! Так продолжаться не может. Идите домой и постарайтесь с этим примириться. Господи, я искренне огорчена и за вас, но иначе поступить не могу.

– Так что же, мы должны сейчас навсегда проститься? Неужели я вижу вас сегодня в последний раз? Нет, слышите, нет! Я обещаю вести себя хорошо, говорить о чем угодно, но только не об этом, никогда больше этого не касаться, и тогда вы разрешите мне видеть вас, да? Если я буду совсем спокойным? Ведь вполне может случиться, что все другие люди вам наскучат; только не говорите, что я вижу вас сегодня в последний, в самый последний раз. Вы опять качаете головой, ах, какая у вас прелестная головка... Значит, ничего, ничего нельзя... Даже если вы не разрешите мне видеть вас, солгите сейчас и скажите «да». Не то мне будет сегодня так грустно, так невыносимо грустно. А ведь еще утром я пел от радости... Хоть еще раз вас увидеть!

– Нет, вы не должны меня об этом просить. Я не могу вам ничего обещать. Да и к чему бы это привело? А теперь уходите, прошу вас, уходите! Быть может, мы еще и встретимся, кто знает, это вполне может случиться. А теперь уходите, слышите, уходите! – нетерпеливо воскликнула она. – Вы окажете мне этим истинное благодеяние.

Пауза. Он стоял и не сводил с нее глаз, он тяжело дышал. Наконец он овладел собой и поклонился. И вдруг он бросил кепку наземь, схватил ее руку, которую она ему не протягивала, и крепко сжал обеими руками. Дагни вскрикнула, он тут же выпустил ее руку в ужасе, что причинил ей боль. Он стоял и смотрел, как она уходит. Еще несколько шагов, и она скроется за поворотом тропинки. Лицо его стало пунцово-красным, он до крови прикусил себе губу, и ему

захотелось уйти прочь, повернуться к ней спиной, его душил гнев. В конце концов он же все-таки мужчина. Хорошо, все хорошо, прощай!..

Вдруг она обернулась и издали сказала ему:

– И пожалуйста, не ходите по ночам вокруг нашего дома. Дорогой, умоляю вас, не надо! Так это, значит, на вас собака лаяла столько ночей подряд. Однажды папа даже хотел выйти посмотреть, кто там. Вы больше не должны приходить, слышите. Я надеюсь, что вы не захотите сделать нас обоих несчастными.

Вот и все, что она сказала, но при звуке ее голоса его гнев как рукой сняло, и он покачал головой.

– А ведь сегодня день моего рождения, – сказал он и побрел от нее, закрыв лицо руками.

Она смотрела ему вслед, потом, вдруг решившись, побежала к нему. Она схватила его за руку:

– Простите меня, но тут ничего не поделаешь. Я никем не могу быть для вас. Но кто знает, возможно, мы еще и встретимся. Вы не думаете? А теперь мне надо идти.

Дагни повернулась и быстро пошла прочь.

Дама под вуалью поднималась от пристани в город. Она сошла с только что прибывшего парохода и направлялась теперь прямо к гостинице «Централь».

Как раз в это время Нагель случайно стоял у окна и глядел на улицу. С той самой минуты, как он вернулся в гостиницу, а было это около полудня, он стал метаться взад-вперед по комнате, от стены к стене, лишь изредка останавливаясь, чтобы выпить стакан воды. Его щеки пылали нездоровым румянцем, а глаза лихорадочно блестели. Так прошагал он несколько часов кряду, думая все об одном и том же – о своей встрече с Дагни Хьеллан.

Был момент, когда он попытался убедить себя, что может уехать и все забыть. Он раскрыл чемодан и вывалил из него какие-то бумаги, несколько медных измерительных инструментов, флейту, нотные листы, одежду, среди которой был новый желтый костюм, точь-в-точь такой же, как тот, что на нем, и разные другие вещи, которые он раскидал по полу. Да, он уедет. В этом городе невозможно дольше оставаться, флагов больше не вывешивают, улицы словно вымерли; что его здесь держит? И вообще, какого черта он забрался в этот заштатный городок, в это осиное гнездо, в эту дыру, населенную жалкими людишками, во все сующими свой нос?..

Но он прекрасно знал, что никуда не уедет, что он просто подбадривает и обманывает самого себя. С мрачным видом побросал он как попало все вещи снова в чемодан и поставил его на прежнее место. И тогда он стал как потерянный лихорадочно шагать взад-вперед по комнате, от двери к окну, от окна снова к двери, туда – обратно, туда – обратно, а часы внизу отбивали час за часом. Вот они проббили шесть...

Он задержался на мгновение у окна, взгляд его случайно упал на даму под вуалью, которая как раз в эту минуту подымалась по ступенькам к дверям гостиницы, он изменился в лице и в ужасе схватился за голову. А впрочем, удивляться тут нечему. Приехать сюда она имеет такое же право, как и он. Но его это не касается, у него

мысли заняты другим, да и вообще все счеты между ним и ею покончены, они квиты.

Он заставил себя успокоиться, сел на стул, поднял с пола газету и уткнулся в нее, делая вид, что читает. Не прошло и двух минут, как Сара приоткрыла дверь его комнаты и подала ему карточку, на которой карандашом было написано: «Камма». Только одно слово: «Камма».

Он встал и спустился вниз.

Дама стояла в коридоре; вуаль ее была по-прежнему спущена. Нагель молча склонился перед ней.

– Здравствуй, Симонсен! – сказала она громко, с волнением в голосе.

«Симонсен» – сказала она. Нагель был потрясен, но тут же взял себя в руки и крикнул Саре:

– Куда бы нам пройти на несколько минут, чтобы поговорить?

Сара указала им комнату рядом со столовой, и, как только они притворили за собой дверь, дама бросилась в кресло; она была в сильном волнении.

Между ними завязался разговор, сбивчивый, темный, полный намеков, понятных только им, и каких-то оборванных фраз, относящихся к прошлому. Они уже явно раньше встречались и хорошо знали друг друга. Свидание не длилось и часу. Дама говорила скорее по-датски, чем по-норвежски.

– Прости, что я назвала тебя Симонсеном, – сказала она. – Старое, смешное, милое имя! Сколько всего таится за ним, и до чего же оно смешное! Всякий раз, когда я произношу его про себя, ты встаешь предо мной как живой.

– Когда вы приехали? – спросил Нагель.

– Только что, буквально несколько минут назад, на пароходе... И я сейчас же уеду...

– Сейчас же?

– Признайтесь, – сказала она, – вы ведь рады, что я собираюсь немедленно уехать. Неужели вы думаете, что я этого не вижу?.. Я задыхаюсь, мне теснит грудь. Дайте вашу руку, потрогайте вот здесь, нет, повыше! Ну, скажите хоть что-нибудь! Мне стало хуже, за последнее время наступило явное ухудшение, это заметно? Ну, да все равно! Я плохо выгляжу? Говорите, не стесняйтесь. Я, наверно,

растрепана? Может быть, вам кажется, что я грязная, просто-напросто грязная, ведь я уже сутки в пути... А вы не изменились нисколечко, вы все такой же холодный, как были, такой же холодный... У вас нет гребешка?

– Нет... Что, собственно говоря, привело вас сюда? Что вас...

– Тот же вопрос, буквально тот же вопрос я хотела задать и вам: что привело вас сюда, в это богом забытое место, чего вы здесь торчите? Вы думали, я вас не найду?.. Ты что, выдаешь себя здесь за агронома, да? Ха-ха-ха, я встретила одного человека на пристани, который сказал мне, что ты агроном и даже возился с какими-то растениями в саду некой фру Стенерсен. Ах да, если не ошибаюсь, с красной смородиной, ходил по саду без сюртука и два дня кряду окапывал кусты. Что за выдумка!.. У меня руки просто ледяные, это у меня всегда бывает, когда я волнуюсь, а сейчас я так волнуюсь... У тебя нет ко мне ни капли жалости, хотя я и назвала тебя Симонсеном, как в былые дни, и рада, и счастлива... Сегодня с самого утра, когда я еще лежала на койке в своей каюте, я все думала: как-то он встретит меня; будет ли хотя бы говорить мне «ты» и возьмет ли за подбородок? И я почти не сомневалась, что так оно и будет, но, выходит, ошиблась. Обратите внимание, что я вовсе не прошу вас сейчас это сделать. Я хочу, чтобы вы только обратили на это внимание. Теперь мне это уже все равно не доставит радости... Скажите, почему вы все время моргаете? Не потому ли, что, слушая меня, думаете совсем о другом?

– Мне действительно сегодня как-то не по себе, мне нездоровится, Камма. Не могли бы вы мне сказать прямо, без обиняков, зачем вы разыскали меня? Это было бы великодушно с вашей стороны. – Вот и все, что Нагель сказал в ответ.

– Вы спрашиваете, зачем я разыскала вас? – воскликнула она. – Господи, как больно вы умеете ранить! Быть может, вы испугались, что я приехала просить у вас денег, что у меня одна только цель – обобрать вас? Если у вас в душе в самом деле возникли такие гадкие подозрения, то уж лучше признайтесь в этом чистосердечно. Зачем я вас разыскала? Отгадайте-ка! Неужели вы не знаете, какое сегодня число, что это за день? Уж не забыли ли вы, что нынче день вашего рождения?

Вся в слезах, бросилась она перед ним на колени, уткнулась лицом в его руки, а потом прижала их к своей груди.

Он был необычайно тронут этим страстным выражением нежности, которой уже не ожидал, он привлек ее к себе и посадил на колени.

– Я не забыла дня твоего рождения, – сказала она, – я всегда буду его помнить. Ты не знаешь, как часто я плачу по ночам, когда мысли о тебе не дают мне уснуть... Дорогой мой мальчик, у тебя все такие же красные губы! Чего я только не передумала по дороге сюда! Все такие ли у него еще красные губы?.. Как тревожно бегают твои глаза! Но ведь это не значит, что я злоупотребляю твоим терпением, не правда ли? Вообще-то ты мало изменился, но глаза бегают так, будто ты думаешь только о том, как бы от меня поскорее избавиться. Давай-ка я лучше сяду на стул рядом с тобой, так тебе, наверно, будет приятнее, верно? Мне о многом, об очень многом надо поговорить с тобой, и времени терять нельзя, потому что пароход скоро отходит, но ты сидишь с таким равнодушным видом, что я просто теряюсь. Что я должна сказать, чтобы заставить тебя слушать меня внимательно? В сущности, ты несколько не благодарен мне за то, что я вспомнила этот день и приехала сюда... Ты получил много цветов? Впрочем, не сомневаюсь. Фру Стенерсен небось тоже про тебя вспомнила, да? Скажи мне, как она выглядит, эта фру Стенерсен, для которой ты разыгрываешь агронома? Ха-ха-ха, ты просто бесподобен!.. Я тоже привезла бы тебе цветы, если бы у меня были деньги; но как раз сейчас у меня нет ни гроша. Господи, да послушай ты меня хоть эти несколько жалких минут, могу я тебя об этом просить? Как все изменилось! Помнишь ли ты, как однажды... да нет, ты этого, конечно, не помнишь, да и что толку напоминать тебе об этом!.. Но вот однажды ты узнал меня издали по перу на моей шляпе и со всех ног бросился мне навстречу, как только увидел это перо. Да ты сам отлично знаешь, что это правда, ведь верно? Произошло это на городском валу. Но я уже забыла, почему я вспомнила этот случай с пером. Бог ты мой, не могу сообразить, как я хотела обернуть эту историю против тебя, хотя мне это показалось очень убедительно. Что случилось? Почему ты вскочил с места?

Он и в самом деле очень резко поднялся, пересек на цыпочках комнату и рывком распахнул дверь.

– Вам все звонят и звонят из столовой, Сара, – сказал он.

Когда он вернулся и сел на свое прежнее место, он кивнул Камме и прошептал:

– Я чувствовал, что она стоит за дверью и подглядывает в замочную скважину.

Камма вышла из себя.

– Ну и пусть себе подглядывает! – воскликнула она. – Скажите на милость, почему вас занимает сейчас все, что угодно, кроме меня? Я сижу здесь уже четверть часа, если не больше, а вы даже не попросили меня поднять вуаль. Не вздумайте только теперь просить меня об этом! Вам и невдомек, что ужасно сидеть в такую жару под густой вуалью. Впрочем, так мне и надо: зачем я сюда притащилась? Я прекрасно слышала, как вы спросили у горничной, куда можно пройти на несколько минут, чтобы поговорить. Только на несколько минут, так вы и сказали. Это значит, что вы надеялись отделаться от меня через несколько минут. Да, да, я вас не упрекаю, но вы не представляете себе, насколько я огорчена. Господи, помоги мне!.. Почему это я никак не могу забыть тебя? Я знаю, что ты безумен, у тебя совсем сумасшедшие глаза... Да, так говорят, я это слышала, и мне легко этому поверить. И все же я не могу забыть тебя. Доктор Ниссен считает, что ты сумасшедший, и так оно, наверное, и есть, если ты мог поселиться в таком городишке, как этот, и выдавать себя за агронома. Подумать только! И ты по-прежнему носишь на пальце это железное кольцо и ходишь только в этом кричащем желтом костюме, который ни один человек на свете, кроме тебя, не решился бы на себя натянуть...

– Доктор Ниссен в самом деле сказал, что я сумасшедший? – спросил он.

– Да, доктор Ниссен так прямо и сказал! Может, хочешь узнать, кому он это говорил?

Пауза. Он на мгновение задумался, но тут же очнулся и спросил:

– Скажите мне откровенно, не мог бы я помочь вам деньгами, Камма? Вы же знаете, что я сейчас имею эту возможность.

– Никогда! – закричала она. – Никогда, слышите! Господи, кто дал вам право бросать мне в лицо одно оскорбление за другим?

Пауза.

– Я не знаю, – сказал он, – зачем мы здесь сидим и мучаем друг друга.

Но она его прервала и, разрыдавшись, стала говорить, уже не взвешивая своих слов:

– Кто кого мучает? Уж не я ли вас? Господи, как неузнаваемо ты переменялся за эти несколько месяцев! Я приехала сюда только, чтобы... Я уже не жду, что ты ответишь на мои чувства, ты же знаешь, я не из тех, кто будет унижаться, молить, но все же я надеялась, что ты будешь ко мне хоть снисходителен... Боже милостивый, до чего же печальна моя жизнь! Я должна вырвать тебя из своего сердца, но я не в состоянии это сделать, меня влечет к тебе, и я бросаюсь к твоим ногам. Помнишь ли ты, как мы гуляли с тобой на Драмменсвейне и ты ударил собаку за то, что она кинулась ко мне? А ведь я сама была виновата, я вскрикнула, потому что подумала, что собака хочет меня укусить, но оказалось, что она вовсе не хочет кусаться, а хочет только поиграть, и когда ты ее ударил, она на брюхе приползла к нам и легла перед нами, вместо того чтобы бежать. Ты тогда расплакался, ты гладил собаку и украдкой вытирал слезы, да, да, я это заметила. Зато теперь ты не плачешь, хотя... Но я вспомнила это не для сравнения, надеюсь, ты все-таки не считаешь, что я сравниваю себя с собакой? Одному богу известно, что взбредет тебе в голову, ты ведь воображаешь невесть что! О, я знаю у тебя это выражение! Да ты и улыбаешься, да, да, я отлично видела, улыбаешься! Ты смеешься мне прямо в глаза! Ах, так, изволь, я выскажу тебе все... Нет, нет, прости меня. Я в таком отчаянии! Ты видишь перед собой разбитую женщину, я совершенно разбита, протяни мне руку! Почему ты никак не можешь мне простить единственного моего проступка! Ведь если ты как следует подумаешь, то согласишься, что вина моя, собственно, не так уж велика. Конечно, нехорошо, что я не пришла к тебе в тот вечер, ты много раз подавал мне условный знак, звал меня, а я не спускалась; но видит бог, как глупоко я об этом сожалею! Но он вовсе не сидел тогда у меня, как ты думаешь, он был у меня в тот день, это правда, но когда ты звал, его уже не было, он ушел. Я ведь во всем тебе призналась и прошу сжалиться надо мной, простить меня. Но я должна была, конечно, тут же прогнать его, я согласна, я со всем согласна, мне не следовало... Нет, я не понимаю... я ничего больше не понимаю...

Пауза. В возникшей тишине слышны были только всхлипывания Каммы и стук ножей и вилок, доносившийся из столовой. Она никак не могла успокоиться и платком вытирала слезы под вуалью.

– Подумай только, он так ужасно беспомощен, – продолжала она. – И совершенно не умеет добиться своего. Он то и дело стучит кулаком по столу и гонит меня ко всем чертям, да, он ругает меня почем зря, орет, что я его разоряю, обращается со мной более чем грубо, но после таких сцен становится совсем несчастным и все же не может решиться меня отпустить. Что мне делать, раз я вижу, насколько он слаб? Я откладываю свой отъезд со дня на день, хотя живется мне совсем не сладко... Но только, пожалуйста, не жалея меня, как вы смеете выражать мне свое сострадание, неужели вы настолько потеряли всякий стыд! Он все же лучше многих и доставил мне больше радости, чем другие, чем вы, уж во всяком случае. И я искренне люблю его, так и знайте. Я приехала сюда не для того, чтобы на него наговаривать. Когда я вернусь домой и увижу его, я брошусь перед ним на колени и буду просить у него прощения за то, что я здесь о нем сказала. Да, я буду просить у него прощения!

– Дорогая Камма, – сказал Нагель, – будьте хоть немного благоразумной! Разрешите мне вам помочь, прошу вас! Мне кажется, вы в этом нуждаетесь. Неужели вы не согласитесь? Нехорошо с вашей стороны отказаться от моей помощи, когда я так легко и так охотно могу это сделать.

И с этими словами он вынул бумажник.

– Нет, я же сказала, нет! – крикнула она вне себя. – Вы что, не слышите? Что вы за человек!

– Так чего же вы хотите? – спросил он в полном недоумении.

Она села на стул и перестала плакать. Казалось, она уже сожалела о том, что так погорячилась.

– Послушайте, Симонсен... разрешите мне еще раз назвать вас Симонсеном, и если вы не будете сердиться, я хотела бы вам еще кое-что сказать. Что за дикая идея поселиться в такой дыре? И чего только вам это взбрело в голову? Разве можно после этого удивляться, что люди считают вас сумасшедшим? Я даже забыла название этого жалкого городишки и вспомню только, если напрягу память, а вы разгуливаете здесь с невозмутимым видом, ломаете комедию и приводите в изумление местных жителей своими нелепыми

выходками! Неужели вы не найдете себе лучшего занятия?.. Впрочем, это, конечно, не моя забота, и я говорю это только по старой... Нет, вы хоть посоветуйте, что мне делать с моим кашлем? Я чувствую, там сейчас все разорвется! Не думаете ли вы, что мне снова необходимо обратиться к доктору? Но, бог ты мой, о каком докторе может идти речь, когда у меня в кармане нет ни единого эре?

– Но ведь я уже говорил, что всей душой готов вам помочь, дать вам нужную сумму. Пусть это будет займы, и когда-нибудь вы сможете мне их отдать.

– Ну, собственно говоря, совершенно не важно, обращусь ли я к доктору или нет, – продолжала она свое, как упрямый ребенок, – кто будет меня оплакивать, если я умру?.. – Но вдруг она оборвала на полуслове, сделала вид, что опомнилась, овладела собой и сказала уже совсем другим тоном: – Впрочем, если все хорошенько обдумать, то, собственно говоря, не вижу, почему бы мне не взять у вас денег? В самом деле, раз я брала прежде, то почему бы не взять сейчас? Я ведь не так богата, чтобы только из-за... Да, но вы предлагали мне их все в такие минуты, когда я была сильно взволнована, и вы наперед знали, что я непременно откажусь. Да, именно так оно и было! Вы это точно рассчитали, чтобы сберечь свои деньги, хотя их у вас сейчас так много; вы думаете, я не заметила? И даже если вы мне их сейчас снова предложите, то сделаете это исключительно из желания меня унижить и будете потом злорадствовать, что мне в конце концов все же пришлось их принять. Но вам это не поможет, я приму их и буду тебе искренне благодарна. Дай бог, чтобы мне никогда больше не надо было обращаться к тебе! Но знайте, приехала я сюда сегодня не ради того, одним словом, не ради денег, хотите верьте, хотите нет. Все же я не думаю, что вы так низки, чтобы заподозрить меня в этом... А сколько ты мог бы мне дать, Симонсен? Господи, да не принимай все так близко к сердцу, и верь, каждое мое слово искренне...

– Сколько вам надо?

– Сколько мне надо!.. Господи, не уйдет ли пароход без меня?.. Мне надо, быть может, и много, но... быть может, несколько сот крон, но...

– Послушайте, вам вовсе не надо чувствовать себя униженной тем, что вы принимаете эти деньги; вы сможете их заработать, если

захотите. Вы могли бы оказать мне неоценимую услугу, если бы только я смел попросить вас...

– Если бы ты только смел попросить меня! – воскликнула она, вне себя от радости, что нашелся такой выход. – Господи, о чем ты говоришь? Какую услугу? Какую услугу, Симонсен? Я та все готова! Дорогой мой!

– Пароход отходит через три четверти часа, значит, вы располагаете этим временем...

– Да. И что же я должна сделать?

– Вы должны посетить одну даму и выполнить одно поручение.

– Посетить даму?

– Она живет у пристани в маленьком одноэтажном домике. На окнах там нет занавесок, но на подоконниках – горшки с белыми цветами. Даму эту зовут Марта Гудэ, фрекен Гудэ.

– Так это, значит, она... а разве не фру Стенерсен?

– Послушайте, вы на ложном пути, фрекен Гудэ, наверно, под сорок. Но у нее есть кресло, старое кресло с высокой спинкой, которое я непременно хочу купить, и вы можете мне в этом помочь... Вот возьмите и спрячьте ваши деньги, а я тем временем вам все объясню.

На дворе уже смеркалось; постояльцы шумно выходили из столовой, а Нагель еще сидел в соседней комнате и подробно объяснял все про старое кресло. Действовать надо очень осторожно, эффектными жестами здесь ничего не достигнешь. Камма все больше и больше воодушевлялась, она сгорала от желания поскорее выполнить это поручение, его таинственность приводила ее просто в восторг, она громко смеялась и несколько раз спрашивала, не следует ли ей переодеться или хотя бы нацепить на нос очки. Ведь у него, кажется, была когда-то красная шляпа? Вот она могла бы ее надеть...

– Нет, нет, не надо никаких ухищрений. Вы должны просто попросить, чтобы вам продали кресло, ваше дело – взвинтить цену, вы можете дойти до двухсот крон, даже до двухсот двадцати. И будьте совершенно спокойны, кресло вам все равно не достанется, на этот счет вам волноваться нечего.

– Бог ты мой, такая куча денег! Почему я не смогу его купить за двести двадцать крон?

– Потому что я уже просил во всех случаях оставить его за мной.

– А что, если она поймает меня на слове?

– Этого не будет. Ну, а теперь идите!

В последнюю минуту она снова попросила у него гребешок и с беспокойством спросила, не измято ли ее платье.

– Я не желаю, чтобы ты проводил так много времени у этой фру Стенерсен, – сказала она, кокетничая. – Я этого не перенесу, я буду безутешна. – И она еще раз проверила, хорошо ли упрятала деньги. – Как мило с твоей стороны, что ты дал мне столько денег! – воскликнула она, порывисто откинула вуаль и поцеловала его в губы, прямо в губы. Но при этом она была полностью поглощена тем странным поручением, которое дал ей Нагель.

– Как мне тебя уведомить, что все сошло хорошо? Могу я попросить капитана дать не три гудка, а четыре или пять, как ты считаешь? Видишь, не такая уж я дура! Нет, на меня полагайся смело. Неужели я не сделаю для тебя такой милости, когда ты... Послушай, и все же я приехала сюда не ради денег, поверь мне! Ну, а теперь разреши мне еще раз поблагодарить тебя! До свиданья, до свиданья!

И она снова проверила, надежно ли спрятаны деньги.

Спустя полчаса Нагель и в самом деле услышал подряд пять коротких пароходных гудков.

Прошло два дня.

Нагель почти не выходил из номера, сидел мрачнее тучи, выглядел измученным и больным. Он ни с кем не разговаривал и даже к гостиничной прислуге ни с чем не обращался. Одна рука у него была перевязана; как-то ночью, пробродив, по своему обыкновению, где-то почти до самого утра, он вернулся в гостиницу с рукой, обмотанной носовым платком. Он сказал, что поранил руку, споткнувшись о борону, лежавшую на пристани.

В четверг с утра моросил дождик, и от дурной погоды Нагель помрачнел еще больше. Но после того как он прочел, еще лежа в постели, газету и посмеялся над бурной сценой, разыгравшейся во французском парламенте, он вдруг щелкнул пальцами и вскочил на ноги. К черту все! Мир широк, богат и весел, мир прекрасен, и нечего унывать!

Он позвонил, не успев даже закончить свой туалет, и сообщил Саре, что намерен вечером пригласить к себе гостей, человек шесть-семь, таких веселых компанейских людей, как доктор Стенерсен, адвокат Хансен, адьюнкт, и хоть немного рассеяться, а то уж больно уныло жить на нашей грешной земле.

Нагель тут же разослал приглашения. Минутка ответил, что будет; поверенный Рейнерт был также приглашен, но не пришел. К пяти часам все гости собрались в номере Нагеля. Дождь как зарядил с утра, так и не прекращался, было очень пасмурно, поэтому сразу зажгли камин и спустили шторы.

И вот начался роскошный кутеж с адским шумом и криком, началась такая вакханалия, что весь маленький городок несколько дней только об этом и говорил...

Как только Минутка появился в дверях, Нагель кинулся к нему и стал извиняться за то, что наболтал лишнее во время их последней встречи. Он с чувством пожал Минутке руку, а затем представил его студенту Эйену, единственному из собравшихся, который еще не знал его. Минутка шепотом поблагодарил Нагеля за новые брюки; теперь он с головы до ног одет во все новое.

– У вас еще нет жилета.

– Нет, но мне он и не нужен. Я ведь не граф, уверяю вас, мне в самом деле совсем не нужен жилет.

Доктор Стенерсен сломал свои очки и был поэтому в пенсне без шнура, которое ежеминутно падало у него с носа.

– Нет, что бы там ни говорили, – сказал он, – но наше время несет с собой освобождение. Да посмотрите только на результаты выборов и сравните их с прошлыми.

Все много пили, адьюнкт уже начал говорить односложные слова, а это был верный признак того, что он хватил лишнего. Адвокат Хансен, который наверняка успел выпить несколько стаканов еще до того, как пришел, стал, как всегда, возражать доктору и вообще болтать чепуху.

Он, Хансен, социалист, он, со своей стороны, за движение вперед, если можно так выразиться. Но он не доволен выборами: какое освобождение они, собственно говоря, принесли? Может ему кто-нибудь ответить? К черту выборы! Хороша эпоха освобождения, ничего не скажешь! Да разве такой человек, как Гладстон, не боролся с Парнеллем, боролся самым постыдным образом по смехотворно ничтожному поводу, по так называемым моральным соображениям, которые не стоят выеденного яйца? К черту все это!

– Какого дьявола вы несете такую несусветную чушь? – тут же вскипел доктор. – Вы что, вообще отрицаете мораль? Если отнять у людей мораль, то что их будет двигать вперед? Приходится хитрить, всеми средствами завлекать людей на путь развития, и поэтому необходимо всегда чтить мораль. – Лично доктор высоко ценит Парнелля; но если Гладстон находит, что Парнелль не годится, то приходится все же с этим считаться – уж кто-кто, а такой человек, как Гладстон, кое-что в этом смыслит. Впрочем, господин Нагель, наш почтенный хозяин, придерживается здесь другого мнения и ставит Гладстону в вину даже то обстоятельство, что у Гладстона всегда чистая совесть. Ха-ха-ха, смех, да и только, прости меня, господи!.. А rporos, господин Нагель, вы, кажется, и Толстого тоже не очень-то жалуете? Я слышал от фрекена Хьеллан, что вы и его не очень-то признаете.

Нагель тем временем разговаривал со студентом Эйеном; услышав последние слова доктора, он резко обернулся и ответил:

– Что-то не припомню, чтобы я когда-либо разговаривал с фрекен Хьеллан о Толстом. Я считаю его великим художником, но дураком в философии... – Помолчав, он добавил: – Уж позволим себе нынче вечером вставить крепкое словцо, если надо. Надеюсь, вы не возражаете, ведь дам здесь нет, мы в мужской компании. Договорились? А я сейчас в таком настроении, что готов рычать, как дикий зверь.

– Прошу вас, чего уж там церемониться, – обиженно подхватил доктор, – давайте так и скажем: Толстой – дурак.

– Да, да, пусть каждый говорит, что думает, – вдруг закричал и адъютант, который дошел как раз до того состояния, когда ему море по колено. – Никаких ограничений, доктор, не то мы тебя просто выставим вон, так и знай. У каждого свое мнение. Вот Стеккер, к примеру, отъявленный негодяй. И я это докажу... да, докажу!

Тут все рассмеялись, и прошло несколько минут, прежде чем снова смогли заговорить о Толстом. Спору нет, Толстой великий писатель, великий ум!

Нагель вдруг стал красный как рак.

– Нет, он не великий ум! Его интеллект, напротив, удивительно ординарен, а учение ни на йоту не глубже аллилуйных проповедей Армии спасения. Разве любой другой русский, не имея он дворянского титула, старинного знатного имени и миллионного состояния в блестящих рублях, стал бы таким знаменитым от того, что научил нескольких крестьян чинить сапоги?.. Впрочем, давайте лучше веселиться. Ваше здоровье, господин Грегорд!

Нагель пользовался каждой короткой паузой в разговоре, чтобы лишний раз чокнуться с Минуткой, и вообще в течение всего вечера оказывал ему всяческие знаки внимания. Он еще раз извинился за свою глупую болтовню во время их последней встречи и попросил Минутку забыть все это.

– Что до меня, то я не испугаюсь, что бы вы ни говорили, – заявил доктор и приосанился.

– Иногда меня так и подмывает всем противоречить, – продолжал Нагель, – а нынче вечером в меня просто какой-то бес вселился. Наверно, оттого, что позавчера у меня было одно огорчение, которое не так-то легко пережить, а может, из-за этой отвратительной погоды, которая на меня ужасно действует. Вы, господин доктор, поймете

меня лучше, чем кто-либо, и, надеюсь, извините... Но, возвращаясь к Толстому, я должен признаться, что не считаю его более глубоким умом, чем, например, генерала Бутса. Оба они проповедники, а не мыслители, только проповедники. Они пускают в оборот уже готовую продукцию, популяризируют не свои собственные мысли, а чужие, заимствованные, уже существующие, перепродают их народу по дешевке и тем самым держат в своих руках мир. Но уж раз ты занялся перепродажей, то делай это хотя бы с выгодой для себя. А вот Толстой перепродает с огромными убытками. Два друга заключили как-то пари: один с расстояния двадцати шагов выбьет выстрелом у другого орех из руки, да, он готов биться об заклад на двенадцать шиллингов, что сделает это, не причинив другу вреда. Ну, хорошо, он выстрелил, выстрелил плохо, размозжил другу руку и, надо сказать, блестяще с этим справился. Раненый застонал, но, собрав последние силы, все же крикнул: «Ты проиграл пари, гони двенадцать шиллингов!» И он получил причитающиеся ему двенадцать шиллингов! Ха-ха-ха... «Гони двенадцать шиллингов!» Так он и сказал... Господи, до чего же Толстой из кожи вон лезет, чтобы убить всякую человеческую радость на земле и заполнить мир одной лишь любовью к всевышнему и к своему ближнему. Я просто сгораю от стыда... Быть может, это и покажется нахальным с моей стороны – какой-то там жалкий агрономишка сгорает от стыда за графа, но, поверьте, дело обстоит именно так... Я бы не говорил ничего похожего, если бы Толстой был юношей, которому стоило бы труда не поддаваться искушениям, который вел бы постоянную борьбу с собой, чтобы проповедовать добродетель и вести добродетельную жизнь. Но ведь он – глубокий старик, все жизненные импульсы его давно заглохли, в его душе не осталось и следа человеческих страстей и желаний. Но – могут мне возразить – все это ведь не имеет никакого отношения к его учению. Нет, имеет, притом прямое! Прожив свою жизнь, уже одряхлев, пресытившись наслаждениями и очерстнев от их избытка, ты идешь к юноше и говоришь ему: отрешись от соблазнов мира сего! И юноша задумывается над его призывом и не может не согласиться с тем, что он соответствует Святому писанию. Но юноша все же не отрешается от радостей, а грешит, грешит вовсю в течение сорока лет. Таков закон природы. Но когда пролетают сорок лет и юноша превращается в старика, он, в свою очередь, седлает своего бледного, бледного коня –

и скачет по свету, сжимая в иссохшей костлявой руке крестное знамя, и трубит всем в назидание, требуя от юношей отрешения от всех радостей бытия, полного отрешения! Ха-ха-ха, воистину бессмертная комедия, она повторяется снова и снова! Толстой меня забавляет, я просто в восторге от того, что этот старик еще способен делать столько добра; в конце концов он безусловно вкусит райское блаженство! Но ведь суть в том, что он поступает так, как до него поступали многие и многие старики, и после него старики будут поступать точно так же. Повторяю, только в этом вся суть вопроса.

– Разрешите мне лишь напомнить вам, чтобы не прибегать к другим доводам, – так вот, разрешите напомнить вам, что Толстой проявил себя истинным другом всех обездоленных и угнетенных; неужели это, по-вашему, не имеет никакого значения? Укажите мне хоть на одного барина у нас, который бы, как он, полностью посвятил себя малым сим, тем, кто находится на самой низшей ступеньке общества? Только из высокомерной узости взглядов – я, во всяком случае, так считаю – можно назвать учение Толстого глупым на том лишь основании, что люди не живут согласно этому учению.

– Bravo, доктор! – снова взревел адьюнкт; его возбужденное лицо было пунцово-красным. – Bravo! Но выражайтесь резче, говорите грубо! Каждый имеет право отстаивать свое мнение! Высокомерная узость взглядов, что правда, то правда, у вас высокомерная узость взглядов! И я вам это докажу!..

– Ваше здоровье! – сказал Нагель. – Не надо забывать, чего ради мы здесь собрались. Так вы, доктор, в самом деле хотите сказать, что стоит восхищаться человеком, который, обладая миллионным состоянием, отдает на благотворительные цели десятирублевую бумажку? Я просто не понимаю вашего хода мысли, да и у всех других тоже; должно быть, я как-то иначе устроен. Хоть убейте меня, но я никогда не соглашусь, что кто-либо – а уж меньше всего миллионер – достоин восхищения за то, что он подает милостыню.

– Отлично сказано! – воскликнул адвокат не без подначки. – Я – социалист, это моя точка зрения.

Но эти слова окончательно вывели доктора из себя, и он закричал, обращаясь к Нагелю:

– Позвольте спросить! Вы что, действительно так хорошо осведомлены, какие именно суммы жертвует Толстой ежегодно или

ежедневно на бедных? Нет, это уж слишком! Даже в мужском обществе не все дозволено.

– Вот и Толстой считает, – ответил Нагель, – что всему должны быть свои границы, и благотворительности – тоже! Поэтому он и возложил на свою жену обязанность строго следить за тем, чтобы он не жертвовал больше, чем положено! Ха-ха-ха, но об этом давайте не будем говорить... Послушайте, по каким побуждениям мы отдаем крону? По доброте душевной или из желания сделать хороший, нравственный поступок? На мой взгляд, такое представление просто наивно! Есть люди, которые не могут не отдавать. Почему? Да потому, что, отдавая, они испытывают истинное наслаждение, чисто психическое, конечно. Ими руководит отнюдь не логическое рассуждение, они отдают тайно, им претит делать это открыто, публичность только уменьшила бы их удовольствие. Они отдают украдкой, торопливо, дрожащими руками, но при этом они испытывают удивительное блаженство, понять которое они сами не могут. Эти люди вдруг, ни с того ни с сего чувствуют острую потребность что-то отдать, это находит на них в форме какого-то странного, теснящего грудь ощущения – внезапное, необоримое желание, которое вспыхивает с такой силой, что на глазах выступают слезы. Они отдают не из доброты, а по внутренней к этому склонности, ради того наслаждения, которое они при этом получают; и таких людей немало! О людях щедрых говорят с восхищением – повторяю, я, видно, иначе устроен, – но у меня щедрые люди не вызывают восхищения. Решительно не вызывают. Кто, черт возьми, не хотел бы лучше отдавать, чем брать? Позвольте вас спросить, найдется ли на земле хоть один человек, который предпочел бы сам испытать нужду, чем помочь нуждающимся? Да взять, к примеру, хоть бы вас, господин доктор: вы ведь на днях дали лодочнику, который вез вас, пять крон. Я случайно это услышал. Ну, а почему вы отдали эти пять крон? Конечно, не для того, чтобы сделать хороший, богоугодный поступок, эта мысль вам тогда, наверно, и в голову не приходила; да лодочник скорее всего особенно и не нуждался, но вы все же дали ему эти пять крон. И дали вы их, повинувшись только безотчетному импульсу выпустить что-то из своих рук и порадовать другого... Мне кажется, что восторгаться людской благотворительностью вообще пошло и ничтожно. Вы идете как-то

днем по улице, и все – погода, люди, которых вы встречаете, – решительно все влияет на ваше настроение. И вдруг ваше внимание привлекает какое-то лицо, лицо ребенка или нищего – скажем, нищего, – и вас бросает в дрожь. Странное чувство пронзает душу, вы топаете ногой и останавливаетесь посреди улицы. Лицо это почему-то задело вас за живое, и вы подзываете нищего, заводите его в первые попавшиеся ворота и суете ему в руку десять крон. «Если проговоришься, хоть слово об этом скажешь, я убью тебя», – шепчете вы, чуть ли не скрежеща зубами и не плача от волнения, – настолько важно для вас, чтобы ваш поступок сохранился в тайне. И подобные вещи могут случаться день изо дня, так что и самому недолго попасть в трудное положение и оказаться в конце концов без единого эре в кармане... Конечно, я это вовсе не о себе говорю, но я знал человека, другого человека, у которого была эта черта; собственно говоря, я знал даже двоих людей, которые так поступали... Нет, отдаешь потому, что не можешь не отдать, и все тут! Но я хочу сделать оговорку для скупых людей. Скупые, грубо жадные люди действительно приносят жертву, когда отдают что-либо, в этом нет сомнения. Потому я считаю, что когда они, переборов себя, отдают одно эре, то заслуживают большего уважения, чем мы с вами, когда отдаем крону ради собственного удовольствия. Кланяйтесь Толстому и передайте ему, что я ни во что не ставлю его отвратительную показушную доброту, – во всяком случае, до тех пор, пока он не отдаст все свое состояние, а впрочем, и тогда тоже... Но я прошу извинить меня, если я кого-нибудь из вас обидел. Еще сигару, господин Грегорд? Ваше здоровье, господин доктор!

Пауза.

– Сколько людей вы рассчитываете обратить в свою веру на протяжении вашей жизни? – спросил доктор.

– Bravo, – крикнул адъюнкт. – Адъюнкт Хольтан вас поддерживает, bravo!

– Я? Обратить? – переспросил Нагель. – Да никого, решительно никого. Если бы я жил с того, что обращал бы людей, я очень скоро сдох бы с голоду. Но я никак не могу понять, почему другие люди не думают, как я. Выходит, я кругом не прав. Но не совсем же я не прав, не может быть, чтобы я был совсем неправ.

– До сих пор мне еще ни разу не пришлось слышать, чтобы вы кого-нибудь или что-нибудь признали, – сказал доктор. – Интересно все же было бы узнать, есть ли на свете хоть один человек, который и в ваших глазах был бы авторитетом.

– Разрешите мне объяснить вам одну вещь, это можно сделать в двух словах. Вы вот что хотели сказать: поглядите только, он всех считает ниже себя, он – олицетворенное высокомерие, он никого не признает. Но вы ошибаетесь. Мой ум мало что способен охватить, меня на многое не хватает, но все же я мог бы вам назвать сотни и сотни этих обыкновенных общепризнанных знаменитостей, тех людей, которые оглушают мир громкой славой. Этими именами мне все уши прожужжали. Но я предпочел бы назвать двух, четырех, шестерых величайших героев духа, полубогов, истинных гигантов, творцов подлинных ценностей, а помимо них остановиться на лицах совершенно неизвестных, на своеобразных благородных гениях, о которых никто не говорит, которые обычно живут недолго, умирают молодыми и безвестными. Вполне возможно, что таких имен я перечислил бы сравнительно много. Но в одном я, во всяком случае, твердо уверен – я наверняка забыл бы назвать Толстого.

– Послушайте, – сказал доктор, обороняясь и желая положить конец этому спору; он даже резко пожал плечами. – Вы в самом деле думаете, что человек может приобрести такую мировую славу, как Толстой, не будучи умом первой величины? Говорите вы, несомненно, очень забавно, но по существу все это чушь. Да вы несете такой вздор, черт меня побери, что просто уши вянут.

– Bravo, доктор! – завопил адьюнкт Хольтан. – Пусть наш хозяин даст нам хоть немного передохнуть... немного передохнуть...

– Адьюнкт напомнил мне, что я в самом деле не очень-то любезный хозяин, – сказал Нагель с улыбкой. – Но теперь я исправлюсь. Господин Эйен, да у вас даже не налито? Почему вы не пьете?

Дело в том, что студент Эйен все время сидел, не шелохнувшись, и жадно слушал разговор, боясь упустить хоть слово. Его глаза сузились от любопытства, он весь превратился в слух – так его заинтересовал этот спор. Говорили, что он, как и многие другие студенты, писал во время каникул роман.

Сара пришла сообщить, что ужин подан. Адвокат, который уже успел задремать, примостившись на стуле, вдруг открыл глаза и явно оживился, увидев ее, а когда она исчезла за дверью, вскочил, нагнал ее уже на лестничной площадке и сказал с нескрываемым восхищением:

– Сара, я должен тебе сказать, что ты просто прелесть!

Потом он вернулся в комнату и сел на свое место как ни в чем не бывало, с тем же серьезным лицом, что и прежде. Он был сильно пьян. Когда доктор Стенерсен набросился на него за его социалистические убеждения, он оказался уже не в силах защищаться. Хорош социалист, ничего не скажешь! Живодер он, а не социалист, жалкий посредник между властью имущими и бесправными, юрист, который кормится на чужих раздорах и получает деньги за то, что восстанавливает бесспорные законные права! И такой человек еще называет себя социалистом!

– Да, но дело в принципе, в принципе! – лепетал адвокат.

– В принципе!..

И доктор заговорил с величайшей издевкой о принципах адвоката Хансена. Пока гости спускались в столовую, он все наскокивал на Хансена, высмеивал его как адвоката и нападал на социализм в целом. Вот он сам, доктор, предан левым душой и телом, а не только на словах, как некоторые! Да в чем они, собственно, заключаются, эти принципы социализма? Тут сам черт ногу сломит! И доктор сел на своего любимого конька: социализм, если кратко выразить его суть, это месть низших классов. Поглядите только, что представляет собой социализм как движение! Социалисты – он на том стоит – стадо слепых и глухих животных, которые, вывалив языки, несутся за вожаком! Видят ли они дальше своего носа? Нет, все они вообще не умеют думать. Если бы они думали, они давно перешли бы к левым и сделали бы хоть что-нибудь полезное, что-нибудь практическое, вместо того чтобы проболтаться всю жизнь без реального дела и пускать слюни по поводу неосуществимой мечты. Тьфу! Переберите всех вождей социализма, кто они? Оборванцы, тощие мечтатели, которые сидят в своих мансардах на деревянных табуретках и строчат трактаты об усовершенствовании мира! Конечно, они могут быть вполне порядочными людьми, разве может кто сказать что-либо дурное о Карле Марксе? Но даже этот Маркс только и знал, что сидеть да строчить, уничтожая бедность на земле – чисто теоретически, так

сказать, росчерком пера. Он мысленно охватил все виды бедности, все степени нищеты, его мозг вместил в себя все страдания человечества. С пылающей душой макает он перо в чернила и исписывает страницу за страницей, заполняет большие листы цифрами, отнимает деньги у богатых и передает их бедным, перераспределяет огромные суммы, переворачивает всю мировую экономику, швыряет миллиарды изумленным беднякам – все это строго научно, все это чисто теоретически! Но в конце концов выясняется, что в наивной своей увлеченности он исходил из совершенно ложного принципа: из равенства людей! Тьфу! Да это абсолютно ложный принцип! И все это вместо того, чтобы заняться какой-то полезной деятельностью и поддержать либералов в их борьбе за реформы и укрепление подлинной демократии...

От рюмки к рюмке доктор возбуждался все сильнее и разглагольствовал без умолку, утверждая правоту своих взглядов. За столом во время ужина он стал еще больше горячиться; было выпито много шампанского, и все пришли в буйное настроение; даже Минутка, который сидел рядом с Нагелем и до сих пор молчал, вступил вдруг в общий разговор, вставляя время от времени какое-нибудь словечко. Адьюнкт сидел, будто аршин проплотил, боясь пошевелиться, и кричал как оглашенный, что заляпал свой жилет яйцом и не может теперь сдвинуться с места. Он был беспомощен, как ребенок. Наконец пришла Сара и занялась жилетом адьюнкта, а адвокат, сидевший рядом, воспользовался этим удобным случаем, схватил девушку в объятия, привлек к себе и стал тискать. Тут за столом поднялось невесть что, все повскакали с мест, и началась уже полная неразбериха.

Тем временем Нагель велел отнести в свой номер корзину шампанского. Вскоре общество поднялось из-за стола. Адьюнкт и адвокат шли, обнявшись, и пели от полноты чувств, а доктор снова принялся разглагольствовать на высоких нотах о социализме. Но на лестнице он имел несчастье потерять свое пенсне, оно снова упало – наверное, уже в десятый раз – и разбилось. Оба стекла разлетелись вдребезги. Он сунул оправу в карман и оказался на весь вечер полуслепым. Это его ужасно раздосадовало, и он стал еще более раздражительным; он сел рядом с Нагелем и язвительно сказал:

– Если я не ошибаюсь, вы человек религиозный, не так ли?

Вопрос свой доктор задал совершенно серьезно и теперь явно ждал ответа. Немного помолчав, он добавил, что после их первого разговора – это было во время похорон Карлсена – у него сложилось впечатление, что Нагель в самом деле человек религиозный.

– Я защищал религиозную жизнь в человеке, – ответил Нагель, – а не специально христианство, вовсе нет, религиозную жизнь вообще. Вы уверяли, что всех теологов надо повесить. «Почему?» – спросил я. «Потому что они уже сыграли свою роль», – ответили вы. Вот с этим-то я и не мог согласиться. Религиозная жизнь – это факт, который невозможно оспаривать. Турок восклицает: «Велик аллах!» – и умирает за свою веру; норвежец стоит коленапреклоненный перед алтарем и по сей день еще вкушает кровь Христову. У любого народа есть свой коровий колокольчик, которому он поклоняется, и с этой верой люди умирают в блаженстве. Дело ведь не в том, во что верить, а в том, как верить...

– Я поражен, что слышу такое от вас, – с раздражением сказал доктор. – И я еще раз задаю себе вопрос: уж не правый ли вы, по сути, и только маскируетесь? Один за другим появляются в наши дни научные труды, критикующие теологов и духовные книги, все больше писателей решительно выступают против сборников проповедей и теологических сочинений с публичными разносами, а вы все же не сдаете своих позиций и не желаете признать даже того, что комедия с кровью Христовой потеряла в наш век всякий смысл. Я просто не понимаю хода ваших мыслей.

Нагель немного подумал, а потом ответил:

– Ход моих мыслей вкратце вот каков: кому какая выгода от того – простите, может, я уже задавал вам этот вопрос, – так вот, даже если подойти к этому с чисто практической точки зрения, скажите, кому какая выгода от того, что мы лишаем жизнь всей поэзии, всех грез, всей прекрасной мистики и даже всей лжи? В чем истина, разве вы это знаете? Мы ведь двигаемся вперед только благодаря символам и меняем эти символы по мере того, как двигаемся дальше... Но давайте выпьем, а то мы только говорим да говорим...

Доктор встал и прошелся по комнате. Он сердито посмотрел на загнутый у дверей край ковра и тут же встал на колени, чтобы его распрямить.

– Дал бы ты мне, Хансен, хоть на время очки, ну что тебе стоит, ведь ты все равно сидишь и клюешь носом, – в сердцах сказал доктор, окончательно теряя самообладание.

Но Хансен не пожелал расставаться со своими очками, и доктор с досадой от него отвернулся. Он снова сел рядом с Нагелем.

– Да все это вздор, все это, по существу, просто чушь какая-то, если встать на вашу точку зрения, – сказал он. – Быть может, вы отчасти и правы: вот поглядите-ка на Хансена, ха-ха-ха, прошу прощения, что я разрешаю себе смеяться над тобой, Хансен, адвокат и социалист Хансен. Скажи, не испытываешь ли ты всякий раз в глубине души радость, когда два добропорядочных гражданина затевают, тяжбу? Разве кто поверит, что ты постараться их примирить и, значит, не получить ни шиллинга! А в воскресенье ты снова отправишься в рабочий союз и будешь двум ремесленникам и одному мяснику делать доклад о социалистическом государстве. «Да, каждый должен получать вознаграждение по своему труду, – скажешь ты, – все будет организовано по справедливости, никто не окажется обиженным». Но тут встает мясник, мясник, который, убей меня бог, настоящий гений по сравнению со всеми вами, да, так вот он встает и спрашивает: «Лично у меня потребительная способность оптового торговца, но как производитель я всего-навсего простой мясник», – как тогда? Ну, признайся, разве ты не побледнеешь от бешенства?.. Храпи себе да похрапывай, в этом деле ты силен, ничего не скажешь!

Доктор был уже совсем пьян, язык у него заплетался, глаза осоловели. После небольшой паузы он снова обратился к Нагелю и мрачно продолжал:

– Впрочем, я вовсе не считаю, что одни только теологи должны наложить на себя руки. Всем нам, черт меня возьми, давно пора отправиться в тартарары, надо покончить с человечеством раз и навсегда, а земной шарик пусть себе летит ко всем чертям!

Нагель тем временем чокался с Минуткой. Доктор так и не дождался ответа, вконец разозлился и закричал в голос:

– Вы разве не слышите, что я говорю? Всем нам давно пора в тартарары, говорю я. И вам тоже, слышите! Вам тоже!

Доктор просто рассвирепел.

– Да, – отозвался Нагель. – Об этом я уже не раз думал. Но что до меня, то я не нахожу в себе достаточного мужества. – Пауза. – Да, не

буду врать, будто сейчас у меня хватит на это духу, но я заранее заготовил надежное средство и ношу его всегда при себе.

Нагель вынул из кармана жилета маленький полупустой пузырек с этикеткой «яд» и показал присутствующим.

– Синильная кислота, крепчайшая! – сказал он. – Но мне это не под силу, духу не хватит. Господин доктор, вы, конечно, сможете мне сказать, достаточная ли это доза. Половину пузырька мне пришлось уже испытать на одном животном, и знаете, подействовало превосходно: небольшие судороги, смешное подергивание морды, два-три вдоха, и все; одним словом, мат в три хода.

Доктор взял пузырек, посмотрел на него, встряхнул несколько раз и сказал:

– Этого достаточно, более чем достаточно... Собственно говоря, я должен был бы отобрать у вас этот пузырек, но раз у вас не хватает духу, то...

– Да, не хватает.

Пауза. И Нагель сунул пузырек обратно в карман жилета. Доктор пьянел все больше и больше, он потягивал из своего стакана, глядел по сторонам мутными остекленевшими глазами и плевал прямо на пол. Вдруг он крикнул адьюнкту:

– Эй, Холтан, как ты там? Ты еще способен выговорить: «ассоциация идей»? Лично я нет. Спокойной ночи.

Адьюнкт открыл глаза, потянулся, встал, подошел к окну и уставился на улицу. Когда снова завязался разговор, он воспользовался удобным случаем, чтобы удрать. Он прокрался вдоль стены, приоткрыл дверь и прошмыгнул так быстро, что никто не успел этого заметить. Адьюнкт Холтан всегда так покидал общество.

Минутка тоже поднялся, чтобы уйти, но когда хозяин попросил его остаться еще хоть ненадолго, снова сел. Адвокат Хансен спал. Трезвыми были еще только трое – студент Эйен, Минутка и Нагель, и они заговорили о литературе. Доктор слушал, полузакрыв глаза, но сам уже не проронил ни слова. Вскоре и он заснул.

Студент оказался весьма начитанным и питал особое пристрастие к Мопассану. Разве можно отрицать, что он проник в самые тайники женской души? А как поэт любви он стоит просто на недостижимой высоте. Что за смелость изображения, что за удивительное знание человеческого сердца! Но Нагель тут же стал ему возражать со

смешной запальчивостью: стучал кулаком по столу, кричал, разносил всех писателей в пух и прах – пощадил он только нескольких. Видимо, в гневе своем он был совершенно искренен, потому что тяжело дышал, до того он горячился, и даже пена выступила у него на губах.

– Поэты, поэты! Разве можно отрицать, что они проникли в тайники человеческого сердца! Но кто они, эти поэты, эти надменные и кичливые гордецы, которым удалось захватить такую власть в современном мире? Это язвы, нарывы на теле общества, набрякшие, воспаленные гнойники, к которым прикасаться можно лишь очень нежно, с осторожностью, чуть ли не с пиететом, потому что они не выносят суровой руки. Да, да, с поэтами нужна обходительность, особенно с самыми глупыми и самыми темными, так сказать, со всякой нечистью, а не то, чего доброго, они обидятся и укатят за границу! Ха-ха-ха, за границу, да! Боже праведный, что за уморительная комедия! А если вдруг появится тот настоящий вдохновенный певец, у которого в душе звучит музыка, бьюсь об заклад, его поставят далеко позади такого грубого романиста-профессионала, как Мопассан. Он писал много о любви и доказал, что умеет сочинять книги, которые ходко идут. Что правда, то правда. А маленькая, но ослепительная звездочка, подлинный поэт в самом полном смысле этого слова – Альфред де Мюссе, у которого любовь не чувственный шаблон, а пронзительно-нежная и пылкая весенняя мелодия, звучащая в душе его героя, Альфред де Мюссе, у которого слова яркими вспышками озаряют каждую строчку, – у такого поэта в два раза меньше почитателей, чем у вашего ничтожного Мопассана с его вульгарной и бездушной поэзией бедер...

Нагель словно с цепи сорвался. Он нашел повод наброситься на Виктора Гюго, да и вообще послать к чертям всех величайших писателей мира. Не разрешат ли ему привести один маленький пример в доказательство полного пустословия стихов поэта с мировой славой. Извольте: «Пусть будет сталь твоя такою же разящей, как „нет“ последнее твое». Недурно звучит? Не правда ли? Как повашему, господин Грегорд?

Говоря это, Нагель пристально глядел на Минутку. Не сводя с него взгляда, он еще раз повторил эту пустую строку. Минутка не ответил, он только выпучил свои голубые глаза и от растерянности хлебнул большой поток из своего стакана.

– Вот тут кто-то упомянул Ибсена, – продолжал все так же возбужденно Нагель, хотя никто не называл этого имени, – на мой взгляд, в Норвегии есть только один писатель, и это ни в коем разе не Ибсен. Об Ибсене говорят как о мыслителе. Но разве можно не отличать дешевого резонерства от истинной мысли! Толкуют о славе Ибсена, нам все уши прожужжали о его мужестве, но разве не следует хоть как-то отличать мужество на словах от мужества на деле, крикливый домашний бунт от бескорыстного и беззаветного революционного порыва? Первый лишь огушивает в театре, второй же озаряет светом жизнь. Норвежского писателя, который без устали воюет штопальной иглой вместо копья, нельзя считать истинно норвежским писателем. Но ничего не поделаешь, приходится тормозиться, иначе не прослывешь мужественным муравьем. До чего же забавно плядеть на эту возню со стороны! Шума, крику на этом ристалище не меньше, чем на полях наполеоновских битв, да и отваги нужно не меньше, вот только опасности и риска столько же, сколько во французской дуэли. Ха-ха-ха!.. Нет, тот, кто намерен восставать, не должен быть этакой литературной достопримечательностью, чисто отвлеченным понятием в духе немецких профессоров, он должен быть дееспособным человеком, который готов первым кинуться в самую гущу жизненной схватки. Революционный восторг никогда не увлекал Ибсена на тонкий лед, а рассуждение насчет трупа в трюме окажется жалкой узковедомственной теорией, если ей противопоставить живое, пламенное дело. Хотя одно, возможно, и стоит другого, раз мы все падаем ниц перед таким дамским занятием, как сочинение книжек в расчете на успех у публики. Каким бы ничтожным оно ни было, впрочем, оно, во всяком случае, не менее ценно, чем бесстыжая философская болтовня Льва Толстого. К черту все это!

– Все? Все к черту?

– Да, почти. Впрочем, был и у нас поэт, это – Бьернсон в его лучшие минуты. Он единственный у нас, несмотря ни на что, несмотря ни на что...

– А разве большинство обвинений против Толстого не относится и к Бьернсону? Разве Бьернсон не проповедник, выступающий в защиту определенных нравственных устоев, самый обыкновенный, скучный старик, профессиональный писатель, или как там еще?..

– Нет! – громко крикнул Нагель и стал, сильно жестикулируя от возбуждения, горячо защищать Бьернсона: нельзя ставить на одну доску Бьернсона и Толстого хотя бы потому, что против этого восстает даже жалкий разум первого попавшегося агронома, не говоря уже о том, что такому суждению противится элементарное человеческое чувство. Во-первых, Бьернсон не меньший гений, чем Толстой. Он, Нагель, не очень-то высоко ставит обычных вульгарных гениев, – да, видит бог, совсем невысоко, – но все же надо признать, что их уровня Толстой достиг, тогда как Бьернсон поднялся неизмеримо выше. Впрочем, это, конечно, совершенно не мешает Толстому писать книги куда лучшие, чем большинство книг Бьернсона, но что из этого? Ведь хорошие книги пишут датские капитаны, норвежские художники и английские женщины. А во-вторых, Бьернсон – человек, ошеломляющая личность, а не отвлеченное понятие. Да, он живой человек, из плоти и крови, он шумит на нашей грешной земле, и ему нужно в сорок раз больше жизненного пространства, чем простому смертному. Он вовсе не стремится предстать перед людьми как некий сфинкс, не пытается окружить себя величием и таинственностью, как Толстой в своей степи или Ибсен в своем кафе. Сердце у него словно лес в бурю, он вездесущ и великолепно развенчивает себя в глазах публики, смешиваясь с толпой в кафе «Гранд». Он создан, так сказать, en masse, это – могучий дух, один из немногих, рожденных быть вождем. Стоя на трибуне, он одним движением руки может прекратить поднимающийся свист. В его мозгу непрерывно возникают новые мысли, им тесно, они рвутся наружу; побеждает он триумфально, ошибается грубо, но и в том и в другом сказывается его личность, его дух. Бьернсон – наш единственный поэт с подлинным вдохновением, с искрой божьей. В нем вдруг начинает что-то звучать, какой-то пагудок, – словно едва уловимый шелест колосьев летним днем, когда вдруг налетает ветерок, но ржаное поле гудит себе и гудит, и вскоре уже ничего, ничего не слышишь, кроме этого гула; так завораживают нас все переливы и движения его души – переливы и движения гения. Рядом с Бьернсоном творчество, например, Ибсена кажется чисто механической конторской работой. В стихах Ибсена нет ничего, кроме рифм, со скрипом подогнанных друг к другу, а пьесы его, – это какая-то древесная масса, кучи опилок, разделенных на

акты. На кой черт это нужно... Впрочем, довольно об этом, ваше здоровье, господа...

Два часа ночи. Минутка зевает. После трудового дня его клонит ко сну, он устал от нескончаемой болтовни Нагеля, и он снова встает, чтобы уйти. Когда он уже со всеми попрощался и доплелся наконец до двери, произошло одно непредвиденное событие, которое его снова задержало, – событие, надо сказать, совершенно ничтожное, но получившее вдруг в дальнейшем огромное значение: доктор проснулся, потянулся спросонья и из-за своей близорукости ненароком опрокинул несколько стаканов; Нагель, который ближе всех сидел к доктору, был весь облит шампанским. Он вскочил, стал, смеясь, отряхивать мокрую грудь и громко прокричал «ура».

Минутка тут же поспешил на помощь, он кинулся со всех ног к Нагелю, схватил салфетку, вытащил платок и стал вытирать Нагеля. Больше всего пострадал жилет; если бы он только согласился снять его, снять буквально на одно мгновение, и тут же все будет в порядке. Но Нагель не пожелал снимать жилета. От шума проснулся и адвокат и тоже завопил «ура», хотя и не знал, что происходит. Минутка снова стал просить Нагеля снять жилет, но Нагель только покачал головой. Потом он вдруг поглядел на Минутку, и при этом ему явно что-то пришло в голову. Он мигом снял жилет и порывисто передал его Минутке.

– Прошу вас, посушите его и оставьте себе, – сказал он. – У вас ведь нет жилета. Молчите, тут не о чем говорить! Я дарю вам его от всего сердца, дорогой друг.

Но так как Минутка все отказывался. Нагель сунул ему жилет под мышку, распахнул дверь и дружески вытолкнул его из комнаты.

И Минутка ушел.

Все это произошло так стремительно, что никто, кроме Эйена, сидевшего ближе всех к двери, ничего не заметил.

Адвокат в пьяном кураже предложил разбить остальные стаканы. Нагель этому не воспротивился, и вот четверо взрослых людей стали забавляться тем, что швыряли об стену один стакан за другим, пока все не перебили. Затем они снова пили, но уже прямо из бутылок, горланили песни, как пьяные матросы, и плясали, ставши в круг. Этот хмельной разгул не прекращался до четырех утра. Доктор был пьян в

стельку. Уже стоя в дверях, студент Эйен обернулся к Нагелю и сказал:

– Но то, что вы говорите о Толстом, с тем же основанием можно сказать и о Бьернсоне. Вы непоследовательны в своих оценках...

– Ха-ха-ха! – Доктор хохотал как одержимый. – Он требует последовательности!.. В столь поздний час! Скажите, вы можете произнести слово «энциклопедисты», мой дорогой? А как насчет «ассоциации идей»? Ну, пошли, я помогу вам добраться до дома... Ха-ха-ха... В столь поздний час!..

Дождь прекратился. Но небо по-прежнему было затянуто, и солнце не показывалось. Однако погода стояла безветренная, и все предвещало мягкий день.

На следующее утро, очень рано, Минутка уже снова был в гостинице. Он тихо вошел в номер Нагеля, положил на стол его часы, несколько бумажек, огрызок карандаша и пузырек с ядом и хотел было так же тихо удалиться, но тут проснулся Нагель, и Минутке пришлось объяснить, зачем он пришел.

– Эти вещи я нашел в карманах вашего жилета, – сказал он.

– В карманах жилета? Ах да, черт возьми, верно, верно! А который теперь час?

– Восемь. Но ваши часы стоят, я не хотел их заводить.

– Надеюсь, вы не выпили синильную кислоту?

Минутка улыбнулся и покачал головой.

– Нет, – ответил он.

– И даже не попробовали? Тут было пол-пузырька, давайте-ка посмотрю.

Минутка протянул ему пузырек, чтобы он убедился, что осталось столько же кислоты, сколько было.

– Хорошо. Так вы говорите, сейчас восемь? Время вставать... Да, пока я не забыл, Грегорд, не могли бы вы раздобыть мне где-нибудь напрокат скрипку? Я попробую, мне хотелось бы научиться... Ну, все это, конечно, глупости... Дело вот в чем: я хотел бы купить скрипку, чтобы подарить ее одному знакомому; мне она нужна не для себя. Вы должны во что бы то ни стало приискать мне скрипку, хоть из-под земли, но достаньте!

Минутка постарается исполнить эту просьбу, уж он, поверьте, сделает все, что будет в его силах.

– Весьма вам благодарен. Загляните ко мне, когда будет охота. Дорогу вы уже знаете. Всего доброго.

Час спустя Нагель уже был в лесу, прилегавшем к дому пастора. Земля еще не просохла после дождя, который накануне лил весь день, а солнце пробивалось сквозь тучи и мало грело. Он присел на камень и уставился на дорогу. Он сразу заметил знакомые следы на мягком песке и был теперь почти уверен, что это следы Дагни, что она пошла

в город. Он довольно долго ждал понапрасну, решил наконец отправиться ей навстречу и поднялся с камня.

И действительно, он не ошибся, – на опушке леса он ее встретил. В руках у нее была книга – «Гертруда Кольбьернсен» Скрама.

Они поговорили немного об этой книге, потом она сказала:

– Представляете себе... наша собака погибла.

– Неужели? – переспросил он.

– Несколько дней назад. Мы нашли ее уже окоченевшей. Не могу понять, отчего это произошло.

– А по-моему, у вас была на редкость противная собака; простите, пожалуйста, но бульдоги со вздернутыми носами и мордами, похожими на наглые человеческие лица, меня всегда отталкивали. Когда он глядел на кого-нибудь, уголки его губ опускались, словно он нес бремя мировой скорби. Не буду скрывать, я рад, что он околел.

– Как вам не стыдно...

Но он нервно прервал ее, явно желая по той или иной причине перевести разговор на другую тему. Он вдруг ни с того ни с сего заговорил об одном человеке, с которым ему когда-то довелось повстречаться и который оказался удивительно забавным. Человек этот слегка з-заикался, и он этого не скрывал, напротив, он старался з-заикаться даже нарочно, чтобы подчеркнуть свой недостаток. При этом у него были самые странные понятия о женщинах. Первым делом он обычно рассказывал одну историю про Мексику, которая в его устах звучала особенно комично. Однажды зимой там стояли трескучие морозы, термометры буквально лопались от холода, а люди сутками не решались выходить из дому. Но вот в какой-то день этому человеку все же пришлось отправиться в соседний город, он шел по пустынной местности, только изредка на пути попадались одинокие строения, а холодный ветер обжигал ему лицо. И в эту невероятную стужу из хижины, которую он уже миновал, вдруг выскакивает полуголая женщина и бежит за ним, пытаясь его догнать, и все время кричит: «У вас белый нос, берегитесь, вы идете, а у вас отморожен нос!» У женщины в руках был ковшик, рукава у нее были засучены. Она увидела в окно совершенно чужого человека, у которого побелел нос от мороза, и она бросила свою работу и побежала за ним, чтобы его предупредить. Ха-ха, слышали ли вы что-либо подобное! Она стоит с засученными рукавами на ледяном ветру, и на ее правой щеке

появляется небольшое белое пятнышко, которое мало-помалу расплзается на всю щеку! Ха-ха-ха, не правда ли, трудно поверить?.. Но несмотря на этот случай и на многие другие примеры женской самоотверженности, которые знал наш заика, он по этой части проявлял удивительную твердолобость. «Женщины странные и ненасытные существа, – говорил он мне, не объясняя, однако, почему он считает их такими уж странными и ненасытными. – Просто невероятно, что им иногда взбредет в голову!» – говорил он и рассказывал следующую историю: «У меня был друг, который влюбился в молодую девушку, звали ее как будто Кларой. Чего он только не делал, чтобы покорить сердце этой особы, но все было напрасно – Клара и слышать о нем не желала, хотя он был красивый и вполне добропорядочный молодой человек. У этой самой Клары была сестра, на редкость уродливое, кривобокое и горбатое создание; и вот ей-то мой друг сделал в один прекрасный день предложение. Одному богу известно, почему он так поступил, быть может, из расчета, а быть может, в самом деле влюбился, несмотря на все ее уродство. Так что же делает Клара? Да, вот тут и проявилась женская натура в своем естестве. Клара бьется в истерике, Клара устраивает форменный скандал: „Он на мне хотел жениться! На мне! – вопит она. – Но меня ему не видеть как своих ушей, не желаю, ни за что на свете я не выйду за него!“ Ну и что вы думаете, он женился на ее горбатой сестре, в которую, видимо, сильно влюбился? Нет! В этом-то и вся соль истории. Клара не пожелала уступить его горбунье! Ха-ха-ха! Да, раз он поначалу хотел жениться на ней самой, то теперь не получит и кривобокую уродки, хотя вряд ли кто-нибудь другой отважился бы предложить той руку и сердце. Таким образом мой друг потерпел двойное фиаско». Подобных историй было у этого заики превеликое множество, и рассказывал он их чертовски забавно именно потому, что заикался. Впрочем, он вообще был весьма загадочный человек... Я вам не наскучил?

– Нет, – ответила Дагни.

– Да, так это был, значит, весьма загадочный человек. Он был такой жадный, да при этом еще и так нечист на руку, что мог, например, срезать кожаный ремень с окна вагона в поезде и прихватить его с собой – пригодится, мол, на что-нибудь. Да, он был вполне способен отмочить такую шутку; говорят, его даже как-то

поймали на мелком воровстве. Но при этом иногда, под настроение, он швырял деньги не считая. Однажды, например, ему взбрело в голову устроить большую прогулку в колясках. Но знакомых в этом городе у него, увы, не было, поэтому он нанял для себя одного двадцать четыре экипажа. Двадцать три ехали впереди порожняком, а в последнем, двадцать четвертом, сидел он сам, важно поглядывая на людей, прогуливающих пешком, да что там сидел – восседал, гордый как бог; он, мол, устроил такой великолепный кортеж!..

Нагель говорил без умолку, переходя от одной истории к другой, но успеха не имел: Дагни едва его слушала. Тогда он вдруг замолчал и собрался с мыслями. Какого черта он порет всю эту чушь, строит из себя эдакого шута горохового! Занимать молодую даму, да еще даму сердца бессмысленной болтовней об отмороженном носе или о двадцати четырех экипажах! И вдруг он вспомнил, что уже однажды опозорился, отпустив плоскую остроту насчет эскимоса и портфеля. При этом воспоминании кровь бросилась ему в лицо, он весь передернулся и замедлил шаг. Что за черт, почему он не может совладать с собой! Какой стыд! Эти минуты, когда он несет несусветный вздор и выставляет себя в дурацком виде, унижают его и сводят на нет все, чего он добился за долгие недели. Бог мой, что она должна думать о нем!

– Так сколько же дней осталось до благотворительного базара? – спросил он.

Она улыбнулась и сказала:

– Почему вы все говорите, говорите?.. Почему вы так нервничаете?

Этот вопрос явился для него таким неожиданным, что он взглянул на нее в полной растерянности. Потом он ответил:

– Фрекен Хьеллан, в нашу последнюю встречу я обещал вам, что если нам еще раз доведется увидеться, я буду говорить о чем угодно, но только не о том, о чем вы мне запретили говорить. Я пытаюсь сдержать свое обещание, до сих пор мне это удавалось.

Голос его был глухим, сердце отчаянно колотилось.

– Да, – сказала она. – Обещания надо держать, обещания надо держать.

Эта фраза прозвучала так, словно была обращена скорее к ней самой, нежели к нему.

– Еще до вашего прихода я решил попытаться сдержать свое слово. Я знал, что вас здесь встречу.

– Откуда вы могли это знать?

– Я заметил ваши следы на дороге.

Она вскинула на него глаза, но промолчала. А немного погодя сказала:

– У вас забинтована рука. Что случилось?

– Ваш пес укусил меня, – ответил он.

Они стояли и глядели друг на друга.

Он стиснул руки и заговорил, хотя это было ему мучительно трудно:

– Каждую ночь я приходил сюда, в лес, каждую ночь я стоял под вашими окнами перед тем, как пойти спать. Простите меня, это ведь не преступление. Вы запретили мне это, но я все же приходил, тут уж ничего не поделаешь; ваш пес укусил меня, он боролся за свою жизнь, я убил его, я дал ему яду, потому что он всегда лаял, когда я приходил пожелать доброй ночи вашим окнам.

– Вот оно что! Так, значит, это вы убили нашу собаку?

– Да, – ответил он.

Пауза. Они по-прежнему стояли неподвижно и глядели друг на друга. Он тяжело дышал.

– Я готов свершить куда более ужасные вещи, чтобы только увидеть вас. Вы и понятия не имеете о том, как я страдаю, как я денно и ночью всецело поглощен вами. Нет, об этом вы не имеете понятия! Я разговариваю с людьми, смеюсь, я даже устраиваю веселые попойки – этой ночью у меня засиделись гости до четырех утра, и дело кончилось тем, что мы перебили все стаканы, – но даже когда я пью вместе с другими или пою с ними песни, я неотвязно думаю о вас, и это приводит меня в отчаяние. Меня ничто больше не интересует, и я просто не знаю, что со мной будет дальше. Пожалейте меня и не уходите еще две минуты, я хочу вам кое-что сказать. Не тревожьтесь, пожалуйста, я не буду ни пугать вас, ни обольщать, я только должен говорить с вами, это сильнее меня.

– Я вижу, что вы не образумились, – сказала она жестко. – Ведь вы мне обещали...

– Да, наверно; точно не знаю, возможно, я и обещал образумиться. Но мне так трудно, у меня это так плохо получается. Ну

ладно, ладно, я буду благоразумен, можете положиться на меня. Но как мне это осуществить, вы знаете? Научите меня. Представьте себе, что я однажды чуть было не ворвался к вам в дом. Я готов был взломать вашу дверь и войти прямо к вам, даже если вы были не одна. Но поверьте, я изо всех сил боролся с этим наваждением, я оговаривал вас как мог, всячески пытаюсь уменьшить вашу власть надо мной, развенчивал вас в глазах других людей. Но не подумайте, что я делал это, чтобы отомстить вам, нет, вы должны понять, что я дошел до крайности и пытался лишь немного взбодрить себя, научиться стискивать зубы и хоть немного подняться в своих собственных глазах. Вот почему я дурно говорил о вас. Но я не знаю, помогло ли мне это. Я даже хотел уехать, хотел, но не смог. Я принялся было складывать вещи, но бросил и никуда не уехал. Как я могу уехать! Вот если бы вы уехали, я повсюду бы следовал за вами. И даже если бы я вас не догнал, я продолжал бы ездить по вашим следам и искал бы вас неустанно в надежде в конце концов где-нибудь вас найти, а когда мне стало бы ясно, что все мои усилия тщетны, я научился бы довольствоваться все меньшим и меньшим и радовался бы тому, что мне, быть может, удастся встретить кого-нибудь, кто прежде бывал у вас, скажем, подругу, которая когда-то держала вас за руку или которой вы улыбались в счастливые дни. Вот как я бы жил. Так могу ли я уехать отсюда? К тому же сейчас лето. Этот лес – мой храм, и все птицы здесь знают меня, они встречают меня каждое утро, склоняют набок головки и смотрят. Я никогда не забуду, как в первый вечер, когда я приехал сюда, город был украшен флагами в вашу честь, это произвело на меня огромное впечатление, переполнило душу странным чувством симпатии, но вместо того, чтобы сойти на берег, я как очарованный ходил взад-вперед по палубе и глядел на флаги. Да, то был удивительный вечер... Но и потом мне не раз бывало так необычайно хорошо: каждый день я хожу по той же дороге, что и вы, а иногда мне даже выпадает счастье увидеть на дороге ваши следы, вот как сегодня, и тогда я жду вас до тех пор, пока вы не возвратитесь домой, я прячусь где-нибудь здесь, в лесу, ложусь ничком за валун и жду вас. После нашего последнего разговора я видел вас два раза, причем один раз прождал шесть часов. И все эти шесть часов я пролежал за валуном, не вставая из страха, что вы вдруг появитесь и я

попадусь вам на глаза. Бог его знает, где вы были так долго в тот день...

– Я была у Андерсенов, – вдруг сказала она.

– Да, возможно, и я все-таки дождался вас. Вы были не одна, но я видел вас очень хорошо и тихо послал вам свой привет из-за камня. Кто знает, что за мысль промелькнула у вас, но вы повернули в тот момент голову и поглядели на валун, за которым я лежал...

– Послушайте... Вы вздрогнули, словно я должна сейчас произнести вам смертный приговор...

– Так оно и есть, я это прекрасно понимаю, ваши глаза стали холодны как сталь.

– Да, этому в самом деле надо положить конец, господин Нагель! Если бы вы все обдумали как следует, то сами бы поняли, что ведете себя не очень благородно по отношению к тому, кто уехал. Ведь верно? Поставьте себя на его место... Не говоря уже о том, что и мне это очень тяжело. Чего вы, собственно, от меня добиваетесь? Позвольте мне сказать вам раз и навсегда: я не нарушу данного слова, я люблю его. Теперь, надеюсь, вам все ясно. Будьте сдержанней; я действительно не захочу видеть вас, если вы не проявите ко мне должного уважения. Я говорю вам это совершенно откровенно.

Дагни была взволнована, губы ее дрожали, и она изо всех сил старалась сдержать слезы. Так как Нагель молчал, она добавила:

– Вы можете проводить меня домой, до самого дома, если хотите, но, конечно, при условии, что не сделаете ничего такого, что нам обоим будет неприятно. Расскажите мне что-нибудь, я буду вам благодарна, я люблю слушать.

– Да, – сказал он вдруг громким, ликующим голосом, словно в нем проснулся совсем другой человек, – да, только бы мне быть с вами! Конечно, я сейчас расскажу вам... Когда вы на меня сердитесь, вы меня словно окатываете холодной водой, я леденею.

Они долго говорили о совершенно безразличных вещах. Шли они так медленно, что почти не двигались с места.

– Какой запах, какой запах! – сказал он. – Как буйно растут после дождя трава и цветы! Не знаю, интересуют ли вас деревья? Это может показаться странным, но я чувствую какое-то таинственное сродство с каждым деревом в лесу. Словно я сам когда-то принадлежал лесу; я стою здесь и пляжу вокруг, и во мне шевелятся какие-то смутные

воспоминания, они захватывают меня целиком. Постойте минутку! Прислушайтесь! Слышите, как истошно поют птицы, радуясь солнцу? Они совсем ошалели, летят прямо на нас, ничего не видят.

И они пошли дальше.

– Передо мной все еще стоит тот образ, который вы вызвали в моем воображении – лодка с парусом в виде полумесяца из голубого шелка, – сказала она, – это так красиво! Когда небо такое высокое, как сейчас, и такое глубокое, мне тоже начинает казаться, что я сама качаюсь там на волнах и ужу рыбу серебряной удочкой.

– Да, верно, сидеть в такой лодке куда больше подходит вам, чем мне.

Когда они дошли примерно до середины леса, она имела неосторожность спросить:

– Сколько вы еще здесь пробудете?

Она тут же пожалела о своем вопросе, ей хотелось бы взять его назад; но она сразу успокоилась, потому что он улыбнулся и уклонился от прямого ответа. Она была ему благодарна за проявленный им такт; он, наверное, заметил ее смущение.

– Ведь я живу там, где вы, – ответил он. – Я буду жить здесь, пока у меня хватит денег, – и добавил: – Одним словом, не очень долго.

Она поглядела на него, тоже улыбнулась и сказала:

– Не очень долго? А я слыхала, вы богаты.

На его лице снова появилось то таинственное выражение, которое бывало у него и прежде, и он ответил:

– Я богат? Послушайте, в городе ходят слухи, что я богач, что у меня, в частности, есть имение, стоящее немалую сумму, – но это все неправда. Прошу вас, не верьте этому, все это сказки. Нет у меня никакого имения, а просто крошечный клочок земли, и принадлежит он не мне одному, но и моей сестре тоже, да и то он фактически обесценен закладными и долгами. Поверьте, это истинная правда.

Она недоверчиво рассмеялась и сказала:

– Да, я уж знаю, когда речь идет о вас, вы всегда говорите только правду.

– Вы мне не верите? Сомневаетесь в том, что я говорю? Тогда разрешите рассказать вам, хотя для меня это и будет унижительно, но все же разрешите рассказать вам по порядку, как было дело. Вы, наверно, знаете, что в первый же день моего пребывания здесь, в

городе, я прошел пять миль пешком, чтобы добраться до ближайшего городка, и послал оттуда самому себе три телеграммы, в которых говорилось о крупной сумме денег и об имении в Финляндии. Получив эти телеграммы, я оставил их распечатанными на столе в моем номере, они валялись там несколько дней, чтобы все в гостинице об этом узнали. Теперь вы мне верите? Разве история о моем состоянии – не грубый розыгрыш?

– Если только вы снова не клеветеете на самого себя.

– Снова? Вы ошибаетесь, фрекен. Бог свидетель, я не лгу. Вот так.

Пауза.

– Но зачем вы это сделали, зачем вы посылаете самому себе телеграммы?

– Да, видите ли, если объяснить вам все по порядку, получится, пожалуй, чересчур длинно... Впрочем, можно и в двух словах: я сделал это, чтобы пустить пыль в глаза, чтобы привлечь к себе внимание в городе. Ха-ха-ха, вот вам все начистоту.

– Вы лжете!

– Клянусь, не лгу!

Пауза.

– Станный вы человек. Одному богу известно, чего вы добиваетесь. Сперва вы идете рядом со мной и... да, и, не стесняясь, делаете мне самые страстные признания; но стоило мне одной фразой призвать вас к благоразумию, как вы тут же обернулись другим человеком, выставляете себя шарлатаном, лжецом, обманщиком, бог знает кем... К чему все эти ухищрения? Поверьте, ни то, ни другое нимало меня не трогает. Я слишком уравновешенный человек. Вся эта гениальность мне недоступна.

Она вдруг почувствовала себя оскорбленной.

– Сейчас я вовсе не собирался проявлять особой гениальности. Ведь для меня все потеряно; стоит ли зря стараться?

– Но зачем же вы мне рассказываете при каждом удобном случае что-то гадкое о себе? – воскликнула она гневно.

Он ответил медленно, с полным самообладанием:

– Чтобы произвести на вас впечатление, фрекен.

Они снова стояли и смотрели друг на друга. Он продолжал:

– Я уже имел как-то удовольствие сказать вам несколько слов о моем методе. Вы спрашиваете, почему я всегда выбалтываю свои

секреты как бы во вред себе, хотя легко мог бы сохранить их в тайне. Я вам отвечу: я делаю это целенаправленно, из расчета. Мне представляется, что моя искренность все же не может не произвести на вас известного впечатления, хоть вы это и отрицаете. Во всяком случае, я надеюсь, что вы почувствуете некоторое уважение ко мне благодаря тому беспощадному равнодушию, с которым я разоблачаю самого себя. Быть может, мой расчет и неверен, вполне это допускаю, уж тут ничего не поделаешь. Но даже если я и ошибаюсь, то ведь вы для меня все равно потеряны, и больше мне терять нечего. Можно прийти до такого состояния, это отчаяние, игра ва-банк. Я сам помогаю вам предъявлять мне обвинения и укрепляю вас таким образом по мере своих сил в вашем решении оттолкнуть меня, совсем оттолкнуть. Почему я это делаю? Да потому, что меня с души воротит говорить что-либо в свою пользу и таким жалким способом что-то выгадывать, да у меня в жизни на это язык не повернется. Но – можете вы сказать – я пытаюсь хитростью, окольными путями достичь того, чего другие достигают наивной откровенностью. Ах... Впрочем, нет, я не стану себя защищать. Называйте это надувательством, почему бы и нет, это вполне подходящее слово; я сам готов добавить, что это прямой обман. Хорошо, итак, это надувательство, я не защищаю себя, вы правы, существо мое – в сплошном надувательстве. Но ведь мало кто из людей обходится без вранья, в большей или меньшей мере все к нему прибегают; а раз так, то не стоит ли одно другого, ибо надувательство, пусть даже скрытое, все равно остается надувательством... Чувствую, я сел на своего любимого конька, и я охотно поскакал бы на нем немного... Но нет, не буду; господа, до чего же я устал от всего! Я говорю себе: пусть все идет как идет, пусть! Точка!.. Кто бы мог, например, подумать, что в доме у доктора Стенерсена не все благополучно? Впрочем, я и не утверждаю, что это так, я просто спрашиваю, может ли хоть кому-нибудь прийти в голову заподозрить в чем-то такую почтенную семью? Она состоит всего из двоих: мужа и жены, детей у них нет, серьезных забот – тоже нет, и все-таки не затесался ли туда еще третий? Одному богу это известно, но, быть может, там все же есть третий, молодой человек, чересчур пылкий друг дома, поверенный Рейнерт. Что тут скажешь? Может, виноваты обе стороны. Не исключено даже, что доктор в курсе дела и тем не менее не в силах ничего изменить, во всяком случае, сегодня

ночью он очень много пил, и ему так опостылело все, все на свете, что он предлагал уничтожить человеческий род с помощью синильной кислоты, а земной шарик пусть себе летит ко всем чертям! Бедняга!.. Но он отнюдь не единственный, который по пояс увяз во лжи, даже если исключить меня – Нагеля, которого ложь засосала по горло. А что, если я назову вам, например. Минутку? Добрая душа, праведник, мученик! О нем можно сказать одно лишь хорошее, но я слежу за ним. Говорю вам, он у меня на подозрении! Вы поражены? Я испугал вас? Я этого не хотел. Но позвольте мне успокоить вас – Минутку никто не совратит с пути истинного, он в самом деле праведник. И почему только я не спускаю с него глаз, почему я наблюдаю за ним, притаившись за углом дома, когда он возвращается к себе после невинной прогулки в два часа ночи – в два часа ночи?! Почему я подглядываю, как он разносит свои мешки, как здоровается с людьми на улице? Да не почему, дорогая фрекен, не почему! Просто он меня интересует, я люблю его, и меня сейчас радует, что я могу представить его среди всего этого обмана как чистого человека, как праведника. Только поэтому я и упомянул о нем, и вы наверняка меня поняли. Ха-ха-ха... Ну, а если говорить обо мне... Нет, нет, я не хочу, не хочу больше говорить о самом себе! О чем угодно, только не о себе!

Эти последние слова вырвались у него так непосредственно и прозвучали так искренне и печально, что она преисполнилась к нему сочувствия. Она поняла в этот миг, что перед ней исстрадавшаяся, истерзанная душа. Но так как он тут же постарался сплести у нее это впечатление, громко рассмеялся и снова стал клясться, что все на свете – чистое надувательство, ее теплое чувство тут же растаяло.

– Вы бросили какие-то грязные намеки по адресу фру Стенерсен, – сказала она резко, – это низко с вашей стороны, и было бы также низко, будь они даже менее грубыми. Минутку, этого несчастного калеку, вы тоже не пощадите. Хорош рыцарь, ничего не скажешь! Все это так гадко, так недостойно!

Она пошла дальше, и он последовал за ней. Он не отвечал, он шел, опустив голову. Несколько раз его плечи вздрогнули, и к своему полному изумлению она увидела, что две большие слезы скатились по его лицу. Он отвернулся, чтобы это скрыть, и стал свистом подманывать какую-то птицу.

Некоторое время они шли молча. Она была тронута и раскаивалась в своих жестоких словах. Быть может, то, что он говорил, и правда. Что она знает? Быть может, этот человек увидел за несколько недель больше, чем она за долгие годы?

Они все еще шли молча. Он совершенно успокоился и равнодушно поигрывал своим носовым платком. До пасторской усадьбы было уже совсем близко.

– Вы сильно поранили руку? Можно, я посмотрю? – спросила она вдруг.

Хотела ли она ободрить его своим вниманием или действительно поддалась в эту минуту его состоянию, но произнесла Дагни эти слова задушевно, пожалуй, даже взволнованно; и она остановилась.

И тогда что-то прорвалось в нем. В этот миг, когда она, наклонившись к его руке, стояла так близко от него, что он вдыхал запах ее волос и шеи, в этот миг, когда они оба не могли вымолвить ни слова, чувство захлестнуло его, и он весь отдался безумному порыву. Он обнял ее сперва одной рукой, потом, когда она попыталась отстраниться, двумя. Он долго и нежно прижимал ее к себе, почти оторвав от земли. Вдруг он почувствовал, что спина ее изогнулась и она затихла. Как-то сразу отяжелев, она прильнула к его груди и подняла на него затуманившиеся глаза. До чего она была хороша! Он шептал ей, что она необычайна, необычайна и что до конца его дней она будет его единственной любовью. Один человек уже умер ради нее, и он тоже готов умереть по одному ее слову, по одному знаку. О, как он ее любит! И он твердил без конца, все крепче прижимая ее к себе: «Я люблю тебя, я люблю тебя».

Она не сопротивлялась ему больше, голова ее слегка склонилась к его левой руке, и он горячо целовал Дагни и шептал нежные слова. Он отчетливо чувствовал, что она сама прижимается к нему, а когда он ее целовал, она еще плотнее закрывала глаза.

– Приходи завтра к дереву. К тому дереву, помнишь, к осине... Приходи ко мне, Дагни, я люблю тебя! Ты придешь? Приди, когда хочешь. В семь часов...

На это она ничего не ответила и только сказала:

– Теперь пустите меня.

И она медленно высвободилась из его объятий.

Несколько мгновений она стояла, растерянно глядя по сторонам, и лицо ее принимало все более и более горькое выражение, потом губы начали судорожно подергиваться, она с трудом дошла до камня у тропинки и села на него. Она плакала.

Нагель склонился над ней и стал что-то тихо говорить. Прошло несколько минут. Вдруг она вскочила с побелевшим от ярости лицом и, прижав к груди стиснутые кулаки, закричала в бешенстве:

– Вы подлый человек! О боже, до чего же вы подлы! Вы сами этого, наверно, не понимаете. Как вы могли, как вы могли это сделать?

И она снова расплакалась.

Он опять попытался ее успокоить, но безуспешно. Полчаса простояли они у этого камня и никак не могли двинуться с места.

– И вы еще требовали, чтобы я пришла к вам на свиданье, – сказала она. – Я не желаю больше встречаться с вами, видеть вас больше не хочу! Вы подлец!

Он молил о прощении, бросился перед ней на колени, целовал подол ее платья. Но она все твердила, что он подлец, что он вел себя низко. Что он с ней сделал? Пусть он уйдет, уйдет прочь! Она запрещает ему идти с ней рядом. Ни единого шага!

Дагни повернулась и пошла по направлению к дому.

Он все же хотел было пойти за ней, но она, повелительно подняв руку, сказала:

– Не смейте! Слышите, не смейте!..

Он стоял и смотрел ей вслед, пока она не удалилась шагов на двадцать; тогда он, сжав кулаки, бросился ей вдогонку, несмотря на ее запрет, и снова остановил ее.

– Я не сделаю вам ничего плохого, – сказал он. – Но имейте же ко мне хоть каплю сострадания! Видите, я стою перед вами. Я готов умереть только для того, чтобы избавить вас от себя. Скажите хоть одно слово, и я умру. Это же я повторю вам завтра, если только увижу вас. Но вы могли бы мне оказать милость и быть ко мне справедливой. Поймите же наконец, что я всецело подвластен силе, которая исходит от вас, и мне не дано ее побороть. Моя вина разве только в том, что я встретил вас на своем пути. Дай вам бог никогда не переживать моих нынешних страданий!

Нагель повернулся и побрел к городу.

Он шел по дороге, и его плечи, слишком широкие для его приземистой фигуры, беспрестанно вздрагивали. Он не видел ничего вокруг, он не узнавал людей, попадавшихся ему навстречу, и очнулся только, когда, пройдя весь город, остановился у дверей гостиницы.

Последующие два-три дня Нагеля в городе не было, и его комната в гостинице была заперта. Никто толком не знал, где он; он сел на пароход, идущий на север. Возможно, он затеял эту поездку, только чтобы развлечься.

Вернулся он рано утром, когда городок еще спал. Нагель был бледен и, судя по его виду, дурно провел ночь.

Однако он все же не поспешил в гостиницу, а довольно долго прогуливался взад-вперед по набережной, потом пошел по новой для него дороге в дальнюю часть бухты, где как раз повалил дым из трубы паровой мельницы.

Впрочем, у мельницы он тоже не задержался, и вообще, по всей видимости, он бродил вокруг пристани, просто чтобы убить время. Когда, часа через два, рынок начал оживать. Нагель был уже там. Он стоял на углу у почтовой конторы и внимательно разглядывал каждого, кто проходил мимо. Когда он издали заметил зеленое платье Марты Гудэ, он двинулся ей навстречу и поклонился.

Он просит прощения, может быть, она забыла его? Его зовут Нагель, это он приходил насчет кресла, старого кресла. Уж не продала ли она его, часом?

Нет, она его не продала.

Прекрасно. Он надеется, что к ней никто не приходил за это время и не набил цену? Не посетил ли ее какой-нибудь коллекционер?

Да, к ней...

– О боже, неужели кто-нибудь приходил? Да что вы говорите? Дама? Ох, уж эти вездесущие дамы, во все суют свой нос! Значит, прослышала о вашем уникальном кресле и тут же решила заграбастать! Типичная женская бесцеремонность! Сколько она предлагала за него, сильно ли взвинтила цену? Я ведь вам уже говорил, что ни за что не отступлюсь, черт меня подери!

Марта совсем смешалась от его напора и торопливо сказала:

– Да нет, что вы, я с удовольствием отдам его вам.

– В таком случае, разрешите мне зайти к вам нынче вечером, часиков в восемь, и закончить это дело?

Ну, конечно, он может зайти. Но не лучше ли ей доставить кресло прямо в гостиницу? Вот все и будет покончено...

Нет, нет, ни в коем случае, этого он ни за что не допустит. С таким ценным предметом нужно обращаться бережно и умело. Да и по правде говоря, он не хотел бы, чтобы кто-нибудь посторонний видел его приобретение. Ровно в восемь он будет у нее. Кстати, хорошо, что он вспомнил, он хотел предупредить ее, чтобы она ни в коем случае не вытирала с кресла пыль и, упаси боже, не вздумала его мыть! Главное, ни капли воды.

И Нагель побежал в гостиницу. Едва войдя в номер, он, не раздеваясь, бросился на кровать, тут же заснул и проспал спокойным крепким сном до самого вечера.

Сразу же после ужина он отправился к пристани. Ровно в восемь он постучал в дверь маленького домика Марты Гудэ и вошел.

Комната была явно только что прибрана, пол не успел еще просохнуть после мытья, а свежепротертые окна блестели. Марта даже надела бусы. По всему было видно, что его ждали.

Нагель поздоровался, сел и не медля приступил к переговорам. Она и теперь упрячилась, пуще прежнего настаивая, чтобы он взял это кресло просто так, даром. Тогда он пришел в ярость, пригрозил, что швырнет ей в лицо эти две сотни крон и удерет с креслом. Поделом ей, она это заслужила! В жизни своей не встречал он такого безрассудства! И вдруг, стукнув кулаком по столу, спросил, уже не рехнулась ли она, часом.

– Знаете что, – сказал он, пристально взглянув на нее, – ваше сопротивление начинает мне казаться подозрительным. Скажите честно, уж не завладели ли вы этим креслом каким-нибудь неблагоприятным путем? Не буду скрывать, мне приходится иметь дело с разными людьми, излишняя осторожность никогда не мешает. Если это кресло попало к вам в результате какой-то махинации или по ошибке, то оно мне не нужно... Впрочем, прошу извинить меня, ежели я превратно истолковал ваше упрямство.

И он стал заклинять ее рассказать все как есть.

Вконец растерявшись от павшего на нее подозрения, испуганная и вместе с тем оскорбленная, она тут же принялась оправдываться. Кресло это приобрел ее дед, и оно, наверное, уже не менее ста лет

находится у них в семье. Он не должен думать, что она что-то утаивает от него. И слезы выступили у нее на глазах.

Хорошо. В таком случае ему хотелось бы наконец покончить с этим затянувшимся торгом и поставить точку. И Нагель полез за бумажником.

Она сделала шаг, чтобы еще раз остановить его, но он, не обращая на нее никакого внимания, положил на стол две красные купюры и спрятал бумажник.

– Прошу вас, – сказал он.

– Во всяком случае, не давайте мне больше пятидесяти крон, – взмолилась она и в полной растерянности провела дважды рукой по его волосам, как бы прося его уступить ей. Она не сознавала, что делала, но она погладила его по голове и попросила ограничиться хотя бы пятьюдесятью кронами. У этого нелепого существа все еще стояли слезы в глазах.

Он поднял голову и поглядел на нее. Эта беднячка, живущая на благотворительные средства, эта седая сорокалетняя девица со жгучими черными глазами, но с обликом монашки произвела на Нагеля впечатление своей своеобразной, редкой красотой, и он на мгновение заколебался. Он взял ее руку в свои, ласково похлопал по ней и сказал:

– Господи, какая вы удивительная!

Но он тут же выпустил ее руку и поспешно встал.

– Надеюсь, вы ничего не имеете против того, чтобы я сейчас же забрал кресло? – спросил он.

И он придвинул кресло к себе.

Она уже явно перестала его бояться. Увидев, что он испачкал руки о старую пропыленную обивку, она тут же вынула из кармана свой платок и протянула ему.

Деньги все еще лежали на столе.

– А ргрос, – сказал он, – разрешите мне вас спросить, не лучше ли будет, если вы сохраните, по возможности, в тайне нашу сделку? Вовсе не обязательно, чтобы весь город болтал об этом. Договорились?

– Да, – сказала она задумчиво.

– На вашем месте я бы поскорее спрятал деньги. Впрочем, сперва я завесил бы окошко... Вот возьмите хоть эту юбку!

– Не будет ли тогда слишком темно в комнате? – сказала она с сомнением, но все же взяла юбку и завесила окно; Нагель помог ей.

– Это надо было сделать в самом начале, – сказал он. – Нехорошо, если меня здесь увидят.

Она промолчала. Потом взяла деньги со стола, протянула ему руку и попыталась было поблагодарить его, но не смогла вымолвить ни слова.

Он долго не выпускал ее руки из своей и вдруг сказал:

– Разрешите задать вам один вопрос: вам, видимо, трудно сводить концы с концами, жить вот так, без всякой помощи, без поддержки... Скажите, вы получаете какое-нибудь пособие?

– Да.

– Простите, дорогая фрекен, что я расспрашиваю вас! Но если пронюхают, что у вас появились кое-какие сбережения, то вас не только тут же лишат помощи, но и отберут эти деньги, просто-напросто отберут. Вот почему так важно хранить в тайне эту историю с креслом. Как опытный человек, я хочу дать вам добрый совет: молчите. Ни одной живой душе ни слова о нашем маленьком дельце... Кстати, мне сейчас пришло в голову, что следовало бы дать вам более мелкие купюры, чтобы вам не нужно было их менять.

Все-то он обдумывает, все предусматривает. Нагель снова садится и принимается отсчитывать мелкие бумажки. Собственно говоря, он толком и не считает, а просто вываливает на стол все мелкие деньги, какие у него при себе, берет наугад – сгребает в кучу и придвигает к ней.

– Ну вот, а теперь спрячьте все это, – говорит он.

Она отворачивается, расстегивает свой лиф и прячет деньги на груди.

И хотя она уже успела привести себя в порядок, он, вместо того чтобы встать, продолжает почему-то сидеть и спрашивает как бы невзначай:

– Да, что это я еще хотел сказать... Вы случаем не знакомы с Минуткой?

Он заметил, что она вся вспыхнула.

– Мне довелось несколько раз с ним встретиться, – продолжал Нагель. – Я привязался к нему. Я думаю, что он человек надежный, золотой человек. Я поручил ему раздобыть мне скрипку и не

сомневаюсь, что он мне ее достанет, как вы считаете? Впрочем, быть может, вы его и не знаете близко?

– Напротив.

– Ах да, верно, ведь он мне рассказывал, что купил у вас цветы, когда хоронили Карлсена. Значит, вы его знаете? Может быть, даже хорошо? Скажите, какого вы о нем мнения? Как по-вашему, он постарается выполнить мое порученье? Когда имеешь дело со столькими людьми, то волей-неволей приходится наводить справки. Я как-то потерял изрядную сумму только потому, что слепо доверился недобросовестному человеку. Это было в Гамбурге.

И Нагель, непонятно зачем, начинает рассказывать длинную историю про этого человека, из-за которого понес значительные убытки. Марта по-прежнему стоит перед ним, опершись о стол. Она заметно волнуется и наконец, не выдержав, прерывает его:

– Нет, нет, не говорите так о нем!

– О ком я не должен так говорить?

– О Юханнесе, о Минутке.

– Минутку зовут Юханнесом?

– Да, Юханнесом.

– В самом деле?

– Конечно.

Нагель молчит. Сообщение о том, что Минутку зовут Юханнесом, почему-то дает его мыслям новый поворот и даже меняет на некоторое время выражение его лица. Он довольно долго сидит, задумавшись, потом спрашивает:

– А почему вы его зовете Юханнесом? Не Грегордом, не Минуткой, а именно Юханнесом?

Она отвечает, смущенно опустив глаза:

– Мы знаем друг друга с детства...

Пауза.

Наконец Нагель говорит как бы шутливо и подчеркнуто равнодушно:

– Знаете, у меня создалось впечатление, что Минутка в вас сильно влюблен. Да, правда, это бросается в глаза. И, честно говоря, меня это нимало не удивляет, хотя, должен признаться, на мой взгляд Минутка в данном случае чересчур смел. Ведь он не какой-нибудь там безусый юнец, да к тому же он в некотором роде калека. Но, господа,

разве можно понять женщин? Вдруг им взбредет что-то в голову, и они вешаются невесть кому на шею, отдаются по собственной воле, с радостью и даже с восторгом. Ха-ха-ха! Таковы женщины! В тысяча восемьсот восемьдесят шестом году я стал свидетелем того, как молодая девица моего круга выбрала себе в мужа рассыльного своего отца. Этой истории я никогда не забуду. Он был мальчиком у них в лавке, ну, просто ребенок шестнадцати – семнадцати лет от силы, еще даже не брился. Правда – смазлив, и даже весьма, не спорю. И вот на этого неоперившегося птенца она и кинулась со всей своей испепеляющей страстью и увезла его за границу. Полгода спустя она вернулась, и, представьте, любви как не бывало... Да, печально, что и говорить, но любви и след простыл. Несколько месяцев она так скучала, что чуть не померла. Но она ведь была замужем. Как быть? И вдруг она словно с цепи сорвалась, плюнула на все и вся и буквально пошла по рукам в среде студентов, да и приказчиков тоже, и за короткий срок приобрела скандальную известность под кличкой «Липучка». Весьма прискорбный случай, не правда ли? Но, знаете, она умудрилась еще раз удивить мир. Проведя года два в чаду этих утех, она в один прекрасный день начинает сочинять новеллы, становится писательницей, и говорят, у нее большой талант. Два года в компании студентов и приказчиков оказались на редкость поучительными, они, так сказать, сформировали ее, и она пристрастилась к перу. С тех пор она пишет превосходные вещи, между прочим. Ха-ха-ха! Чертова баба, скажу я вам!.. Вы, женщины, все таковы. Вот вы смеетесь, но не возражаете мне, ничуть не возражаете. От семнадцатилетнего мальчишки-рассыльного вы теряете голову. Я уверен, что и Минутка мог бы не жить всю жизнь бобылем, приложи он хоть немного усилий. В нем есть что-то, что производит впечатление даже на мужчин, вот на меня, например. Сердце у него удивительно чистое, и в голосе его я никогда не слышал фальшивых нот. Вы согласны со мной, ведь вы, наверно, знаете его как свои пять пальцев? А что говорят о его дяде, торговце углем? Небось, старый пройдоха, так мне кажется. Во всяком случае, симпатий не вызывает. Как я понимаю, вся его торговля держится на Минутке. А если так, то невольно возникает вопрос: а почему бы Минутке не завести свое собственное небольшое дело? Короче говоря, по-моему,

Минутка был бы в силах содержать свою семью, будь она у него... Вы качаете головой?

– Нет, я не качаю головой.

– Значит, вы потеряли терпение. И я вас понимаю: вам просто надоели мои разглагольствования о человеке, вам совершенно безразличном. Послушайте, знаете, о чем я сейчас подумал? Вы только, бога ради, не сердитесь на меня, я, поверьте, хочу вам добра – запирайте как следует двери на ночь! Не глядите на меня с таким страхом... Дорогая фрекен, не пугайтесь и не относитесь ко мне с подозрением. Я ведь всего-навсего хочу посоветовать вам не доверять слепо людям, особенно теперь, когда у вас появились деньги. Правда, я не слышал, чтобы в городе было беспокойно, но, как говорится, береженого бог бережет... К двум часам ночи на улицах уже совсем темно, а на днях именно около двух я слышал чьи-то шаги у себя под окнами. Да, представьте себе. Надеюсь, вы не в обиде на меня за этот совет... Ну, всего вам доброго. Я рад, что сумел в конце концов приобрести это кресло. Будьте здоровы, дорогая Марта.

И Нагель пожал ей руку. С порога он еще раз обернулся и сказал:

– Послушайте, вы должны всем говорить, что я дал вам за это кресло две кроны. Ни шиллинга больше. Иначе вас лишат пособия, не забывайте этого. Я могу на вас положиться, да?

– Да, – ответила она.

Он ушел, унося с собою кресло. Лицо его сияло, он кряхтел от удовольствия и даже громко смеялся, словом, вел себя, как плут, которому удалось обвести кого-то вокруг пальца. «Господи, как она, наверное, сейчас радуется, – в волнении шептал он про себя. – Ха-ха, небось ночью плаз не сомкнет от такого богатства!»

В гостинице он застал Минутку, который его ждал. Минутка пришел с репетиции и держал под мышкой рулон афиш. Да, живые картины будут, видно, на славу. Публике покажут несколько исторических сцен, а для большего эффекта их осветят разноцветными фонарями. И он тоже участвует, правда, в качестве статиста на заднем плане.

А на какой день назначено открытие благотворительного базара?

На четверг, 9 июля, в день рождения королевы. Но уже сегодня вечером Минутка должен расклеить повсюду эти афиши, получено даже разрешение наклеить одну на воротах кладбища... Впрочем, он

зашел, чтобы рассказать, как обстоит дело со скрипкой. Ему не удалось ее раздобыть. В городе есть только одна приличная скрипка, но она не продается, она принадлежит органисту и нужна ему самому: в день открытия базара он намерен участвовать в концерте, сыграть несколько вещей.

Ну что ж, раз так, то ничего не поделаешь.

Минутка собирается уходить. Когда он уже стоит с шапкой в руках, Нагель предлагает:

– А не выпить ли нам по стаканчику? Должен вам сказать, у меня сегодня хорошее настроение, мне очень повезло. Знаете, мои долгие хлопоты увенчались наконец успехом, я приобрел уникальное кресло, какого нет ни у одного коллекционера в стране, готов биться об заклад. Вот оно, взгляните! Вы в состоянии оценить это чудо из чудес? Работа старого голландского мастера, единственное в своем роде! Я не уступлю его, сколько бы мне ни предложили, клянусь богом! Давайте обмоем мою покупку, если вы не возражаете. Разрешите, я позвоню горничной? Нет? Но ведь афиши вы можете и завтра расклеить... До чего же мне повезло сегодня! Вы, должно быть, не знаете, что я в некотором роде коллекционер и живу здесь в надежде пополнить свои коллекции! Неужели я вам не рассказывал про коровьи колокольчики, которые я собрал? Господи, тогда вы еще ничего обо мне не знаете! Конечно, я агроном, но у меня есть и другие интересы в жизни. У меня собрано двести шестьдесят семь колокольчиков! Начал я их собирать лет десять назад, а теперь, слава богу, у меня уже первоклассная коллекция. А вот это кресло, знаете, как я его раздобыл? Чистая случайность и везенье. Иду я как-то раз по улице, спускаюсь к пристани, а поравнявшись с маленьким домишком, заглядываю по привычке в окно и столбенею: я вижу кресло и сразу понимаю, какая это ценность. Стучу, вхожу в дом, меня встречает женщина не первой молодости, совсем седая... как же ее зовут? Да это, впрочем, и не важно. Вы, возможно, ее и не знаете. Зовут ее, если не ошибаюсь, фрекен Гудэ. Марта Гудэ или что-то в этом роде... Поначалу она ни за что не соглашалась продать это кресло, но в конце концов я ее уломал. И вот сегодня я наконец принес его. Но самое невероятное в этой истории то, что оно досталось мне, можно сказать, даром. Правда, я кинул на стол две кроны – так, для очистки совести, и чтобы она потом не раскаивалась. Но ведь кресло-то стоит сотни.

Это, конечно, между нами. Неприятно, когда о тебе идет дурная молва. Впрочем, я себя ни в чем не могу упрекнуть. У фрекен Гудэ нет решительно никакой деловой хватки, а я, как коллекционер и коммерсант, вовсе не обязан блюсти ее интересы. Надо быть крупным дураком, чтобы отказываться от своей выгоды. Ведь верно? Это и есть, так сказать, борьба за существование... Теперь, когда вы в курсе всего, я надеюсь, вы согласитесь выпить со мной стакан вина?

Но Минутка по-прежнему уверял, что ему надо идти.

– Какая досада, – сказал Нагель, – а я радовался возможности поболтать с вами. Здесь в городе вы – единственный человек, который всегда вызывает у меня интерес, единственный, с кем мне хочется общаться. Ха-ха! Хочется, видите ли, общаться. Так вас, значит, зовут Юханнес? Мой дорогой друг, это я знал давно, задолго до вчерашнего вечера, когда мне случайно назвали ваше имя... Да не пугайтесь так, что вы, в самом деле... Это просто несчастье какое-то, я всегда пугаю людей. Нет уж, не отрицайте, вы поглядели на меня с ужасом и, по моему, хотя этого я не буду утверждать, даже вздрогнули.

Минутка тем временем уже добрался до двери. Видно было, что ему не терпелось поскорее проститься и уйти. Разговор этот явно становился для него все более мучительным.

– Сегодня шестое июля? – спрашивает вдруг Нагель.

– Да, – отвечает Минутка и хватается за ручку двери.

Нагель медленно подходит к нему совсем вплотную и, заложив руки за спину, пристально глядит ему в глаза.

– А где вы были шестого июня? – спрашивает он шепотом.

Минутка не отвечает, не произносит ни слова. Этот пронзительный взгляд и зловещий шепот повергают его в панический страх, он не в силах понять странного, ничем не объяснимого вопроса о дате месячной давности, он рывком распахивает дверь и выскакивает в коридор. Некоторое время он топчется на месте, не соображая, где лестница, а Нагель стоит в дверном проеме и кричит ему вслед:

– Нет, нет, это бред какой-то, безумие. Прошу вас, забудьте... Я объясню вам в другой раз, в другой раз...

Но Минутка ничего не слышал, он успел сбежать вниз, прежде чем Нагель крикнул ему вслед эти слова, и, не оглядываясь, выскочил

на улицу, пересек рыночную площадь, доковылял до колонки, свернул в первый же проулок и исчез.

Час спустя – в десять вечера – Нагель закурил сигару и вышел из гостиницы. Город еще не утомился. На дороге, ведущей к пасторской усадьбе, было много гуляющих, а с ближних улочек доносились смех и гомон игравших детей. Наслаждаясь теплым вечером, люди сидели на крылечках своих домов, тихо разговаривали или дружески перекрикивались с соседями.

Нагель спустился к пристани. Он видел, как Минутка расклеивает афиши на стенах почты, банка, школы и тюрьмы... Как старательно он это делал, с каким чувством ответственности! С какой охотой он занялся этим делом, не считаясь со временем, хотя ему давно бы пора идти отдыхать. Нагель прошел мимо Минутки, поклонился ему, но останавливаться не стал.

Дойдя уже почти до самой пристани, он услышал позади себя чей-то взволнованный голос. Он обернулся. Это была Марта Гудэ, она догнала его и сказала, задыхаясь:

– Простите, вы дали мне слишком много денег.

– Добрый вечер! – ответил он. – Вы тоже вышли погулять?

– Нет, я была в городе, я ждала вас у гостиницы. Вы дали мне чересчур много денег.

– О! Начинается сказка про белого бычка?

– Да нет же, вы просто обсчитались! – крикнула она с отчаянием. – Там оказалось больше двухсот крон.

– Ну и что? Я в самом деле передал вам несколько лишних крон? Хорошо, вы можете мне их вернуть.

Она начала было расстегивать лиф, но тут же остановилась и растерянно оглянулась, не зная, как быть. В конце концов ей снова пришлось извиняться: здесь кругом столько народу, она не может вынуть эти деньги на улице, они так хорошо упрятаны.

– И не надо, – поторопился он ей ответить. – Я могу сам за ними зайти. Вы разрешите мне зайти?

И они вместе направились к ее домику. Встречные провожали их любопытными взглядами.

Когда они вошли в комнату, Нагель снова сел на то же место, где сидел раньше, у окна, все еще завешенного юбкой. Пока Марта доставала деньги, он молчал и заговорил только после того, как она

протянула ему несколько мелких купюр, еще сохранивших тепло ее тела, несколько истертых, поблекших десятикрупных бумажек, которые ее честность не позволяла ей продержать у себя даже одну ночь. Нагель попросил ее оставить эти деньги себе.

Но теперь она, видимо, снова почувствовала недоверие к его намерениям. Она робко взглянула на него и сказала:

– Нет... Я вас не понимаю...

Тогда он вскочил и пошел к дверям.

– Зато я вас отлично понимаю, – ответил он. – Поэтому я немедленно уйду. Теперь вы успокоились?

– Да... Нет, не стойте у дверей!

Она даже протянула обе руки, чтобы удержать его. До чего же это странное существо боялось кого-либо обидеть!

– В таком случае у меня к вам просьба, – сказал Нагель, все еще не садясь. – Вы могли бы мне доставить, если бы захотели, большую радость, и я нашел бы способ отблагодарить вас за это. Я прошу вас прийти на открытие благотворительного базара в четверг вечером. Вы не откажете мне в этом удовольствии? Вас это развлечет, там будет много народу, много света, музыка, живые картины... Придите, прошу вас, вы не пожалеете! Вы смеетесь? Отчего вы смеетесь? Бог мой, какие у вас ослепительные зубы!

– Да я же никогда никуда не хожу, – ответила она. – Как только вы могли подумать, что я решусь туда пойти. Да и зачем? Почему вы хотите, чтобы я туда пошла?

Он объяснил ей откровенно и честно, что это взбрело ему в голову уже давно, недели две назад, потом он почему-то забыл про эту затею, а сейчас вдруг снова вспомнил. Он хочет только, чтобы она была там, чтобы она присутствовала на празднике. Он хочет ее там увидеть, но если она пожелает, он даже не подойдет к ней, не заговорит. Он не собирается быть ей в тягость, это вовсе не входит в его намерения. Он просто будет рад, что она хоть разок окажется вместе со всеми, что он услышит, как она смеется, увидит ее совсем молодой. Она непременно должна прийти. Он просит ее об этом!

Нагель поглядел на Марту: как подчеркивали седые волосы жгучую черноту ее глаз! Одной рукой она нервно теребила пуговицы на корсаже, и эта рука, такая бессильная, с длинными пальцами и двумя голубыми жилками у запястья, с сероватой кожей, быть может,

даже не очень чистая, казалась удивительно трогательной и целомудренной.

– Да, – сказала она, – там, наверно, будет весело...

Но ведь у нее нет платья, даже приличной юбки нет для такого вечера...

Он перебил ее: впереди еще три полных дня, к четвергу можно сшить все, что угодно. Времени предостаточно... Ну, решено?

И в конце концов Марта уступила.

– Разве можно хоронить себя заживо? – сказал Нагель. – Это к добру не приводит. Да еще с такими глазами и с такими зубами, – нет, это, право, грешно! А этих нескольких крон, что лежат на столе, как раз должно хватить на платье... Да, да, тут не о чем и говорить!.. Тем более что это ведь его затея, и она согласилась только ему в угоду.

Он простился, как всегда, немногословно и сдержанно, не давая ей никакого повода к беспокойству. Проводив его до дверей, она сама еще раз протянула ему руку и поблагодарила за то, что он пригласил ее на праздник. Уже много-много лет она нигде не бывала и совсем отвыкла от общества. Но она постарается вести себя там хорошо.

Большое дитя, она обещает вести себя хорошо! Да разве об этом речь?..

И вот настал четверг. Накрапывал дождик, но благотворительный базар все же открыли при большом стечении народа. Играла музыка, и на площади собрался не только весь город, но и немало людей понаехало с хуторов – не пропускать же такое редкостное развлечение.

Около девяти вечера, когда пришел Нагель, зал был уже битком набит. Он остался стоять у самых дверей и несколько минут слушал чью-то речь. Он был бледен и одет, как всегда, в свой желтый костюм. Но повязку с руки он снял, – видимо, обе ранки уже зажили.

Впереди, у самой сцены, он увидел доктора Стенерсена и его жену, а чуть правее стоял Минутка и остальные участники живых картин, но Дагни среди них не было.

В зале было невыносимо жарко от свечей и так тесно, что Нагелю вскоре захотелось выйти. В дверях он столкнулся с поверенным Рейнертом и поклонился ему, на что Рейнерт ответил едва заметным кивком. Нагель прошел дальше и стал у стены в коридоре.

И вдруг он видит нечто такое, что потом еще долго занимает его мысли и возбуждает крайнее любопытство: по левую руку от него была отворена дверь в небольшую, освещенную лампой комнату, служившую гардеробной, и у вешалки он замечает Дагни Хьеллан, которая что-то делает с его висящим на крючке пальто. Ошибки тут быть не может – ни у кого в городе нет такого желтого весеннего пальто, да к тому же он хорошо помнит, куда он его повесил. Казалось, она ищет что-то или делает вид, что ищет, и при этом все щупает его пальто. Он тотчас отвернулся, боясь застать ее врасплох.

Это странное происшествие разволновало Нагеля. Что она искала, что она делала с его пальто? Он все время думал об этом и никак не мог успокоиться. Кто знает, быть может, она хотела убедиться, что у него нет револьвера в кармане, видно, считая, что он в своем безумии способен на все? А вдруг она сунула ему записку?

На какой-то миг он не исключил и этой счастливой возможности. Нет, нет, она просто искала свое пальто, это, конечно, только случайное совпадение. Как могла прийти ему в голову такая

несбыточная фантазия!.. Когда же он заметил, что Дагни, вернувшись в зал, пробирается сквозь толпу к сцене, он тут же с сильно колотящимся сердцем кинулся к своему пальто, но в карманах записки не нашел, там не было ничего, кроме перчаток и носового платка.

В зале раздались громкие аплодисменты. Фогт закончил свою речь и открыл благотворительный базар. Люди хлынули в коридор и в смежные комнаты, где было не так жарко, расселись вдоль стен и стали пить прохладительные напитки. Несколько местных барышень, одетых как официантки, в белых передничках и с салфетками через руку, сновали среди публики с подносами, уставленными стаканами.

Нагель искал Дагни, но ее нигде не было видно. Он поклонился фрекен Андерсен, на которой тоже был белый передник; он спросил вина, и она принесла ему бутылку шампанского.

Он удивленно взглянул на нее.

– Вы же ничего другого не пьете, – с улыбкой сказала она.

Это не лишнее ехидства внимание все же несколько развеселило его. Он попросил ее выпить с ним, и она с готовностью под села к нему, хотя дел у нее было полным-полно. Он поблагодарил ее за любезность, сделал ей комплимент по поводу ее туалета и выразил свое восхищение старинной брошкой, которой был сколот вырез ее платья. Она выглядела весьма привлекательно: удлиненное аристократическое лицо с крупным носом поражало своей почти болезненной изысканностью линий, оно было неподвижно, как маска, его не искажала нервическая мимика. Она говорила с удивительным самообладанием, в ее присутствии возникало чувство уверенности и покоя, это была в полном смысле слова светская, дама.

Когда фрекен Андерсен встала, Нагель сказал:

– Сегодня вечером здесь должна быть одна особа, которой я хотел бы оказать хоть немного внимания. Я говорю о фрекен Гудэ, о Марте Гудэ, не знаю, знакомы ли вы с ней. По-моему, она уже пришла. Я не могу вам передать, как бы мне хотелось ее чем-нибудь порадовать. Она так одинока, Минутка мне кое-что рассказал о ней. Как вы считаете, фрекен, не мог бы я пригласить ее сюда, за наш столик, конечно, при условии, что вы не имеете ничего против того, чтобы оказаться в ее обществе?

– Да что вы, что вы! – ответила фрекен Андерсен. – Я сама с удовольствием схожу за ней и приведу ее сюда. Я знаю, где она.

– Но вы, надеюсь, тоже вернетесь?

– Да, благодарю вас.

Пока Нагель сидел и ждал, в буфет вошли поверенный Рейнерт, адъюнкт и Дагни. Нагель встал и поклонился. Несмотря на жару, Дагни тоже была бледна. На ней было кремовое платье с короткими рукавами и тяжелая золотая цепь, пожалуй, даже слишком тяжелая. Эта цепь ей удивительно не шла. На мгновение Дагни остановилась в дверях; одну руку она держала за спиной и теребила пальцами кончик своей косы.

Нагель подошел к ней. Немного словно, но горячо попросил он простить его за то, что случилось в пятницу; это было в последний, в самый последний раз. Больше он никогда не даст ей повода сердиться и ей уже не придется прощать его за что бы то ни было. Он говорил тихо и сказал именно те слова, которые нужно было сказать.

Она все выслушала, даже посмотрела на него, а когда он замолчал, ответила:

– Я едва понимаю, о чем вы говорите, я все забыла, я хочу забыть.

И она ушла, окинув его совершенно равнодушным взглядом.

Гул голосов, звяканье чашек и стаканов, хлопанье пробок, хохот, крики – все это смешивалось с несущимся из зала грохотом духового оркестра, который играл на редкость дурно...

Наконец появились фрекен Андерсен и Марта, с ними шел и Минутка. Все они сели за столик Нагеля и провели вместе около четверти часа. Время от времени фрекен Андерсен приходилось вставать и приносить кофе тем, кто просил, и в конце концов она уже не вернулась к столику Нагеля – так много у нее было дел.

Между тем начался концерт: исполнил несколько песен вокальный квартет, студент Эйен громко продекламировал стихотворение своего собственного сочинения, две дамы играли в четыре руки на фортепьяно, и органист впервые выступил как скрипач. Дагни по-прежнему сидела в обществе двух своих спутников. Кто-то позвал Минутку, его послали за чашками и стаканами, а заодно велели заказать побольше бутербродов – всего оказалось слишком мало для такой массы народу.

Когда Марта осталась одна с Нагелем, она тоже встала и хотела было уйти. Не может же она сидеть с ним одна, и так поверенный – она это заметила – отпустил на их счет какое-то замечание, вызвавшее смех фрекен Хьеллан. Нет, право же, ей лучше всего уйти.

Но Нагель все же уговорил ее выпить с ним хотя бы еще один плоточек вина. Марта была в черном. Новое платье сидело на ней хорошо, но ей не шло, оно старило ее, убивало своеобразие ее внешности и чрезмерно подчеркивало седину волос. Только глаза ее мерцали, а когда она смеялась, ее лицо, пылавшее лихорадочным румянцем, становилось прелестным и юным.

– Ну как, вам весело? – спросил он. – Вам хорошо здесь?

– Да, спасибо, – ответила она. – Мне здесь очень нравится.

Он занимал ее разговорами, пытаясь приноровиться к ней, рассказал тут же придуманную историю, над которой она много смеялась, – речь шла о том, как он добыл один из самых редких коровьих колокольчиков в своей коллекции. Настоящее сокровище, истинно бесценная вещь! На нем было даже выгравировано имя коровы, ее звали Эйстейн, и, судя по имени, это был бык.

Тут она вдруг начала хохотать; она совсем забылась, не помнила уже, где находится, и, раскачиваясь на стуле, как ребенок, хохотала от души над этой жалкой шуткой. Она так и сияла.

– Представьте себе, – сказал Нагель, – мне кажется, Минутка вас ревнует.

– Нет, – возразила она неуверенно.

– А мне показалось. Впрочем, мне и в самом деле очень приятно сидеть с вами вдвоем. Так весело слышать ваш смех!

Она ничего не ответила и опустила глаза.

Они продолжали разговаривать. Нагель повернулся, чтобы не выпускать из поля зрения столик, за которым сидела Дагни.

Прошло несколько минут. К ним снова подошла фрекен Андерсен, перекинулась с ними двумя-тремя словами, отхлебнула поток из своего стакана и опять убежала.

Вдруг Дагни встала со своего места и подошла к столику Нагеля.

– Как вам здесь весело, – сказала она, и голос ее дрогнул. – Добрый вечер, Марта. Над чем вы так смеетесь?

– Веселимся как можем, – ответил Нагель. – Я болтаю что попало, а фрекен Гудэ так добра ко мне, что даже смеется... Нельзя ли

просить вас выпить с нами стаканчик вина?

Дагни села.

Грохот рукоплесканий донесся из зала, и Марта воспользовалась этим, чтобы встать. Она, мол, хочет взглянуть, что там происходит. Она отходила от них все дальше, а у дверей обернулась, крикнула: «Выступает фокусник. Этого я не могу пропустить!» – и исчезла.

Пауза.

– Вы покинули ваших кавалеров, – сказал Нагель и хотел еще что-то добавить, но Дагни прервала его:

– А вас покинула ваша дама.

– Но она вернется. Вы не находите, что фрекен Гудэ сегодня очаровательна? Сегодня вечером она веселится, как малое дитя, правда?

На это Дагни ничего не ответила и спросила:

– Вы уезжали?

– Да.

Пауза.

– Вам в самом деле здесь так весело?

– Мне? Да я толком не знаю, что здесь происходит, – сказал он. – Я пришел сюда не веселиться.

– А для чего же вы тогда пришли?

– Конечно, только для одного: чтобы увидеть вас. Издали. И не надеюсь даже заговорить с вами...

– Вот как! Поэтому вы и привели с собой даму?

Последнее замечание Дагни Нагель не понял. Он взглянул на нее и раздумчиво сказал:

– Вы что, имеете в виду фрекен Гуда? Не знаю, право, что вам и ответить. Мне так много о ней рассказывали. Она всегда сидит дома одна-одинешенька, год за годом одна, в ее жизни нет никакой радости. Я не привел ее сюда, мне просто хотелось развлечь ее здесь немножко, чтобы ей не было скучно. Вот и все. Фрекен Андерсен нашла ее и привела к моему столику. Господи, как печальна ее участь! Недаром она совсем седая...

– Уж не думаете ли вы... не воображаете же вы, в самом деле, что я ревную? Неужели? Но в таком случае вы жестоко ошибаетесь! Я прекрасно помню ваш рассказ о том сумасшедшем, который катался один на двадцати четырех экипажах; человек этот з-заикался, как вы

сказали, и был влюблен в девушку по имени Клара. Да, я все это помню достаточно подробно. Итак, эта Клара не хотела иметь ничего общего с этим заикой, но она не пожелала, чтобы он женился на ее горбатой сестре. Не знаю, право, зачем вы мне рассказали эту историю, вам самому лучше знать, а мне ведь это безразлично. Но ревновать вы меня все равно не заставите. Если вы этого добиваетесь нынче вечером, то зря стараетесь. Этого не добиться ни вам, ни вашему зайке!

– Господи! – вырвалось у него. – Не могу допустить, чтобы вы говорили это серьезно.

Пауза.

– Напрасно, я говорю это совершенно серьезно, – сказала она.

– И вы в самом деле полагаете, что я вел бы себя так, если бы хотел вызвать вашу ревность? Сидеть здесь с сорокалетней дамой и преспокойно ее отпустить, как только вы появляетесь... Нет, вы, видно, считаете меня дураком.

– Уж и не знаю, кем вас считать, знаю только, что вы ухитрились каким-то образом приблизиться ко мне и заставили пережить самые тягостные часы моей жизни, я перестаю сама себя понимать. Я не знаю, глупы ли вы или безумны, да и не собираюсь в этом разбираться. Мне это безразлично.

– Конечно, – согласился он.

– Да и с какой стати это должно меня занимать? – продолжала она, взбешенная его покорностью. – Бог ты мой, какое мне до вас дело? Вы себя дурно вели по отношению ко мне, а я еще должна за это заниматься вами! Тем не менее вы рассказываете странную историю, полную каких-то намеков, да, я убеждена, что про Клару и ее горбатую сестрицу вы рассказали не без умысла, наверняка не без умысла! Почему вы преследуете меня? Я не говорю про нынешний вечер. Сегодня я сама подошла к вам. Но вообще, почему вы не оставляете меня в покое? И то, что я сейчас задержалась у вашего столика и перемолвилась с вами, вы, конечно, истолкуете по-своему, будто это сильнее меня, будто это для меня так важно...

– Дорогая фрекен, вы ошибаетесь, я нимало не обольщаюсь.

– Не обольщаетесь? Но почему я знаю, что вы говорите правду? Нет, я вовсе в этом не уверена. Я сомневаюсь в вас, не доверяю вам, я готова заподозрить вас в чем угодно. Возможно, я несправедлива к

вам, но пусть хоть раз и я причину вам боль. Я так измучилась от ваших намеков, от вашего преследования...

Нагель молчал и медленно вертел в пальцах свой стакан. Когда же она снова сказала, что ни в чем не верит ему, он ответил:

– Я это заслужил.

– Да, – повторила она. – Я вам ни в чем не верю. Даже ваши плечи вызывали у меня недоверие, я подозревала, что ваши широкие плечи – дело рук портного. Не таясь могу сказать вам, что только что в гардеробной я ощупывала ваше пальто, чтобы выяснить, не подложена ли вата в плечах. И хотя в этом случае я вас зря подозревала – плечи в пальто не подложены, все же я полна к вам недоверия, и с этим я ничего не могу поделать. Я, например, уверена, что вы не погнушались бы никаким средством, чтобы казаться на несколько дюймов выше, чем есть, а уж ростом вы похвалиться не можете. Не сомневаюсь, вы воспользовались бы этим средством, если бы оно существовало. Господи, да как же не испытывать к вам недоверия? Кто вы, собственно говоря, такой? Зачем вы приехали в наш город? Да и живете вы не под своим именем. Ведь ваша фамилия Симонсен, просто Симонсен, и все. Мне об этом сказали в гостинице. Я слыхала, к вам приезжала дама, видимо, ваша близкая знакомая, и она назвала вас Симонсеном прежде, чем вы успели предупредить ее. Боже мой, до чего это все смехотворно и вместе с тем гадко! В городе говорят, что вы, забавы ради, раздаете маленьким мальчикам сигары и заставляете их курить, что вы учиняете на улице скандал за скандалом, что вы приставали к какой-то служанке на рынке, да, приставали в присутствии других людей. И несмотря на все это вы считаете себя вправе преследовать меня, ходить за мной по пятам... Вот больше всего меня и мучает то, что вы осмелились...

Она замолчала. Губы ее еще подергивались, выдавая волнение. Она говорила страстно и безусловно искренне, она говорила, что думала, и не щадила его. Он ответил не сразу.

– Вы правы. Я причинил вам много страданий... Конечно, когда целый месяц, изо дня в день, пристально наблюдаешь за человеком, следишь за каждым его словом и поступком, то легко подметить что-нибудь дурное и уцепиться за это, тут недолго оказаться и предвзятым, но суть не в этом, я согласен. Городок невелик, я у всех

на виду, за мной глядят во сто глаз, обсуждают всякий мой шаг, это неизбежно. Да и я не такой, каким надо бы быть.

– Господи! – воскликнула она. – Ну да, вы в центре внимания, потому что наш городок маленький, это очевидно. В большом городе вы были бы не единственным, кто возбуждает любопытство.

Ее холодная и разумная отповедь в первую минуту вызвала у него искреннее восхищение. Он хотел было даже высказать ей это, но одумался. Она была чересчур возбуждена, слишком враждебно к нему настроена, да, кроме того, она все же недооценивала его. Это его задело за живое. За кого же она его принимает? За самого ординарного человека, случайно захавшего в маленький городок и привлечшего к себе внимание только тем, что он чужой, да еще носит желтый костюм? И он сказал не без горечи:

– А не говорят ли, что я написал похабный стишок на надгробной плите Мины Меек? Может, кто-нибудь и это подглядел? А между тем это правда, чистая правда. Правда также и то, что в вашей аптеке, да, в аптеке вашего города, я требовал лекарство от дурной болезни, название которой я написал на листке бумаги, но лекарства мне не дали, потому что у меня не было рецепта. А заодно, пока не забыл, я спрошу вас: не рассказывал ли вам Минутка, что я однажды соблазнял его двумястами крон, уговаривая назваться отцом моего ребенка? Это тоже истинная правда, Минутка может это подтвердить... И это еще не все, я могу продолжить...

– Нет, не нужно, и так достаточно, – с вызовом перебила его Дагни и, смерив его жестким холодным взглядом, напомнила ему о подложных телеграммах, о состоянии, которого нет и в помине, о футляре, который он возит с собой, хотя у него нет скрипки и он не умеет играть; она перечислила все дурное, что знала про него, не преминула напомнить и про медаль за спасенье, полученную им, как он сам рассказывал, нечестным путем. Она помнила все и не щадила его; каждая мелочь получила вдруг для нее особое значение, и она дала ему понять, что верит теперь во все его низкие поступки и побуждения, тогда как прежде считала, что он только оговаривает себя. Да, он, несомненно, опасный и двуличный человек. – И вот, несмотря на это, вы все же пытаетесь застигнуть меня врасплох, лишить покоя, принудить бог весть к чему. В вас нет ни стыда, ни

совести, вы безжалостны ко всем и даже к себе, вы только и делаете, что объясняетесь и объясняетесь...

Но тут ее прервал доктор Стенерсен; чем-то крайне озабоченный – он был одним из распорядителей и с душой отдавался своим обязанностям, – он заскочил сюда на секунду и тут же побежал дальше.

– Добрый вечер, господин Нагель, – крикнул он на ходу. – Благодарю вас за тот вечер, это было нечто невообразимое!.. А вы, фрекен Хьеллан, готовьтесь, скоро начнутся живые картины.

И доктор исчез.

В зале снова заиграла музыка, и публика уже не сидела так тихо. Дагни приподнялась и заглянула в зал, потом обернулась к Нагелю и сказала:

– Марта возвращается.

Пауза.

– Вы не слышали, что я сказала?

– Слышал, – ответил он с отсутствующим видом. Он сидел, не поднимая глаз, и продолжал вертеть стакан с вином, так ни разу и не пригубив его, а голова его склонялась все ниже и ниже.

– Т-с-с... – сказала она с усмешкой. – Слышите музыку? Не правда ли, когда слышишь такую музыку, хочется сидеть вдалеке, скажем, в соседней комнате, и держать в своей руке руку любимой – не это ли вы мне как-то сказали? Кажется, играют тот же самый вальс Ланнера, и теперь, когда Марта придет...

Но тут, видимо, она вдруг раскаялась в своей язвительности, замолчала, глаза ее помягчели, и она нервно откинулась на спинку стула. А он по-прежнему сидел с низко опущенной головой, она видела, как его грудь прерывисто вздымалась. Она встала, взяла свой стакан и хотела, перед тем как уйти, что-то сказать, несколько дружеских слов на прощанье, чтобы хоть немного спладить неприятное впечатление, она даже начала говорить:

– Ну, теперь мне пора...

Он метнул на нее взгляд, разом встал и поднял свой стакан. Они молча выпили. Видно было, каким усилием воли он сдерживает дрожь в руках, какой внутренней борьбы ему стоит спокойное выражение лица. И этот человек, которого она только что видела совершенно

раздавленным, уничтоженным ее издевкой, говорит вдруг с холодной учтивостью:

– Ах да, фрекен, не будете ли вы так любезны... Я ведь вас, наверно, больше не увижу... Так вот, не будете ли вы столь добры при случае напомнить вашему жениху, что он два года назад обещал Минутке две теплые фуфайки, да, видно, запомятовал. Извините, что я вмешиваюсь в дела, которые меня не касаются, но я поступаю так исключительно ради Минутки. Я надеюсь, вы простите мне эту дерзость. Скажите, что речь идет о двух шерстяных фуфайках, не сомневаюсь, он тут же вспомнит.

Она стояла как оплеванная, с выражением полной растерянности на лице, не находя слов и забыв даже поставить стакан на стол. Ее оцепенение длилось не меньше минуты. Но вот она взяла себя в руки, кинула на него бешеный, полный ярости взгляд, уничтожающий ответ был в ее глазах, затем она повернулась к нему спиной и пошла прочь. Свой стакан она поставила на столик возле двери и исчезла в толпе.

Видно, она совсем забыла, что поверенный и адъютант все еще ждут ее.

Нагель сел. Плечи его снова стали вздрагивать, и он несколько раз судорожно стиснул голову. Вид у него был сокрушенный. Но когда к нему подошла Марта, он вскочил, лицо его осветилось благодарной улыбкой, и он пододвинул ей стул.

– Какая вы добрая, какая вы добрая! – воскликнул он. – Садитесь, пожалуйста, я постараюсь, чтобы вам не было скучно, я расскажу вам миллион историй, если вы только пожелаете. Вы увидите, как нам будет весело, если вы только сядете со мной. Дорогая, ну прошу вас! Вы уйдете, как только вам захочется, но тогда вы разрешите мне уйти вместе с вами, ведь верно? Я никогда ничем не огорчу вас, никогда! Не хотите ли вы выпить хоть немного вина? Я расскажу вам что-нибудь очень веселое, и вы опять будете смеяться. Я так рад, что вы вернулись. Господи, какая радость слышать ваш смех, ведь вы всегда так серьезны. Видно, в зале было не очень-то весело? Да? Посидим лучше здесь немножко, там такая невыносимая жара. Прошу вас, садитесь!

Марта постояла в нерешительности, но в конце концов все же села.

И Нагель начинает говорить. Он так и сыплет анекдотами и разными смешными историями, болтает без умолку о чем попало, лихорадочно, даже как-то надсадно, боясь, что она уйдет, как только он умолкнет. Он то краснеет, то бледнеет, весь взмокший от напряжения, и беспомощно хватается за голову, чтобы вновь собраться с мыслями. А Марта принимает его жесты за комические ужимки и хохочет в простодушном неведении. Ей не скучно, ее застылое сердце отогревается, и постепенно она сама тоже вступает в разговор. Как она удивительно сердечна и наивна! Когда он сказал, что жизнь так нестерпимо жалка, не правда ли, она ответила: «Выльем за жизнь!» И это сказала она, которая из года в год едва перебивалась с хлеба на воду, продавая яйца на рынке!.. Нет, жизнь не так уж плоха, а иногда бывает даже совсем хорошей!

Жизнь иногда бывает даже совсем хорошей, сказала она!

– Да, вы тоже правы, – ответил он. – А теперь пойдёмте смотреть живые картины. Давайте постоим здесь, в дверях, тогда мы сможем вернуться за наш столик, если вы захотите. Вам видно? А то я приподниму вас.

Она засмеялась и отрицательно покачала головой.

Как только на сцене появилась Дагни, его веселость разом пропала, а глаза как бы остекленели, он видел только ее. Он смотрел туда, куда она смотрела, он охватывал ее своим взглядом всю, с ног до головы, следил за выражением ее лица, обратил внимание даже на то, что роза на ее груди поднималась и опускалась, вверх и вниз, вверх и вниз. Она стояла сзади всех, но ее легко было узнать, несмотря на грим и костюм. В центре сцены сидела фрекен Андерсен, изображая королеву. Эта пластическая группа, подсвеченная красными фонарями, вся эта выставка замысловатых костюмов и реквизита представляла собой малопонятную аллегория, создать которую стоило немалых трудов доктору Стенерсену.

– Как красиво! – воскликнула Марта.

– Да... Что именно красиво? – спросил он.

– Живая картина... Разве вы не видите? Куда вы смотрите?

– В самом деле очень красиво.

И чтобы не вызвать у нее подозрений и скрыть, что он плядит только в одну точку, Нагель принялся расспрашивать ее о каждом участнике представления, но едва слышал, что она ему отвечала. Они

глядели на сцену до тех пор, пока не погас красный свет и не опустили занавес.

С краткими перерывами все пять живых картин последовали одна за другой. Когда пробило двенадцать, Марта и Нагель все еще стояли в дверях зала и смотрели последнюю картину. Наконец занавес опустился, снова заиграла музыка, и они вернулись к своему столику.

Доброта взяла в ней верх над всеми остальными чувствами, и она уже не заговаривала об уходе.

Несколько барышень ходили между столиками с записными книжками и записывали номера лотерейных билетов, на которые можно было выиграть куклы, качалки, вышивки, чайные столики и даже напольные часы. Стало очень шумно, люди уже не стеснялись и говорили громко. И в зале, и в соседних комнатах гул стоял, как на бирже. Праздник должен был закончиться только в два часа ночи.

Фрекен Андерсен снова под села к столику Нагеля. О, она так устала, так устала! Большое спасибо, она с удовольствием выпьет, только, пожалуйста, полстаканчика. Не позвать ли сюда и Дагни?

И она побежала за Дагни. Вместе с ними пришел и Минутка.

Дальше происходит вот что.

Неподалеку от них кто-то опрокинул столик, и несколько чашек и стаканов упали на пол. Дагни вскрикнула и судорожно схватила Марту за руку. Но тут же рассмеялась и принесла свои извинения, лицо ее, однако, было пунцовым – так сильно она разволновалась. Она была возбуждена до предела, смеялась резким, отрывистым смехом, а глаза ее неестественно блестели. Она была уже в пальто, собиралась идти домой и ждала адьюнкта, который, как всегда, должен был ее проводить.

Но адьюнкт все еще сидел с поверенным; в течение всего вечера он так и не встал со своего стула и уже сильно захмелел.

– Господин Нагель тебя охотно проводит, – сказала фрекен Андерсен.

Дагни расхохоталась. Фрекен Андерсен с изумлением взглянула на нее.

– Нет уж, – сказала Дагни, – с господином Нагелем я больше не отважусь идти домой. Ему в голову приходят такие странные фантазии. Как-то раз, но это, конечно, строго между нами, он просил меня назначить ему свиданье. Честное слово! Под деревом, сказал он,

под большой осиной, там-то и там-то. Нет, господин Нагель для меня слишком опасный кавалер. Представьте себе, нынче вечером он самым решительным образом требовал от меня какие-то шерстяные фуфайки, которые мой жених будто бы обещал когда-то Грегорду. А между тем сам Грегорд, оказывается, ничего об этом не знает. Правда, Грегорд? Ха-ха-ха, ну что вы на это скажете?

Она вскочила, все еще продолжая смеяться, подбежала к адьюнкту и что-то ему сказала. Видимо, просила, чтобы он проводил ее.

Минутка сильно разволновался. Он попытался что-то сказать, что-то объяснить, но тут же запнулся, замолчал и испуганно глядел то на одного, то на другого. Даже Марта была поражена и подавлена. Нагель шепнул ей несколько ободряющих слов и принялся снова наполнять стаканы. Фрекен Андерсен быстро нашлась и заговорила о благотворительном базаре: подумать только, такая пропасть народу, а ведь расходы были не так велики...

– Скажите, кто эта дама, что играла на арфе? – спросил Нагель. – Красавица в духе Байрона, с серебряной стрелой в волосах.

– Это приезжая дама, она гостит здесь. Разве она такая красивая?

Да, он находит ее очень красивой. И он стал расспрашивать об этой даме, хотя все видели, что мысли его заняты другим. О чем он думал? Почему его лоб вдруг прорезала горькая складка? Он по-прежнему медленно вертел в руках стакан.

Дагни вернулась к их столику и стала за стулом фрекен Андерсен. Застегивая перчатки, она говорит своим ясным красивым голосом:

– А что вы, собственно, имели в виду, когда назначали мне свидание, господин Нагель? Какие у вас были намерения? Может быть, вы объясните это сейчас?

– Дагни, опомнись! – шепчет фрекен Андерсен и поднимается с места. Минутка тоже встает. Все чувствуют себя ужасно неловко. Нагель поднимает глаза, его лицо не выражает особого волнения, но все замечают, что он ставит свой стакан, стискивает пальцы и тяжело дышит. Что он сейчас сделает? Что означает эта чуть заметная улыбка, которая тут же сбежала с его лица? К всеобщему удивлению он говорит спокойным голосом:

– Вы спрашиваете, почему я просил вас о свидании? Не лучше ли будет, если я избавлю вас от этого объяснения, фрекен Хьеллан? Я и так причинил вам уже столько огорчений. Я глубоко опечален этим и, видит бог, все бы сделал, чтобы этого не было. А почему я в тот раз просил вас о свиданье, вы и сами понимаете, я не скрывал этого от вас, хотя, может, и следовало бы. Будьте великодушны ко мне. Больше мне нечего добавить.

Он замолчал. Она тоже ничего не сказала. Видимо, она ожидала от него другого ответа. Но тут подошел адъюнкт, как нельзя более кстати, чтобы прервать это тягостное молчание. Он был сильно навеселе и нетвердо держался на ногах.

Дагни взяла его под руку, и они пошли к дверям.

После их ухода все вздохнули свободнее, и вновь завязался оживленный разговор. Марта хохотала безо всякого повода и даже хлопала в ладоши. Иногда, когда ей вдруг начинало казаться, что она чересчур много смеется, она краснела, умолкала и испуганно озиралась по сторонам, не обратили ли на нее внимание. Это очаровательное смущение, которое то и дело сковывало ее, приводило Нагеля в восторг, и он балагурил почему зря, только чтобы веселить ее. Он даже дошел до того, что исполнил «Старика Ноя», зажав между зубами пробку.

К ним присоединилась и фру Стенерсен. Она заявила, что ни в коем случае не уйдет отсюда, пока все не кончится. По программе оставался еще один номер – выступление двух акробатов, которое она непременно хотела посмотреть. Да, она всегда сидит до самого конца. Ведь ночи такие длинные, и ей обычно так грустно, когда она возвращается домой и остается одна. Не пойти ли им всем в зал смотреть акробатов?

И все пошли в зал.

Им навстречу по проходу идет высокий бородатый человек и несет скрипку в футляре. Это органист, он исполнил свой номер и теперь направляется домой. Он останавливается, здоровается и тут же начинает говорить с Нагелем о скрипке. Да, Минутка был у него, спрашивал насчет скрипки, хотел ее купить, но он, к сожалению, никак не может ее продать, она досталась ему по наследству, он относится к ней как к своему другу, она ему очень дорога. Да, на ней

даже есть его монограмма. Он может показать, это не простая скрипка... И органист осторожно открывает футляр.

И вот все видят этот изящный темно-коричневый инструмент, заботливо обернутый алым шелковым платком, со струнами, переложенными ватой.

Не правда ли, прекрасная вещь? А вот эти три буквы из маленьких рубинов, вот здесь, на грифе, означают: Густав Адольф Кристенсен. Нет, продать такой инструмент грешно! Как же без нее коротать дни, если находит тоска? Но вот если речь идет о том, чтобы немного поиграть на ней, взять несколько аккордов, это дело другое...

Нет, Нагель не собирается играть на скрипке.

Но органист уже вынул инструмент из футляра, и в то время как акробаты делали последние упражнения, а публика хлопала, он продолжал говорить об этой редкостной скрипке, которая переходит от отца к сыну вот уже в четвертом колене.

– Легкая, как перышко, убедитесь сами, возьмите ее в руки...

Да, Нагель согласен, – она действительно легка, как перышко. Как только скрипка оказалась у него в руках, он стал оглядывать ее со всех сторон и коснулся струн. Потом он произнес с видом знатока: это, несомненно, Миттельвальдер. Однако понять, что это Миттельвальдер, было нетрудно, поскольку на внутренней стороне деки виднелась наклейка с названием фирмы. Так зачем же было принимать этот вид знатока? Когда акробаты ушли со сцены и публика перестала аплодировать. Нагель вдруг встал и молча, не произнеся ни единого слова, протянул руку за смычком. И в следующее мгновение, хотя люди в зале поднимаются, чтобы идти к выходу, он, не обращая внимания на шум и громкий говор вокруг, начинает играть, и тогда постепенно воцаряется тишина. Этот приземистый, широкий в плечах человек в кричаще-желтом костюме вызвал у присутствующих величайшее изумление. Да и что он играл? Какой-то романс, баркаролу, какой-то танец, венгерский танец Брамса, какое-то страстное поурри. Резкие волнующие звуки наполнили весь зал. Он склонил голову набок, и во всем его облике было что-то загадочное. Да к тому же он заиграл так неожиданно, без объявления, стоя посреди залы, где было довольно темно, да еще его странная внешность и феноменальная техника – все это ошеломило публику, он казался каким-то сказочным существом. Нагель играл в течение

нескольких минут, и за все это время никто не шелохнулся, никто не двинулся с места. Но вот в его игре зазвучали патетические ноты, прорвались дикие, неистовые звуки фанфарной силы, при этом он сам словно замер, и лишь рука его со смычком летала над струнами, а склоненная голова плотно прижимала скрипку к плечу. Выступив так неожиданно даже для устроителей вечера, он как бы взял штурмом всех этих равнодушных горожан и крестьян из окрестных хуторов. Они не могли постигнуть, как такое вообще возможно. Игра Нагеля казалась им еще лучше, чем была на самом деле, просто верхом совершенства, хотя он и играл с необузданной лихостью. Но спустя несколько минут он вдруг взял два-три диссонансных аккорда, скрипка завывала, застонала так душераздирающе, что все застыли в недоумении. Еще два-три таких вопля, и он разом оборвал игру. Он опустил скрипку, и все кончилось.

Прошло не меньше минуты, прежде чем люди опомнились. Разразилась буря аплодисментов, кричали «браво», вскакивали на стулья и снова кричали «браво». Органист с глубоким поклоном принял из рук Нагеля скрипку, погладил ее и бережно положил в футляр. Затем он схватил Нагеля за руку и долго его благодарил. Публика в зале продолжала неистовствовать. Прибежал доктор Стенерсен и, едва переведя дух, воскликнул:

– Черт возьми, старина, вы же играете!.. Играете! Да еще как!

И он потряс Нагелю руку.

Фрекен Андерсен, сидевшая вблизи Нагеля, смотрела на него с величайшим изумлением.

– А ведь вы говорили, что не умеете играть?

– Да я и не умею, – ответил он. – О такой игре не стоит и говорить, признаюсь вам чистосердечно. Если бы вы только знали, насколько это было дилетантское исполнение, так, подделка! Но ведь звучало как подлинное, не правда ли? Ха-ха-ха, приятно подурочить людей, нечего церемониться!.. А не вернуться ли теперь к нашему столику? Попросите, пожалуйста, фрекен Гудэ пойти с нами.

И они направились в буфет. Все еще говорили об этом таинственном человеке, который их так глубоко поразил. Даже поверенный Рейнерт подошел к Нагелю и сказал с поклоном:

– Разрешите поблагодарить вас. Несколько дней назад вы пригласили меня к себе на ужин, но я был занят и не смог

воспользоваться вашим любезным приглашением. Однако я весьма признателен вам за внимание.

– А почему вы закончили такими ужасающими аккордами? – спросила фрекен Андерсен.

– Откуда я знаю, – ответил Нагель. – Так получилось. Хотел прищемить дьяволу хвост.

К ним опять подошел доктор Стенерсен и снова сделал Нагелю комплимент по поводу его игры. А Нагель снова ответил, что все это сплошное лицедейство, обман, рассчитанный на внешний эффект. Если бы они только знали, как это было плохо! Почти все двойные ноты звучали нечисто. Он слышал, что фальшивит, но лучше не получалось: он так давно не упражнялся.

Все больше народу собиралось вокруг столика Нагеля, сидели до последней минуты, поднялись, только когда стали тушить свет. Оказалось, что уже половина третьего.

Нагель наклонился к Марте и шепнул ей:

– Позвольте, я провожу вас. Я должен вам кое-что сказать.

Он поспешно расплатился, пожелал доброй ночи фрекен Андерсен и вышел вслед за Мартой. У нее не было пальто, – только зонтик, который она старалась нести незаметно, потому что он был весь рваный. Когда они вышли из дверей, Нагель обратил внимание на то, что Минутка проводил их долгим печальным взглядом, а лицо его было необычно бледно.

Они пошли прямо к домику Марты, по дороге Нагель все время оглядывался по сторонам и, убедившись, что никто их не видит, сказал:

– Я был бы вам очень благодарен, если бы вы решились пустить меня на несколько минут к себе.

Она не знала, как поступить.

– Уже так поздно, – сказала она.

– Вы же помните, я обещал никогда и ничем не огорчать вас. Я должен поговорить с вами.

Она отворила дверь.

Когда они вошли, она стала зажигать свечу, а он снова чем-то завесил окно, потом спросил:

– Ну как, вам было весело сегодня?

– О да, благодарю вас! – ответила она.

– Я рад, но не об этом я хотел поговорить с вами. Сядьте сюда, поближе ко мне. И прошу вас, не пугайтесь. Обещайте, что не будете меня бояться. Хорошо? По рукам?

Она протянула ему руку, он пожал ее и, не выпуская, сказал:

– Вы действительно не думаете, что я лгу, что я буду вас обманывать? Нет? Так вот, я хочу вам сказать... А вы в самом деле не думаете, что я буду обманывать вас?

– В самом деле.

– Тогда я объясню вам все по порядку... Но в какой мере вы мне верите? Я хочу сказать, полностью ли вы мне верите, до конца или нет? Чувствую! Что за вздор я болтаю... Дело в том, что мне нелегко это произнести... Поверите ли вы мне, если я вам, например, скажу, что вы мне нравитесь? Да вы и сами это, наверно, заметили. Но если я пойду дальше и скажу... Одним словом, я просто-напросто хочу попросить вас стать моей женой. Да, моей женой, теперь это сказано. Не моей невестой, а моей женой... Господи, как вы перепугались! Нет, нет, не отдергивайте вашу руку, я объясню вам все по порядку, и вы меня лучше поймете: не убеждайте себя только, что вы ослышались, я действительно с открытой душой, безо всяких колебаний делаю вам предложение, и, верите, я имею самые серьезные намерения. Допустите на минуту такую возможность и разрешите мне продолжать. Ну, хорошо, сколько вам лет? Собственно говоря, я не это хотел спросить, мне – двадцать девять, легкомыслие мне уже не по возрасту, а вы, наверно, старше лет на пять, на шесть, но это не имеет никакого...

– Я старше на двенадцать лет, – сказала она.

– На двенадцать лет! – воскликнул он в восторге от того, что она следит за его словами и не совсем потеряла голову. – Значит, на двенадцать лет старше, да это же великолепно, восхитительно! Неужели вы полагаете, что какие-то двенадцать лет могут служить препятствием? Нет, вы просто с ума сошли, дорогая! Да будь вы старше на трижды двенадцать лет, какое это имело бы значение, раз я полюбил вас и каждое слово, которое я сейчас говорю, искреннее. Я долго обдумывал этот шаг, собственно говоря, не очень долго, но все же несколько дней, я не лгу, верьте мне бога ради, умоляю вас! Все эти дни я думал об этом, я не спал по ночам. У вас такие невыносимые глаза, они заморозили меня с первого раза, как я увидел вас. За

такими глазами я способен пойти на край света. Вообще глаза имеют надо мной необъяснимую власть. Как-то раз один старик силой своего взгляда заставил меня полночи бродить по лесу. Он был безумен... Ну, да это целая история. Но ваши глаза действуют на меня неотразимо... Помните, вы однажды взглянули на меня из окна, когда я проходил мимо вашего дома... Вы даже не повернули головы в мою сторону, вы только следили за мной глазами, я никогда этого не забуду. А когда потом я встретил вас и заговорил с вами, я был так растроган вашей улыбкой. Не знаю, видел ли я кого-нибудь, кто смеялся бы так сердечно и искренне, как вы. Но вы сами этого, конечно, не знаете, и в этом неведенье и заключается ваша неповторимая прелесть... Я, кажется, болтаю невздор, что, я сам это чувствую, но у меня такое ощущение, что я должен безостановочно говорить, иначе вы перестанете мне верить, и это подхлестывает меня. Если бы вы не сидели как на иголках, я хочу сказать, если бы я не чувствовал, что вы готовы каждую секунду встать и уйти, мне было бы намного легче. Я прошу вас, разрешите мне снова взять вас за руку, тогда я буду говорить яснее. Вот так, спасибо. Поймите, у меня нет никакой задней мысли, я хочу добиться от вас только того, о чем прошу. И что, собственно, вас так поражает в моих словах? Вы не можете допустить, что мне пришла в голову такая безумная мысль? Вы не можете себе представить, что я – я – хочу на вас жениться? Нет, я вижу, вам это кажется невозможным. Вы сейчас думаете об этом, ведь верно?

– Да. Господи, прошу вас, хватит об этом!

– Неужели я заслужил, чтобы вы меня подозревали в неискренности...

– Нет! – воскликнула Марта в порыве раскаяния, – но то, о чем вы просите, все равно невозможно.

– Почему невозможно? Вы связаны словом с кем-нибудь другим?

– Нет, нет!

– Правда нет? Потому что если вы связаны с кем-нибудь другим – скажем, только чтобы назвать конкретное имя, например, с Минуткой...

– Нет! – громко крикнула она и при этом даже стиснула его руку.

– Нет? Значит, в этом отношении нет никаких препятствий. Разрешите же мне продолжить. Не думайте, пожалуйста, что я стою в некотором роде выше вас и это может быть препятствием нашему

союзу. Я не хочу от вас ничего скрывать. Я во многих отношениях не такой, как надо. Вы сами слышали, что сегодня вечером говорила обо мне фрекен Хьеллан. К тому же до вас, наверно, доходили и городские сплетни обо мне, какой я, мол, скверный человек. Может быть, пересказывая все эти истории, ко мне были не всегда справедливы, но в главном люди правы – у меня много всевозможных недостатков. Таким образом, вы со своей чистой совестью и нежной детской душой стоите неизмеримо выше меня, а не наоборот. Но я клянусь, что всегда буду добр с вами. Верьте мне, я без труда сдержу это обещание, потому что видеть вас счастливой для меня величайшая радость... И еще одна вещь – возможно, вас страшат пересуды в городе? Но, во-первых, город будет поставлен перед фактом – и мы сможем обвенчаться, если вы захотите, даже в здешней церкви. А во-вторых, городу и так есть о чем посудачить. Вряд ли прошло незамеченным, что я несколько раз уже виделся с вами прежде и сегодня вечером был с вами вместе на благотворительном базаре, так что хуже не будет. Да и вообще, господа, какое все это имеет значение! Неужели вам еще не безразлично, что говорят люди... Вы плачете? Дорогая, вам больно, что из-за меня вы сегодня попали на язычок всем этим сплетникам?

– Нет, я плачу не из-за этого.

– Из-за чего же?

Она не ответила.

Тогда ему снова что-то приходит на ум, и он спрашивает:

– Вы считаете, что я себя дурно веду по отношению к вам? Вы ведь не пили много шампанского? И двух стаканов, наверно, не выпили? Неужели вы думаете, что я специально напоил вас и теперь, пользуясь тем, что вы чуть-чуть навеселе, пытаюсь вынудить вас согласиться. Вы поэтому плачете?

– Нет, нет, совсем не из-за этого.

– Так почему же?

– Сама не знаю.

– Но, надеюсь, вы не думаете, что я пришел к вам, чтобы заманить вас в какую-то ловушку? Бог свидетель, я совершенно чист перед вами, поверьте же мне!

– Я вам верю, но я не могу этого понять. Да и себя тоже, что-то изменилось во мне. Вы не можете этого хотеть... Не можете...

Нет, он этого хочет! И он в который раз начинает все снова втолковывать ей, сидя подле нее и держа в своей руке ее маленькую слабую руку. А дождь тем временем барабанит в оконные стекла. Он говорит очень тихо, приравниваясь к ее понятиям, а иногда уговаривает ее, совсем как ребенка. О, как прекрасно все образуется! Они уедут, уедут далеко, одному богу известно куда, но они спрячутся так, чтобы никто не смог их найти. Ведь верно, да? Потом они купят маленький домик и клочок земли где-нибудь в лесу, в великолепном лесу или еще где; этот клочок земли будет их собственностью, и они назовут его «Эдемом», и он будет его обрабатывать; как ему этого хочется! Но иногда он, возможно, все же будет грустить; да, дорогая, это вполне может случиться; что-то на него найдет, вдруг вспомнится какое-то горькое переживание, это ведь бывает, но тогда она будет терпелива, не правда ли? А он не даст ей почувствовать своего настроения, никогда, это он обещает; он будет просто тихо сидеть один и стараться побороть это в себе или на время уйдет далеко в лес, а потом вернется. Но никогда в их доме не будет произнесено ни одного резкого слова. И они украсят его самыми красивыми дикими растениями, и мохом, и камнями, которые они найдут, а пол устелят можжевельником, он сам будет его приносить из лесу. А в рождество они всегда будут выставлять сноп для птичек. Подумать только, как незаметно пробежит время и как они будут счастливы! Они всегда будут вместе уходить и вместе приходить и никогда не будут разлучаться. Летом они будут совершать далекие прогулки и наблюдать, как от года к году разрастаются деревья и травы. Господи, а сколько добра они смогут сделать странникам, которые будут, наверно, проходить мимо их дома! И скот они будут держать – две крупные, с блестящей шерстью коровы, и они приучат их есть из рук, а когда он будет копать и мотыжить, словом, обрабатывать землю, она будет ухаживать за коровами...

– Да, – отозвалась Марта. Это вырвалось у нее непроизвольно, и Нагель услышал это «да». Он продолжал ее уговаривать.

А день или два в неделю они не будут работать, они вместе будут уходить на охоту или на рыбалку, вместе, рука об руку, она в коротком платье с поясом, он в блузе и в башмаках с пряжками. Они будут петь, громко разговаривать и аукаться, а эхо будет гулко разноситься по лесу. Ведь верно, рука об руку?

– Да, – снова сказала она.

Мало-помалу он увлек и ее; он так живо рисовал ей картину их будущей жизни, он так хорошо все обдумал, не упустил ни одной мелочи. Он учел даже то, что необходимо найти такое место, где есть вода. Да, но уж об этом он позаботится, он обо всем позаботится, пусть она только ему доверится. О, у него достанет сил расчистить место для их дома в самом густом лесу, у него крепкие руки, да она сама видит, какие у него кулачищи!.. И он, смеясь, положил ее нежную детскую ручку на свою ладонь.

Она полностью подчинилась ему, он мог бы сделать теперь с ней все, что угодно. Когда он погладил ее по щеке, она не шелохнулась и только поглядела на него. Потом он тихонько спросил ее, приблизив губы к самому ее уху, решилась ли она, согласна ли. И она ответила: «Да», – задумчивое, мечтательное «да», которое она прошептала еле слышно. Но вскоре ее снова одолели сомнения: нет, если все обдумать как следует, то это невозможно. Как он может этого хотеть! Кто она такая?

И он снова принялся убеждать ее, что он этого хочет, хочет всей силой своей души. Она не будет ни в чем терпеть нужды, даже если первое время им будет туговато, он станет работать за двоих, ей нечего опасаться. Он говорил битый час и постепенно преодолевал ее сопротивление. Дважды за этот час ее вдруг охватывал ужас, она закрывала лицо руками и кричала «нет! нет!», но все же снова сдавалась, пристально вглядывалась в его лицо и понимала, что он вовсе не ищет минутной победы. Значит, на то божья воля, раз он так этого желает! Он оказался сильнее, бороться дальше было бесполезно. И в конце концов она произнесла твердо и решительно: «Да».

Свеча, воткнутая в горлышко бутылки, совсем оплыла, а они все еще сидели, каждый на своем стуле, держали друг друга за руки и разговаривали. Она была просветленно растрогана, глаза ее то и дело застилала слезы, но она улыбалась.

– А что до Минутки, то я уверен, он ревновал вас на благотворительном базаре.

– Да, – ответила она. – Возможно. Но тут уж ничего не поделаешь.

– Это верно, тут уж ничего не поделаешь!.. Послушай, мне бы так хотелось тебя чем-нибудь порадовать нынче, но чем, скажи? Мне

хочется, чтобы у тебя просто дух зашелся бы от восхищения. Скажи, что тебя может обрадовать, требуй от меня все, что хочешь. Но ты слишком добра, мой дорогой друг, ты никогда ни о чем не попросишь! Да, да. Марта, запомни, что я тебе сейчас скажу: я буду защищать тебя, я буду стараться угадывать все твои желания и заботиться о тебе до конца дней своих. Запомни это, дорогая! Ты никогда не сможешь попрекнуть меня, что я забыл свое обещание.

Было четыре часа утра.

Они встали; она подошла к нему, и он прижал ее к своей груди, она обвила руками его шею. Так молча стояли они некоторое время; ее робкое чистое сердце монашки бешено колотилось, он чувствовал это и, чтобы успокоить ее, ласково гладил по волосам. Ничто больше не стояло между ними.

Марта заговорила первая:

– Я не сомкну глаз всю ночь, я буду думать. Я увижу тебя завтра? Ты хочешь?

– Конечно, завтра. Конечно, хочу. Когда? Могу я прийти в восемь часов?

– Да... Хочешь, я надену это же платье?

Ее наивный вопрос, ее дрожащие губы, широко распахнутые глаза, так доверчиво устремленные на него, – все это растрогало Нагеля, расплавил его сердце, и он сказал:

– Дорогая детка моя, делай как хочешь. Какая же ты хорошая!.. Нет, ты должна спать сегодня ночью, непременно спать. Подумай обо мне, пожелай мне спокойной ночи и засни. Тебе не будет страшно одной?

– Нет... Ты промокнешь, пока дойдешь до дому.

Она и об этом подумала!

– Будь счастлива и спи спокойно, – сказал он.

Когда он уже был в прихожей, он вспомнил что-то, обернулся к ней и сказал:

– Я забыл предупредить тебя: я совсем не богат. Может быть, ты думаешь, что я богатый человек?

– Мне это безразлично, – ответила она, вскинув голову.

– Нет, я совсем не богат. Но все же мы сумеем купить и домик, и все, что нужно для хозяйства, на это у меня денег хватит. А потом я сам буду добывать средства к существованию, я с радостью взвалю на

себя все тяготы, на это мне и даны руки... Ты не разочарована тем, что я не богат?

Она сказала, что нет, и еще раз сжала его руки. С порога он попросил ее покрепче запереть дверь и вышел на улицу.

Дождь лил как из ведра, и темно было, хоть глаз выколи.

Он направился не в гостиницу, а свернул на дорогу, ведущую к усадьбе пастора. С четверть часа он шел в непроглядной тьме, едва различая путь. Наконец он замедлил шаг, свернул на просеку и оказался у большого дерева. Это была та осина. Он остановился.

Ветер раскачивает верхушки деревьев, дождь хлещет пуще прежнего – только это и слышно вокруг. Он шепчет какое-то слово, имя, он говорит: «Дагни, Дагни». Потом замолкает и снова повторяет: «Дагни, Дагни». Спустя некоторое время он произносит это имя громче и в конце концов кричит во весь голос: «Да-а-гни!» Она оскорбила его нынче вечером, обдала его своим презрением. Его грудь жжет каждое сказанное ею слово, и все же он стоит здесь и зовет ее. Он становится на колени перед деревом, вынимает свой перочинный нож и в темноте начинает вырезать на коре ее имя. Так проходит несколько минут, он ощупывает пальцами вырезанную букву и режет следующую, снова ощупывает – и так, пока не вырезает все имя полностью.

Все это время он стоял на коленях с непокрытой головой.

Уже выйдя на дорогу, он вдруг остановился, что-то обдумал и повернул назад. Он ощупью добрался до осины, провел пальцами по коре и нашел вырезанные буквы. Он снова падает на колени, приближает лицо к стволу и целует это имя, каждую букву, словно ему не суждено больше их увидеть, потом вскакивает на ноги и поспешно уходит.

В гостиницу Нагель вернулся в пять часов утра.

Тот же дождь, тот же мрак, та же ненастная погода были и на другой день. Казалось, не будет конца тем потокам воды, которые гудели в водосточных трубах и хлестали в окна. Проходил час за часом, пробило полдень, а небо не светлело. В маленьком садике позади гостиницы все было размыто и прибито водой, набрякшие отяжелевшие листья лежали в жидкой грязи.

Нагель не выходил весь день, читал, по своему обычаю мерил шагами комнату и беспрестанно смотрел на часы. Казалось, этому дню не будет конца. Сгорая от нетерпения, он ждал, когда наступит вечер.

Как только пробило восемь, он отправился к Марте. У него не было дурного предчувствия, но она встретила его с измученным, заплаканным лицом. Он заговорил с ней, она отвечала односложно, как-то неопределенно и не глядела на него. Несколько раз она просила простить ее и не сердиться.

Он взял ее за руку, она задрожала и рванулась прочь. Но ему все же удалось усадить ее на стул рядом с собой. Так она и просидела вей" тот час, который он провел у нее. Что случилось? Он одолевал ее вопросами, требовал объяснения, но она все отмалчивалась.

Нет, она не больна. Просто она думала обо всем этом.

Ах, вот оно что, она сожалеет о данном ею обещании. Уж не опасается ли она, что не сможет его полюбить?

Да... Наверно... Но пусть он простит ее и не сердится! Она думала об этом всю ночь, всю ночь напролет, и чем больше она думала, тем более невозможным ей это представлялось. Она заглянула в самую глубину своего сердца и боится, что не сумеет полюбить его так, как должна бы.

– Ну что ж, тогда...

Пауза...

Но не думает ли она, что сможет полюбить его потом, со временем? Он так радовался тому, что сумеет наконец начать новую жизнь. О, он будет так добр к ней!

Ее это тронуло, она прижала руки к груди, но по-прежнему молчала и не поднимала глаз.

Не думает ли она, что он сумеет заслужить ее любовь позже, когда они будут жить вместе, и она убедится, на что он способен ради нее.

Она прошептала: «Нет». И несколько слез упали с ее длинных ресниц.

Пауза. Его бил озноб. Синие вены надулись на его висках.

Ну что ж, дорогая, на нет и суда нет! Пусть она не плачет из-за этого. Слезами тут не поможешь. Пусть она простит, что он докучал ей своими просьбами. Ведь он хотел ей только добра...

Она порывисто схватила его за руку. Он был удивлен ее горячностью.

Нет ли в его натуре, спросил он, чего-либо такого, что ее особенно отталкивает? Тогда он постарается измениться, исправить свои недостатки, если это только в его силах. Быть может, ей не нравится, что он...

Она прервала его, прошептав:

– Нет, вовсе нет. Но все это просто невозможно. Я ведь даже не знаю, кто вы такой, например. Нет, я не сомневаюсь, что вы желаете мне добра, поймите меня правильно...

– Кто я такой, например, – повторил он и поглядел на нее. В его мозгу мелькнула догадка, он понял: что-то подорвало ее доверие к нему, какая-то враждебная сила встала между ним и ею, и он спросил:

– У вас кто-нибудь был сегодня?

Она ничего не ответила.

– Простите, пожалуйста, да и, в сущности, какое это имеет теперь для меня значение... У меня нет права задавать вам вопросы.

– Как я была счастлива сегодня ночью, – сказала она. – Господи, как я ждала, чтобы скорее наступило утро, как я ждала вас! Но днем меня снова одолели сомнения.

– Скажите мне только одно: вы, значит, не верите, что я был честен по отношению к вам, вы утратили ко мне всякое доверие?

– Нет, не совсем. Не сердитесь на меня, дорогой! Вы ведь не здешний, и я знаю о вас лишь то, что вы сами о себе говорите. Возможно, вы говорите все искренне, но потом, быть может, раскаетесь. Я ведь не знаю, какие вам потом придут мысли.

Пауза.

Он берет ее за подбородок, чуть запрокидывает ей голову и говорит:

– А что еще говорила вам фрекен Хьеллан?

Она была застигнута врасплох, вскинула на него испуганный взгляд, который выдал ее смятение, и воскликнула:

– Я этого не говорила!.. Неужели я это сказала?.. Нет, я этого не говорила!..

– Да, да, вы этого не говорили, – подтвердил он. Он задумался и уставился в одну точку. – Да, вы не сказали, что она была здесь, вы не назвали ее имени, можете быть спокойны... Значит, фрекен Хьеллан здесь действительно была, вошла вот в эту дверь и вышла из нее, справив свое дело. Видно, ее это задело за живое, раз она прибежала сюда в такую непогоду... Да, весьма странно... Дорогая, милая Марта, добрейшая вы душа! Мне хочется встать перед вами на колени, потому что вы такая добрая! Верьте мне, верьте мне хоть сегодня. А потом вы увидите, я вам докажу, что у меня и в мыслях не было обмануть вас. Не берите сейчас назад свое обещание. Обдумайте все еще раз! Хорошо? Подумайте до завтра, и мы снова встретимся...

– Не знаю... Право, не знаю, – перебила она его.

– Не знаете? Значит, вы намерены сейчас отделаться от меня раз и навсегда. Ну что ж...

– Я лучше приду к вам когда-нибудь потом... Когда вы будете женаты... когда у вас будет свой дом... Я хочу сказать, когда вы... Я стала бы у вас служанкой. Так мне было бы лучше.

Пауза. Да, ее недоверие к нему уже успело пустить глубокие корни, он почувствовал себя бессильным преодолеть его и не мог уже, как прежде, успокоить ее. И с болью в сердце он ощущал, что чем горячее говорит, тем больше она ускользает от него. Но почему она так плачет, что мучает ее? И почему она не выпускает его руки из своей? Он снова заговорил о Минутке, он решил прибегнуть к этому, как к последнему средству. Он хотел во что бы то ни стало встретиться с ней завтра, после того как она еще раз все хорошенько обдумает.

– Простите, что я уж в который раз заговариваю с вами о Минутке, – сказал он. – И пусть это вас не тревожит, у меня есть свои причины затевать этот разговор. Я не могу сказать об этом человеку

ничего дурного. Напротив, я, как вы помните, всегда говорил вам о нем все самое лучшее. Но я не исключаю, что именно он стоит у меня на пути. Поэтому я тогда расспрашивал вас о нем и утверждал, что он не хуже любого другого мог бы содержать семью. Да я и сейчас считаю, что он вполне с этим справится, если только ему помогут поначалу. Но вы и слушать об этом не хотели. Минутка вас не интересовал, и вы даже просили не говорить больше о нем. Хорошо! Но все же у меня остались подозрения, и вы меня до конца в этом не разуверили, поэтому я вас снова спрашиваю: нет ли чего-нибудь между вами и Минуткой? Если это так, я немедленно ретируюсь... Вот вы качаете головой. Но в таком случае я решительно не понимаю, почему вы отказываетесь до завтра еще раз обдумать все как следует и дать мне окончательный ответ. Это было бы только справедливо. А вы – вы ведь так добры!

И она сдалась. Она даже встала в порыве волнения и, смеясь и плача одновременно, погладила его по волосам, как уже однажды делала. Да, она хочет его завтра увидеть, очень хочет, только пусть он придет немного пораньше, часа в четыре или в пять, одним словом, засветло, чтобы не было пересудов. А теперь ему надо уйти, и уйти как можно скорее, так будет лучше. Да, да, пусть он придет завтра, она будет дома и будет его ждать.

Что за дитя эта седая девушка! Достаточно было одного слова, какой-то невнятной фразы, чтобы вновь сильно забилося ее сердце и лицо озарилось нежной улыбкой. Она не выпускала его руки из своей до последней минуты, шла с ним до самой двери рука в руке. С порога она очень громко пожелала ему спокойной ночи, словно поблизости был кто-то, кому она бросала вызов.

Дождь перестал, наконец-то, можно сказать, перестал, кое-где в разрывах темных туч уже проглядывало голубое небо, и лишь изредка, то там, то здесь еще падали на мокрую землю тяжелые капли.

Нагель вздохнул свободнее. Да, он сумеет заново завоевать ее доверие, конечно, сумеет! Он пошел не домой, а по набережной вдоль берега и, миновав окраинные домишки, опять оказался на дороге, ведущей к пасторской усадьбе. Кругом не было ни души.

Но не успел он пройти и нескольких шагов, как увидел на обочине человеческую фигуру. Видимо, кто-то сидел на краю дороги,

а теперь поднялся и пошел. Он пригляделся и узнал Дагни, ее белокурая коса резко выделялась на темном дождевике.

Дрожь пронизала его с головы до ног, он даже остановился на мгновение, он был крайне удивлен. Разве она не занята нынче вечером на благотворительном базаре? А может быть, она просто вышла пройтись перед началом живых картин. Она шла очень медленно, даже останавливалась несколько раз и глядела на птиц, которые теперь снова начали летать между деревьями. Видела ли она его? Не хотела ли она его испытать? Не поднялась ли она с обочины при его появлении лишь затем, чтобы проверить, осмелится ли он и на этот раз заговорить с ней?

Ей нечего волноваться, никогда больше он не станет докучать ей! И вдруг в нем вскипает злоба, слепая, неукротимая злоба против этой девушки, которая, быть может, снова вызовет его на какой-нибудь отчаянный поступок только для того, чтобы потешиться потом над его слабостью. Конечно, с нее станет рассказать сегодня всем на благотворительном базаре, что он продолжает ходить за ней по пятам. Разве не была она недавно у Марты и не разрушила своими руками его счастье? Неужели ей недостаточно всего этого? Неужели она намерена и впредь чинить ему зло? Она хотела рассчитаться с ним сполна, – хорошо, но ведь и так она уже отплатила ему с лихвой.

Они оба идут одинаково медленно, один за другим, и все те же пятьдесят шагов отделяют их друг от друга. Так продолжается несколько минут. Вдруг она роняет носовой платок. Он видит, как он скользит вдоль пояса ее дождевика и падает на землю. Знает ли она, что уронила его?

И Нагель убеждает себя, что это просто уловка, что ее гнев еще не улегся, что она хочет заставить его поднять этот платок и принести ей для того, чтобы она, заглянув ему в глаза, насладилась бы его поражением у Марты. Злость охватывает его, он поджимает губы, горестная складка перерезает лоб. Ха-ха, черта с два она дождетса, чтобы он подбежал к ней и дал повод рассмеяться ему в лицо! Поглядите, она обронила платочек, вот он лежит прямо посреди дороги, белоснежный, тоненький, кружевной, и нужно только нагнуться и поднять его...

Он шел все так же, не ускоряя шага, а когда поравнялся с платком, наступил на него и, не останавливаясь, двинулся дальше. Еще

несколько минут они шли вперед на том же расстоянии друг от друга. Вдруг он увидел, что она посмотрела на часы и, резко повернув, направилась к городу. Теперь она шла ему навстречу. Быть может, она заметила, что потеряла платок. Он тоже повернул и медленно шел перед ней, а поравнявшись с ее платком, снова на него наступил, на этот раз у нее на глазах. Он шел дальше и чувствовал, что она идет сзади, совсем близко от него, но не прибавил шага. Так они шли до самого города.

Дагни, как он и предполагал, направилась к зданию, где был устроен благотворительный базар, а он вернулся в гостиницу.

Поднявшись в номер, он распахнул окно и оперся локтями о подоконник. Он чувствовал себя разбитым, просто раздавленным от пережитого волнения. Его злость прошла, он как-то сник и, уронив голову на руки, затрясся как в ознобе от беззвучных рыданий. Вот, значит, чем все это кончилось! О, как он сожалел о том, что случилось, как он хотел, чтобы этого никогда не было! Она уронила свой платок, возможно, не случайно, а с целью его, Нагеля, унижить. Ну и что с того? Он мог бы его поднять, сбечь и всю жизнь носить на груди. Какой белоснежный был этот платок, а он втоптал его в грязь! И кто знает, вдруг она и не отняла бы у него платок, если бы он его поднял, а разрешила бы ему оставить его у себя. Кто знает! А даже если бы она захотела отобрать у него платок, он упал бы перед ней на колени и молил бы, простирая к ней руки, явить великую милость и оставить ему платок на память. И пусть бы она в ответ рассмеялась ему в лицо, что с того!

Вдруг он срывается с места, сбегает с лестницы, перепрыгивая через ступеньки, выскакивает на улицу, чуть ли не бегом пересекает город и снова устремляется к дороге, ведущей к пасторской усадьбе. Быть может, ему удастся найти платок! И действительно, Дагни не подняла его, хотя наверняка видела – в этом Нагель был уверен, – как он на него наступил. Платок лежал на том же самом месте. Слава богу! Как все-таки ему везет! С бешено колотящимся сердцем прячет он платок, поспешно возвращается домой и тут же начинает полоскать его в воде, полощет очень долго, потом тщательно разглаживает рукой. Платок уже не был таким ослепительно-белым, и один уголок его был разорван, видимо, он зацепил кружево каблуком. Но какое все это имеет значение! Как он счастлив, что подобрал его!

Только когда он снова сел у окна, он сообразил, что бегал через весь город с непокрытой головой. Да, он сумасшедший, он действительно сумасшедший! А что, если она его видела? Может быть, она все это нарочно подстроила и в конце концов он все же так глупо попался в ее ловушку. Нет, необходимо как можно скорее положить этому конец! Он должен заставить свое сердце не колотиться, когда видит ее, он должен научиться встречать ее с поднятой головой и холодными глазами, ничем не выдавая своих чувств. Он добьется этого, чего бы это ему ни стоило! Он уедет отсюда и увезет с собой Марту. Пусть Марта слишком хороша для него, но он скрутит себя в бараний рог, чтобы стать достойным ее, не даст себе ни минуты покоя, пока не заслужит ее любви.

Погода все улучшалась, свежий ветерок, врываясь в окно, доносил до него запахи мокрой травы и сырой земли, и он понемногу приходил в себя. Да, завтра он пойдет к Марте и будет умолять ее согласиться...

Но уже утром следующего дня все его надежды рухнули.

Началось с того, что рано утром явился доктор Стенерсен. Нагель еще лежал в постели. Доктор извинился. Этот проклятый благотворительный базар отнимает у него буквально все время и днем и ночью. Да, и сюда он пришел с поручением, с некоторого рода миссией: он должен упросить Нагеля снова выступить сегодня в концерте. В городе только и разговоров, что о его игре, все сгорают от любопытства, не могут спать – нет, право же...

– Я вижу, вы читаете газету? Ох, уж эта политика! Вы обратили внимание на последние назначения! Да и с выборами в целом все идет не так, как надо. Результаты никак нельзя считать пощечиной шведам... На мой взгляд, вы слишком поздно валяетесь в постели – ведь уже пробилло десять. А какая нынче погода! Такая теплынь, что воздух дрожит! В такое утро хочется выйти, пройтись немного.

Да, Нагель как раз собирается встать.

Какой же ему дать ответ организаторам благотворительного базара? Нет. Нагель не будет играть.

Как же так? Ведь это такое важное для города дело. Вправе ли он не оказать такой небольшой услуги?

Все это, несомненно, так, но играть он просто не в состоянии.

Боже мой, а все рассчитывали на него, особенно дамы. Вчера вечером они форменным образом атаковали доктора, настаивая, чтобы он это организовал. Фрекен Андерсен просто не давала ему покоя, а фрекен Хьеллан отвела его в сторону и велела не отставать от Нагеля до тех пор, пока он не пообещает сыграть.

Но ведь фрекен Хьеллан и представления не имеет об его игре. Она никогда не слышала, как он играет.

Верно, но просила она настойчивее всех. Даже предложила аккомпанировать. Под конец она сказала: передайте ему, что мы все его просим...

– Ну, что вам стоит в конце концов провести десять-двенадцать раз смычком по струнам и доставить всем удовольствие!

Нет, он не может, в самом деле не может.

Ну что за отговорки? Ведь в четверг вечером он мог?

Но Нагель настаивал на своем: пусть доктор войдет в его положение, он умеет играть только эти несколько жалких тактов, это бессвязное попури, он разучил два-три танца, чтобы при случае удивить общество. Да, кроме того, он так ужасно фальшивит, что ему самому противно слушать свою игру, поверьте, противно...

– Да, но...

– Доктор, я не буду играть!

– Но, может быть, если не сегодня вечером, то хоть завтра? Завтра воскресенье, закрытие базара, ожидается бог весть сколько народу.

– Нет, вы должны меня извинить, но завтра я тоже не буду играть. Вообще стыдно брать в руки скрипку, если не умеешь играть лучше, чем я. Просто диву даешься, доктор, что вы не слышали, как я дурно играю.

Этот удар по самолюбию доктора возымел свое действие.

– Нет, почему, я заметил, что вы кое-где детонировали, сыграли не совсем чисто, но, черт возьми, не все же знатоки!

Все старания доктора оказались тщетными, он получил окончательный отказ и ушел.

Нагель стал одеваться. Значит, Дагни, оказывается, горячо настаивала, чтобы он играл, хотела даже ему аккомпанировать! Это что, новая ловушка? Вчера вечером у нее ничего не вышло, и сегодня она решила сквитаться с ним таким образом?.. Господи, а вдруг он к ней несправедлив, быть может, она его уже не ненавидит и не хочет ему мстить? И он мысленно попросил у нее прощения за свою подозрительность. Он взглянул в окно на рыночную площадь. Как ослепительно сияет солнце, какое чистое небо! Он начал напевать.

Когда он был уже почти одет к выходу, Сара просунула ему в дверь письмо. Письмо это принес не почтальон, а посыльный. Оно было от Марты и состояло всего из нескольких строчек: пусть он не приходит сегодня вечером, потому что она уехала из города. Она богом молит его простить ее и не разыскивать. Ей было бы невыносимо тяжело его снова увидеть. Прощайте! В самом низу листка, под подписью, была приписка, что она никогда его не забудет. «Я никогда не смогу вас забыть», – написала она. От этого письмеца, содержавшего лишь несколько фраз, веяло глубокой печалью. Даже буквы были какие-то поникшие, унылые. И все же она с ним прощалась.

Он рухнул на стул. Конец, все пропало! И там его оттолкнули. Подумать только, все словно в заговоре против него! Имел ли он когда-нибудь более чистые и честные намерения, и тем не менее, тем не менее все напрасно! Долго сидел он не двигаясь.

Потом он вдруг вскакивает со стула. Он глядит на часы. Одиннадцать. Быть может, он еще застанет Марту! Без промедления бежит он к ее дому. Дом заперт, он глядит в окна – ее нет.

Он потрясен. Он бредет назад, плохо соображая, что делает, не видя ничего вокруг. Как она могла так поступить? Как она могла так поступить? Почему она не позволила ему проститься с ней, пожелать ей всего самого, самого хорошего, раз уж она решила уехать. Он мог бы стать перед ней на колени и земно поклониться ей за ее доброту, за ее чистое, чистейшее сердце. Но она не захотела этого. Да, тут уж ничего не поделаешь!

Выйдя в коридор, он натолкнулся на Сару и узнал, что письмо принес посыльный из пасторской усадьбы. Значит, и это дело рук Дагни, ей удалось осуществить свой план, она все точно рассчитала и нанесла свой удар так внезапно, что захватила его врасплох. Нет, она, видно, никогда его не простит!

Весь день он провел на ногах – то бродил по улицам, то мерил шагами свою комнату, то шатался по лесу, но он нигде не находил себе места, не знал ни минуты покоя. Он шагал с низко опущенной головой и с широко открытыми, но ничего не видящими глазами.

Следующий день он провел точно так же. Это было воскресенье, и с хуторов понаехала масса народу, чтобы побывать на базаре и посмотреть живые картины, которые показывали в последний раз. Нагель снова получил приглашение выступить в концерте, сыграть хотя бы один номер; на этот раз просить его пришел другой член распорядительного комитета, консул Андерсен, отец Фредерики. Но Нагель снова ответил отказом.

В течение четырех дней Нагель ходил как помешанный, он был в каком-то странном состоянии, он словно отсутствовал, весь во власти одной мысли, одного чувства. Каждый день он наведывался к домику Марты, чтобы посмотреть, не вернулась ли она. Куда она уехала? Но даже если бы ему и удалось ее найти, что изменилось бы? Для него ничто уже не могло измениться!

Однажды вечером он чуть было не столкнулся с Дагни. Она выходила из лавки и оказалась так близко от него, что едва не задела его локтем. Ее губы дрогнули, словно она хотела заговорить с ним, но вдруг она вся залилась краской и так ничего и не сказала. Он почему-то не сразу узнал ее, от растерянности даже остановился на мгновение и посмотрел на нее, но потом резко отвернулся и пошел прочь. Она шла за ним, он слышал, что она все ускоряет и ускоряет шаг; ему казалось, что она старается его догнать, и он тоже прибавил ходу, чтобы уйти, чтобы спрятаться от нее. Он боялся ее, она наверняка принесет ему еще какое-нибудь несчастье! Наконец он добрался до гостиницы, вбежал в холл и, охваченный настоящей паникой, стремглав кинулся вверх по лестнице к себе в комнату. Слава богу, он спасен!

Это было 14 июля, во вторник...

На следующее утро он принял, казалось, решение действовать. За эти дни он внешне сильно изменился, лицо его стало землисто-бледным и как бы застыло в неподвижности, а глаза остекленели, утратили выражение. И все чаще случалось ему долго бродить по улицам, прежде чем он замечал, что кепку свою он опять оставил в гостинице. В этих случаях он всякий раз говорил себе, что так продолжаться не может, что надо этому положить конец; и, говоря это, он до боли сжимал кулаки.

Встав в среду утром с постели, он первым делом вынул из кармана жилета пузырек с ядом и принялся его изучать; взболтнул его, понюхал и снова спрятал. Пока он одевался, он по старой привычке отдался нескончаемому и бессвязному потоку мыслей, которые постоянно его терзали и не давали отдыха его усталой голове. Его мозг работал с невероятной, с безумной быстротой. Он был так возбужден и в таком отчаянии, что с трудом сдерживал слезы, бесчисленные тревоги одолевали его.

Да, слава богу, у него есть этот пузырек! Жидкость прозрачна, как вода, и пахнет миндалем. Скоро ей найдется применение, очень скоро, раз нет другого выхода. Значит, пришел конец. Ну что ж, можно и так. А он-то мечтал, прекраснодушно мечтал совершить нечто значительное на земле. Нечто такое, от чего нынешние людоеды содрогнулись бы и осенили себя крестным знамением, – но ничего не вышло, не удалось... Почему же ему не использовать эту жидкость по

назначению? Остается лишь одно – выпить ее со спокойным лицом. Да, да, и он это сделает, когда придет срок, когда пробьет его час.

И Дагни победит...

Какая невероятная сила в этой девушке, такой, казалось бы, обыкновенной, с длинной косой и таким спокойным сердцем! Теперь он понимает этого несчастного, который не захотел жить без нее, того, что писал про сталь и про последнее «нет»; его поступок уже не вызывает у него удивления, Карлсен нашел выход, а что, собственно, ему оставалось делать?.. Как вспыхнут ее темно-синие глаза, когда она узнает, что и он отправился по тому же пути. Но я люблю тебя, люблю тебя за твою злость, люблю не только за хорошее, но и за дурное. Ты измучила меня своей снисходительностью – и как ты только миришься с тем, что у меня не один, а два глаза? Тебе следовало бы отнять у меня второй глаз, а лучше – оба. Как ты только терпишь, что я свободно хожу по улицам и что у меня есть крыша над головой? Ты оторвала от меня Марту, но я все равно люблю тебя, и ты знаешь, что я все равно тебя люблю. И смеешься над этим. А я люблю тебя и за то, что ты смеешься над этим. Можешь ли ты требовать большего? Неужто этого мало? Твои тонкие белые руки, твой голос, твои светлые волосы, твой ум, душу твою я люблю больше всего на свете, не могу перестать любить, и нет мне спасенья. Господи, помоги мне! Как тебе хотелось бы еще больше унижить меня, выставить на посмешище, но что с того, Дагни, раз я все равно тебя люблю. Мне это безразлично, по мне – поступай, как тебе заблагорассудится, для меня ты всегда будешь такой же прекрасной и достойной любви, я с радостью признаюсь в этом. Я тебя чем-то разочаровал, ты считаешь меня жалким и плохим, думаешь, что я способен на любую низость. Ты заподозрила меня в том, что я готов пойти на хитрость, лишь бы казаться повыше ростом. Ну и что ж? Раз ты так говоришь, значит, так оно и есть, и я откроюсь тебе: во мне все дрожит и ликует, когда ты это говоришь. Даже когда ты смотришь на меня с презрением или, повернувшись ко мне спиной, не достаиваешь меня ответом, или пытаешься догнать меня на улице, чтобы унижить меня, – даже тогда мое сердце переполнено любовью к тебе. Пойми меня, я сейчас не обманываю ни тебя, ни себя, но даже если ты опять будешь смеяться, мне все равно, мое чувство от этого не изменится. Если мне случилось бы найти когда-нибудь брильянт, я назвал бы его Дагни, потому что

одно твое имя обжигает меня радостью. Я дошел до того, что хотел бы все время слышать твое имя, хотел бы, чтобы его называли все люди, и все звери, и все горы, и все звезды, чтобы я был глух ко всему остальному и только твое имя звучало бы в моих ушах, как непрекращающаяся музыка, денно и ночью, всю мою жизнь. Я хотел бы в твою честь ввести новую клятву, клятву для всех народов земного шара – только чтобы прославить тебя. И если бы я согрешил этим против господа и господь предостерег бы меня, я ответил бы: считай мне этот грех, я заплачу за него своей душой, когда придет время, когда пробьет мой час...

Как странно все получается! Я вдруг остановился на своем пути, но ведь я все тот же, исполнен силы, живой. Мне открыты все те же возможности, я могу свершать те же поступки, что и раньше; так почему же я вдруг остановился на своем пути, почему все возможности стали вдруг невозможными? Неужели я сам в этом виноват? Я не знаю, в чем моя вина; я владею всеми своими чувствами, у меня нет дурных привычек, я не подвержен ни одному пороку, и я не кидаюсь слепо навстречу опасности. Я думаю, как прежде, чувствую, как прежде, владею собой, как прежде, да и людей оцениваю, как прежде. Я иду к Марте, я знаю, что в ней – мое спасение, она – мой добрый гений, мой ангел-хранитель. Она боится, она исполнена страха, но в конце концов она уже хочет того же, что и я, она дает свое согласие. Хорошо. Я мечтаю о мирной, счастливой жизни. Мы удаляемся в глушь, живем в полном уединении, в хижине на берегу ручья, мы гуляем по лесу, она – в коротком платье, я в башмаках с пряжками – все точь-в-точь так, как того требует ее доброе чувствительное сердце. Почему же нет? Магомет пришел к горе! И Марта со мной, она наполняет мои дни чистотой, а ночи – покоем, и господь бог на небе благословляет наш союз. Но вот свет вмешивается в нашу жизнь, свет возмущен, свет считает, что это сущее безумие. Свет утверждает, что ни один благоразумный мужчина и ни одна благоразумная женщина не поступили бы так, а значит, поступать так – безумие. И я стою один, один против всех, и топаю ногой, и кричу, что нет, это благоразумно! Что знает свет? Ничего. Люди привыкают к чему-то новому, принимают и признают его только после того, как это новое признал какой-нибудь учитель; все на свете лишь предположение, даже такие понятия, как время,

пространство, движение, материя тоже лишь предположение. Люди нечего не знают точно, они лишь предполагают...

На мгновение Нагель рукой заслонил глаза и несколько раз помотал головой, словно перед ним все ходуном пошло. Он стоял посреди комнаты.

О чем же это я думал?.. Хорошо, она боится меня; но ведь мы все же договорились. И я сердцем чувствую, что всегда делал бы ей только добро. Я хочу порвать со светом, я отсылаю ему кольцо обратно; я блуждал, как глупец, среди других глупцов, делал глупости, даже играл на скрипке, и толпа кричала мне «хорошо рычишь, лев!». Меня тошнит при воспоминании о моем бесконечно пошлом триумфе, когда людоеды мне аплодировали. Я не желаю больше конкурировать с телеграфистом из Кабелвога, я ухожу в мирную долину, превращаюсь в мирного обитателя леса, я молюсь своему богу, распеваю веселые песни, становлюсь суеверным. Бреюсь только в часы прилива и засеваю свое поле в зависимости от крика тех или иных птиц. А когда я устаю от работы, жена выходит из хижины и, стоя в дверях, ласково мне улыбается и кивком подзывает меня, и я благословляю ее и благодарю за эту ласковую улыбку... Марта, ты ведь согласилась, правда? Ты так твердо сказала мне «да» под конец, когда я тебе все объяснил, ты и сама уже этого хотела. И все же ничего, ничего не вышло. Тебя просто увезли, застигли врасплох и увезли, не на твою, но на мою погибель.

Дагни, я не люблю тебя, ты стоишь мне всюду поперек дороги, я не люблю твоего имени, оно меня раздражает, я искажаю его, я говорю «Дагни» и высовываю при этом язык. Христом-богом молю, выслушай меня. Я хочу прийти к тебе, когда пробьет мой час, и я умру, я явлюсь тебе на фоне стены с лицом трефового валета, я приму облик скелета и буду преследовать тебя, плясать вокруг тебя на одной ноге, и руки отнимутся у тебя от моего прикосновения. Я сделаю это, я сделаю это! Да сохранит меня господь от тебя ныне и присно и во веки веков, а это значит, пусть ты достанешься черту, всеми силами души я молю об этом...

Ну и что же, что же в конце концов? Я все-таки люблю тебя, Дагни, и ты прекрасно знаешь, что я люблю тебя, несмотря ни на что, что я раскаиваюсь в тех горьких словах, которые сказал. Ну и что же дальше? Что толку? Да-и кто знает, не к лучшему ли все сложилось?

Если ты скажешь, что к лучшему, значит, так оно и есть, я чувствую, как ты, я странник, которого остановили на пути. Но даже если бы ты и захотела, порвала со всеми остальными и связала бы свою судьбу со мной – чего я, конечно, не заслуживаю, но все же предположим, что это случилось бы, – к чему бы это привело? Ты хотела бы помочь мне осуществить мои замыслы, хотела бы, чтоб я совершил то, что мне положено на земле, – но говорю тебе, мне стыдно, мое сердце останавливается от стыда при одной мысли об этом. Я делал бы все, как ты хотела, потому что я люблю тебя, но при этом я страдал бы в глубине души... Но какой, черт побери, смысл строить одно за другим эти предположения, когда все они исходят из невозможного. Ты не хочешь порвать со всеми остальными и связать свою судьбу со мной, ты злорадствуешь, смеешься надо мной, издеваешься. Какое мне дело до тебя? Точка.

Пауза. В запальчивости:

Впрочем, имей в виду, я выпью сейчас вот этот стакан воды и пошлю тебя ко всем чертям. На редкость глупо с твоей стороны думать, что я тебя люблю, что я буду еще обременять себя этим теперь, когда мой час вот-вот пробьет. Я ненавижу твой мещанский образ жизни, такой благополучный, такой причесанный и такой пустой. Я ненавижу его, бог тому свидетель, и я исполнен святого гнева, когда думаю о тебе. В кого бы ты меня превратила? Хаха, готов поклясться, что ты сделала бы из меня великого человека! Ха-ха, ведь мне в душе стыдно за твоих великих людей...

Великий человек! Сколько на свете великих людей? Сперва – великие норвежцы, это вообще самые великие люди на свете. Потом – великие люди во Франции, в стране Гюго и других поэтов. А есть еще великие люди и в балагане Барнума. И все это множество великих людей разгуливает по земному шару, который по сравнению с Сириусом не больше обыкновенной вши. Но великий человек – это не маленький человек, великий человек не живет в Париже, а пребывает в Париже. Великий человек стоит на такой недосягаемой высоте, что видит поверх своей головы. Лавуазье просил, чтобы отсрочили его казнь, пока он не закончит какого-то химического исследования, а это то же самое, что сказать: «Не наступайте на мои чертежи». Ха-ха-ха, что за комедия! Когда даже Евклид, да, да, даже Евклид со всеми своими аксиомами ни на эре не прибавил ничего к основным

жизненным ценностям. О, каким убогим, каким невзыскательным, каким не гордым сделали люди мир божий!

Великих людей создают совершенно случайно, из первых попавшихся профессионалов, из тех, кому случайно удалось усовершенствовать аккумулятор, или из тех, у кого случайно хватило мускульной силы пересечь Швецию на велосипеде. И великих людей заставляют писать книги, чтобы им поклонялись еще больше. Ха-ха, это просто потеха, за такое стоит заплатить! В скором будущем каждая община заведет себе великого человека, какого-нибудь там юриста, или романиста, или полярного исследователя небывалой величины. И земля станет такой великолепно плоской и ровной, что окинуть ее взором будет проще простого.

Дагни, теперь настал мой черед. Я злорадствую, я смеюсь над тобой, я издеваюсь. Что тебе до меня? Я никогда не буду великим человеком...

Но предположим, что на свете есть невероятное количество великих людей, целый легион гениев такой-то и такой-то величины. Почему бы этого не предположить? Ну и что же? Количество их будет мне импонировать? Напротив, чем больше их будет, тем они покажутся обыденней. Или прикажете мне поступать, как поступает весь свет? Свет всегда остается верен себе, он принимает только то, что уже было принято, он восхищается великими людьми, падает перед ними на колени, бегают за ними, приветствуя их криками «ура!». И мне, что ли, так поступать? Комедия, чистая комедия! Великий человек идет по улице, а прохожий толкает в бок другого прохожего и говорит: «Вот идет такой-то и такой-то великий человек». Великий человек сидит в театре, одна учительница щиплет другую за тощую ляжку и шепчет: «Вот там, в боковой ложе, сидит такой-то и такой-то великий человек!» Ха-ха-ха! А он сам, этот великий человек, он что? Он благосклонно смотрит на это поклонение, да, да, именно так. Он считает, что люди правы, он заслуживает их внимание, принимает его как должное, не уклоняется, даже не краснеет. И с чего бы это он стал краснеть? Разве он не великий человек?

Но молодой студент Эйен не согласился бы с этим. Он сам собирается стать великим человеком. Ведь он пишет во время каникул роман. Он уличил бы меня в непоследовательности: «Господин

Нагель, вы же сами себе противоречите. Поясните вашу точку зрения».

И я пояснил бы ему свою точку зрения.

Но юный Эйен не удовлетворился бы моим объяснением и спросил бы; «Значит, по-вашему, выходит, что вообще нет великих людей?»

Да, он непременно задал бы мне этот вопрос уже после того, как я разъяснил бы ему свою точку зрения! Ха-ха-ха! Вот как он понял бы мой ответ. И все же я постарался бы ему терпеливо растолковать, что именно я имею в виду; я сел бы на своего любимого конька и сказал бы: «Итак, мы имеем целый легион великих людей. Вы слышите, что я говорю! Их – целый легион! Но величайших из них – раз, два и обчелся». Вот видите, в этом и заключается разница. Скоро в каждой общине появится свой великий человек. Но величайший человек, быть может, так и не появится даже за тысячелетие. Под словами «великий человек» люди разумеют талант, может быть, даже гениальность, а гений, бог ты мой, вполне демократическое понятие, уверяю вас; съедайте по несколько бифштексов в день, и ваш род обеспечен гениями до третьего, пятого или десятого колена. Для народа гений не означает нечто небывалое, короче, перед гением останавливаются, но он не поражает. Представьте себе такую ситуацию: ясным зимним вечером вы стоите у телескопа в обсерватории и наблюдаете созвездие Ориона. Вдруг за вашей спиной раздается: «Добрый вечер, добрый вечер». Вы оборачиваетесь – перед вами сам Фарнлей, он низко кланяется. Итак, к вам пришел великий человек, гений из боковой ложи. А вы, конечно, ухмыляетесь себе под нос и поворачиваетесь к окуляру телескопа, чтобы снова наблюдать созвездие Ориона. Со мной однажды произошел такой случай... Вы поняли, что я имею в виду? Я хочу сказать: вместо того чтобы восхищаться обыкновенными великими людьми, при виде которых простые смертные с величайшим почтением толкают друг друга в бок, я предпочитаю отдать должное маленьким, никому не ведомым гениям, юношам, которые умерли очень рано, потому что такие души обречены, это нежные, мерцающие светляки, с которыми надо столкнуться, пока они еще живы, чтобы знать, что они существуют. Вот такие в моем вкусе. Но, главное, я убежден, это уметь отличить величайшее от великого, воздвигнуть величайшее на такую высоту, чтобы оно не потонуло в

пролетариате гениев. Я хочу, чтобы величайший из гениев занял подобающее ему место; так сделайте же выбор, заставьте меня преклониться, избавьте меня от гениев в масштабе коммуны, а это значит, надо найти величайшего, – его превосходительство Величайший...

На это юный Эйен скажет – да, я знаю его, он наверняка скажет: «Но согласитесь, ваши рассуждения в самом деле носят чисто теоретический характер, все это сплошные парадоксы».

Но я не могу согласиться с тем, что это только теория, никак не могу, видит бог! До чего же иначе я на все смотрю! Моя ли это вина? Я хочу сказать: виноват ли лично я в этом? Я чужой, я чужестранец в этом мире, так сказать, причуда бога, назовите меня как хотите...

С еще большим ожесточением.

И я говорю вам: мне глубоко безразлично, как вы меня назовете, я все равно не сдамся, никогда в жизни! Я стискиваю зубы, я ожесточаю свое сердце, потому что я прав; я один буду стоять против всего мира и все-таки не сдамся! Я знаю то, что я знаю, в глубине своего сердца я прав; в какие-то мгновения я вдруг ощущаю бесконечную связь во всем. Я должен еще что-то сказать, но я забыл что; однако я не сдаюсь: я разобью в пух и прах все ваши глупые представления о великих людях. Юный Эйен утверждает, будто мое мнение – это только теория. Хорошо, если мое мнение только теория, то я отказываюсь от него и найду новые доводы, еще более убедительные, чем те, что я приводил; я ведь ничего не боюсь. И я говорю... подождите, я убежден, что смогу сказать что-то еще более веское, потому что сердце мое знает правду; да, да, я говорю, я презираю и ненавижу великого человека из боковой ложи, для меня, если быть чистосердечным, он паяц и глупец, мои губы кривятся в усмешке, когда я вижу его выпяченную грудь и победоносное выражение на его лице. Разве великий человек сам добился своей гениальности? Разве он не родился уже гением? Так чего же кричать ему «ура»?

Но тут юный Эйен спрашивает: «Ведь вы сами хотели поставить его превосходительство Высочайшего гения на подобающее ему место, вы восхищаетесь этим Высочайшим гением, хотя он тоже не сам добился своей гениальности».

И юный Эйен думает, что он снова поймал меня на противоречии, да, ему это так представляется! Но я снова возражаю

ему, потому что моими устами говорит святая правда; я и величайшему из великих не преклоняюсь, я даже от его превосходительства Высочайшего гения готов отречься, если это необходимо, если это очистит землю. Великим гением восхищаются за его величие, за то, что он достиг возможного предела гениальности – мы воображаем, будто это его личная заслуга, будто гений не принадлежит всему человечеству и не является в буквальном смысле слова свойством материи. В том, что Высочайший гений случайно завладел частицей гениальности, которая должна была бы выпасть на долю его отца, его сына, его внука и правнука, и что он обобрал, таким образом, свой род на несколько столетий и вверг его в ничтожество, – в этом, конечно, нет его личной заслуги. Он просто обнаружил в себе гения, понял свое предназначение и осуществил его... Теория? Нет, это не теория. Имейте в виду, что это мое убеждение, которое я выносил в своем сердце. Но если и это вам покажется теорией, то я найду еще не один убедительный довод, да, если надо будет, я смогу противопоставить вашим словам и третье, и четвертое, и пятое уничтожающее возражение, я буду стараться делать это как можно лучше, но я не сдамся.

Но юный Эйен тоже не хочет сдаваться, потому что его подпирает весь мир, и он говорит: «Значит, вы никем не восхищаетесь, ни одним великим человеком, ни одним гением!»

И я отвечаю ему, и ему становится все больше и больше не по себе, потому что он сам намерен стать великим человеком. Я выливаю на него ушат холодной воды и говорю: «Да, я не преклоняюсь перед гением. Но я преклоняюсь перед результатами деятельности гениев на земле, той деятельности, для которой великие люди являются только ничтожным орудием, так сказать, каким-нибудь жалким шилом, предназначенным делать дырки... Теперь ясно? Вы меня поняли?»

И продолжает, простирая руки:

– О, я сейчас снова увидел бесконечную внутреннюю связь всех явлений! Как это ослепительно, как это ослепительно! Великое откровение посетило меня в этот миг, прямо здесь, посреди комнаты! Для меня не было больше тайн, я постиг все до самого дна, свет бездны ослепил меня!

Пауза.

Да, да, да, да, да, да! Я чужой среди людей, и скоро пробьет мой час. Да, да... Собственно говоря, какое мне дело до великих людей! Никакого! Вот только то, что эта шумиха с великими людьми – комедия, шарлатанство, обман. Хорошо! Но разве не все на свете комедия, шарлатанство, обман? Конечно, конечно, все только обман. Камма, и Минутка, и все люди, и любовь, и сама жизнь – обман; все, что я вижу, и слышу, и воспринимаю, – обман, даже синева неба – это озон, яд, вкрадчивый яд... А когда небо совсем ясное и синее, я подымаю парус на своей лодке, там, наверху, и меня тихонько гонит вперед, по синему, обманчивому озону. И лодка из благоуханного дерева, и парус...

Дагни сама сказала, что это прекрасно. Дагни, ты это сказала, и я благодарю тебя, несмотря ни на что, потому что ты это сказала и сделала меня тогда таким счастливым, что я весь задрожал от радости. Я помню каждое твое слово, каждое я несу в себе и вспоминаю, когда брожу по дорогам и думаю о разных разностях, я никогда не забываю ни одного... И теперь, как только пробьет мой час, ты победишь. Я не хочу больше тебя преследовать. И не хочу тебе являться ночью на фоне стены; ты должна мне простить, что я пугал тебя, я говорил так из мести. Нет, я приду к тебе, когда ты будешь спать, чтобы обвевать тебя белыми крыльями, а когда ты проснешься, я буду ходить за тобой и нашептывать тебе добрые слова. Быть может, ты улыбнешься мне в ответ, когда их услышишь, да, быть может, ты улыбнешься мне. А если у меня не будет белых крыльев или если мои крылья будут недостаточно белы, я попрошу божьего ангела сделать это вместо меня, а сам я к тебе не подойду, я забьюсь в уголок и буду оттуда смотреть, как ты, быть может, улыбнешься ему. Да, я это сделаю, если только смогу, и хоть немного исправлю все то зло, которое тебе причинил. Я так радуюсь, когда думаю об этом, и меня томит только одно желание – поскорей бы, поскорей! Быть может, я смогу тебя порадовать и каким-нибудь другим чудесным образом. Я хотел бы петь над твоей головой утром в воскресенье, когда ты идешь в церковь, и об этом я тоже буду просить ангела. Если он не захочет этого для меня сделать и я не смогу его убедить, я брошусь перед ним на колени и буду молить его все более и более смиренно до тех пор, пока он не услышит меня. Я пообещаю ему за это что-нибудь хорошее, и я дам ему то, что пообещаю, я буду оказывать ему множество разных услуг,

если он будет так добр... Да, да, я сумею это устроить, и мне уже не терпится поскорее начать, я в восторге, когда об этом думаю. Но теперь мне недолго осталось ждать моего часа, я сам ускорю его приход, я с радостью жду его... Подумать только, когда рассеется туман, ха, ха, ха, ха...

В счастливом возбуждении, в состоянии какого-то необычайного подъема сбежал Нагель вниз по лестнице и вошел в столовую. Он все еще пел. Но тут пустяковый случай разом перебил его ликование и на несколько часов снова погрузил его в самое мрачное настроение. Продолжая напевать, он торопливо завтракал, стоя у стола, да, он так и не сел, хотя был не один в столовой. Заметив, что двое других постояльцев глядят на него с явным недовольством, он вдруг стал перед ними извиняться: если бы он их прежде заметил, то не позволил бы себе здесь шуметь. Дело в том, что в такие дни, когда стоит такая погода, он вообще ничего не видит и не слышит вокруг себя; ну, что за дивное утро! Нет, послушайте только, мухи уже жужжат!

Но он не получил никакого ответа на свои слова, у обоих посетителей были все те же недовольные физиономии, и они с важным видом разговаривали о политике. Настроение у Нагеля тут же упало. Он умолк и тихо вышел из столовой. На улице он зашел в первую попавшуюся лавочку, запасся сигарами и направился, как обычно, в лес. Было половина двенадцатого.

Да, если бы люди не всегда оставались верны себе! Вот хотя бы эти два адвоката или коммивояжеры, у того и другого брюшко и короткие, толстые пальцы; салфетки они заткнули прямо под подбородок. Ему следовало бы вернуться в гостиницу и посмеяться над ними! Кем, они могут быть, эти благородные господа? Коммивояжеры, торгующие крупой, дешевой кожей или бог его знает чем, возможно, просто глиняными горшками. Да уж, есть кому оказывать особое уважение! И все же они в одно мгновение развеяли всю его радость. А ведь у них даже импозантной внешности нет! Впрочем, один из них еще выпядит ничего, но у второго – у того, что торгует кожами, – кривой рот, который открывается только с одной стороны, так что он напоминает скорее петлицу. А из ушей у него кучками торчат седые волосы. Тьфу, он страшен как смертный грех! Но разве можно выражать свою радость, напевая себе под нос песенку, если такая цаца сидит за столом!

Да, люди действительно всегда верны себе, тут ничего не скажешь! Господа говорят о политике, господа обсуждают результаты выборов! Слава богу, не все потеряно. Бускеруда еще можно спасти для правых! Ха-ха, как забавно было наблюдать за их самодовольными физиономиями, когда они это говорили. Словно норвежская политика не что иное, как премудрость плупцов, замешанная на крестьянском тесте.

Но только, черт побери, не смей петь веселой песенки, не мешай работать депутату стортинга Уле! А то не избежать неприятностей. Тише: Уле думает, Уле изучает... О чем же размышляет Уле? Какие политические предложения он внесет завтра в стортинге? Ха-ха-ха, доверенное лицо в маленьком норвежском мирке, избранный народом, чтобы подавать реплики в комедии, которую разыгрывают на сцене страны, да при этом еще облаченный в священный национальный костюм, с жевательным табаком за щекой, в бумажном воротничке, размокшем от честного трудового пота. Прочь с дороги, когда идет избранник народа, посторонитесь, черт возьми, чтобы дать ему пройти!

Боже праведный, почему же только круглые, жирные нули увеличивают числа?

Впрочем, точка. К черту нули! Все это надувательство так надоедает, что больше не хочется его касаться. Лучше пойти в лес и растянуться на земле под просторным небом – там более подходящее место для чужестранца и для птиц... Легко отыскать заболоченную прогалину, лечь плашмя прямо на влажный мох и радоваться тому, что тебя всего так и пронзает сырость. Уткнешься головой в тростник и в набрякшие водой листья, и всевозможные букашки, червячки и крошечные мягкие ящерицы заползают тебе в одежду, ползут по твоему лицу и разглядывают тебя своими зелеными шелковистыми глазами, а со всех сторон тебя обступает покой и тишина леса, и легкий ветерок обвевает, и господь бог сидит себе на небе и глядит вниз на тебя, на свою самую причудливую причуду. Го-го-го. Настроение тут же исправляется, тебя охватывает небывалая, нездешняя, дьявольская радость, такая, которую еще никогда не испытывал. Ты способен на любое безумие, на все, что только не взбрет тебе в голову, правда и ложь для тебя перепутались, весь мир ты повернул вверх тормашками, и ты счастлив, словно свершил благое дело. А почему бы и нет? Ты во

власти неведомых импульсов, впал в какое-то странное состояние и отдаешься ему, охваченный своего рода горьким ликованием. Ты испытываешь непреодолимое желание превозносить до небес все то, над чем ты прежде насмехался; радуешься, чувствуя, что готов бороться за вечный мир, у тебя возникает желание возглавить комиссию по разработке усовершенствованной обуви для почтальонов, ты испытываешь необходимость замолвить словечко за Понтуса Викнера и выступить публично в защиту извечного миропорядка и господ бога. К черту внутреннюю связь явлений, тебе уже наплевать на нее, к черту ее, тебе на все, на все наплевать. «Что-то стало жарко. Ах, солнце светит ярко...» Чувства берут верх, ведь верно, ты настраиваешь арфу и распевашь псалмы и гимны, да так благолепно, что и выразить невозможно.

С другой стороны, когда ты внутренне отдаешься на волю волн, и ветер гуляет у тебя в душе, то со дна ее вихрем поднимается всякая муть. Но пусть тебя несет, пусть несет, как приятно без сопротивления отдаться этому потоку. Да и зачем сопротивляться? Ха-ха, неужели запоздалому страннику нельзя провести последние мгновения так, как ему охота? Да или нет? Точка. И ты проводишь эти мгновения так, как тебе охота.

А ведь заняться можно было бы самыми разными вещами; можно было бы употребить свои силы на решение задач внутри страны, или популяризировать японское искусство, или содействовать процветанию Галлингданской железной дороги, – неважно, чему посвятить себя, лишь бы только как-то использовать свои силы, помочь чему-то осуществиться. Ты вдруг понимаешь, что такой человек, как И.Хансен, тот самый достопочтенный портной, которому ты в свое время заказал сюртук для Минутки, да, так вот, что этот Хансен имеет неоценимые заслуги как гражданин и как человек; начинаешь с того, что испытываешь уважение, а кончаешь тем, что проникаешься к нему любовью. Почему ты его любишь? Да просто потому, что тебе так хочется, и еще из упрямства, от той ожесточенной радости, которая владеет тобой, и потому, что ты впал в какое-то странное состояние, которому не противишься. Ты шепотом выражаешь ему свое восхищение, искренне желаешь всяческого благополучия, а уходя, суешь ему в руки, бог его знает почему, свою медаль за спасение на водах. Почему бы этого не сделать, раз ты во

власти неведомых импульсов? Но этого мало, ты начинаешь еще раскаиваться в том, что когда-то без должного почтения говорил о депутате стортинга Уле... И только тут ты по-настоящему отдаешься сладостному безумию, хо-хо, да еще как отдаешься!

Чего только депутат стортинга Уле не сделал для государства! Мало-помалу у тебя открываются глаза, и ты видишь в верном свете его преданную и честную деятельность, и сердце твое смягчается. Ты исполнен умиления, ты всхлипываешь и даже плачешь от сострадания к нему и даешь себе в душе клятву вознаградить его сторицей. Мысль об этом старике, пришедшем прямо из народа, из народа борющегося и страждущего, наполняет твое сердце такими святыми и необузданными чувствами, что ты готов реветь белугой. Чтобы воздать Уле по заслугам, ты начинаешь чернить всех и вся, ты находишь особое удовольствие в том, что ему во славу отказываешь другим в каких-либо достоинствах, выискиваешь самые выразительные и пышные слова, чтобы его возвеличить. Начинаешь утверждать, что Уле сделал почти все, что вообще сделано на земле, что это он написал единственное фундаментальное исследование о спектральном анализе, которое необходимо прочесть, что, собственно говоря, он один в 1719 году вспахал все американские прерии, что он изобрел телеграф, а к тому же побывал на Сатурне и пять раз разговаривал с господом богом. Конечно, ты прекрасно знаешь, что ничего этого Уле не делал, но из отчаянного сострадания к нему ты все же утверждаешь, что он сделал, сделал, и при этом реवेशь пуще прежнего, и божишься, и клянешься, что готов принять самые страшные муки ада, если это не так. Почему ты так поступаешь? Из раскаяния, чтобы воздать Уле сторицей! И ты начинаешь петь, чтобы его еще больше прославить, ты поешь постыдные, богохульственные гимны, ты уверяешь, что Уле сотворил мир, и расставил по местам и солнце, и звезды, и создал таким образом вселенную. А затем следует длинный ряд самых страшных клятв в подтверждение того, что это все истинная правда. Короче говоря, именно раскаяние доводит тебя до редчайшей, опьяняющей разнузданности мысли, до изощренных клятвopеступлений, до подлинного богохульства. И всякий раз, когда ты придумываешь во славу Уле что-то уж совершенно неслыханное, ты подтягиваешь под себя коленки и тихо хихикаешь от удовольствия, что тебе удалось наконец воздать Уле Улево. Да, Уле получит все

сполна, Уле этого заслужил, потому что ты говорил о нем без должного почтения, а теперь в этом раскаиваешься.

Да... Так как же это было... Надо вспомнить... Не сочинил ли ты однажды гадкого, пошлого стишка насчет тела... Да, да, насчет мертвого тела... Постой, это касалось одной девицы, совсем молоденькой, она умерла и благодарила бога за то, что он одолжил ей на время тело, которым она так и не воспользовалась. Стоп. Вспомнил. Это относилось к Мине Меек. Да, сейчас я вспомнил это совершенно отчетливо и сгораю от стыда. Чего только не болтаешь всуе, а потом сожалеешь и готов в голос выть от стыда, прямо криком кричать. Впрочем, об этом стишке знает только Минутка, но мне самому мучительно стыдно перед самим собой. Не говоря уже о той глупости, которую я сморозил насчет эскимоса и бювара, – этого я никогда себе не прощу. Тьфу! Господи, готов сквозь землю провалиться!.. Спокойствие! Выше голову! К черту это самоедство! Подумать только, что если когда-нибудь всевышний соберет всех праведников на небесах в царствии своем, то ты окажешься среди них. Тьфу! Пронеси, господи! До чего же все это скучно, невыносимо скучно...

Когда Нагель вошел в лес, он свернул на первую приглянувшуюся ему полянку и упал ничком на вереск, уткнувшись лицом в руки. Что за сумбур в его голове, что за коловращение нелепых мыслей! Несколько мгновений спустя он уже крепко спал. Не прошло и четырех часов, как он встал с постели, и все же он заснул, будто провалился, смертельно усталый, вконец истощенный.

Был уже вечер, когда Нагель проснулся. Он огляделся по сторонам; солнце садилось, вот-вот оно скроется за паровой мельницей, птицы с громким щебетом летали от дерева к дереву. Голова у него была ясная, никаких тревожных мыслей, никакой горечи, он был совершенно спокоен. Он прислонился к стволу и задумался. Сейчас ему это сделать? В конце концов какая разница, часом раньше, часом позже? Нет, сперва надо привести в порядок кое-какие дела, написать письмо сестре, оставить Марте некоторую сумму в конверте, на память о себе; нет, сегодня вечером он не может умереть. И в гостинице он не уплатил по счету. Да и о Минутке ему тоже хотелось бы позаботиться.

Он медленно пошел назад в город. Но завтра вечером это случится, в полночь, без каких бы то ни было эффектов, быстро и просто, быстро и просто!

Когда пробило три часа утра, Нагель все еще стоял у окна своего номера и глядел на рыночную площадь.

На следующую ночь, часов около двенадцати, Нагель вышел наконец из гостиницы. Никаких особенных приготовлений он не сделал, только написал сестре и положил несколько купюр в конверт для Марты. Его чемоданы, футляр от скрипки и старое кресло, которое он купил, стояли на своих прежних местах, на столе валялось несколько книг. По счету в гостинице он тоже не уплатил, совершенно забыв об этом. Перед тем как уйти, он попросил Сару стереть пыль с подоконников, пока его не будет, и Сара обещала это сделать, несмотря на поздний час. Затем он тщательно вымыл руки и лицо и вышел из номера.

Все это время он был совершенно спокоен, скорее даже апатичен. Господи, есть из-за чего суетиться и поднимать шум! Годом раньше, годом позже, какое это имеет значение, да к тому же с мыслью о таком конце он жил уже долгое время. А теперь у него нет больше сил, он так устал от своих разочарований, от множества рухнувших надежд, от всего этого лицедейства, от изощренного ежедневного обмана окружавших его людей. И он подумал о Минутке, которому тоже оставил конверт с небольшой суммой, хотя чувство недоверия к этому жалкому, кособокому калеке никогда не покидало его. Подумал он и о фру Стенерсен, об этой болезненной, измученной астмой женщине, которая изменяет мужу прямо на глазах, никогда ничем себя не выдавая. Вспомнил он и об алчной малютке Камме, которая преследовала его по пятам и всюду протягивала к нему в лицемерном порыве свои жадные руки, чтобы поглубже засунуть их в его карманы. На востоке и на западе, у себя дома и за границей – повсюду люди одинаковы, он в этом убедился. Все та же пошлость, тот же обман, то же безнадежное бесстыдство, – начиная с нищего, бинтующего здоровую руку, и кончая голубым небом, которое, как известно, не более чем озон. А он сам, разве он лучше? Нет, не лучше! Но он уже подошел к черте.

Он спустился к пристани, чтобы еще раз взглянуть на пароходы, а пройдя последний причал, вдруг снял с пальца железное кольцо и швырнул его в море. Он видел, как оно упало в воду, далеко от берега.

Вот в последнюю минуту все-таки делаешь попытку освободиться от всех этих фокусов.

Возле домика Марты Гудэ он остановился и в последний раз заглянул в окно. Там было тихо, как все эти дни. Пусто.

– Прощай, – сказал он.

Сам того не замечая, он направился к дому пастора. Он спохватился только тогда, когда сквозь поредевшие на опушке деревья стал виден двор усадьбы. Он остановился. Куда он идет? Что ему здесь надо? В последний раз взглянуть на два окошка на втором этаже в тщетной надежде увидеть лицо, которое ему ни разу, ни разу не удавалось там увидеть, – нет, этого он все-таки не допустит! Правда, он собирался это сделать, но он этого не сделает! Он постоял еще некоторое время и неотрывно смотрел на усадьбу пастора, он был в смятении, его неудержимо влекло...

– Прощай, – снова сказал он.

Затем он резко повернул и пошел по узкой тропинке, которая вела в лесную чащу.

Теперь можно идти куда попало и остановиться на первой подходящей полянке. Главное, никакой нарочитости и никаких сантиментов. Как нелеп был Карлсен в его смехотворном отчаянии. И стоит ли эта нехитрая затея так тщетно подготовленной мизансцены?.. Тут он замечает, что на одном башмаке у него развязался шнурок, останавливается, ставит ногу на кочку и завязывает его. Потом он садится на землю.

Он сел машинально, сам не заметив этого. Он огляделся по сторонам: высокие ели, вокруг высокие ели, кое-где кусты можжевельника да вереск, покрывающий землю. Хорошо. Хорошо!

Он вытаскивает из кармана бумажник и прячет в него письма, адресованные Марте и Минутке, в особом отделении хранится, завернутый в бумагу, кружевной платок Дагни. Он достает его, целует много раз, становится на колени, снова целует и затем начинает рвать его на мелкие лоскутки. Это занимает довольно много времени; вот уже час ночи, затем половина второго, а он методично рвет лоскутки, все мельче и мельче. Наконец, когда от платка остались одни нитки, он встает и прячет их под камень, прячет старательно, чтобы никто не смог их обнаружить, и снова садится. Ну, как будто все... Он силится

вспомнить, что еще нужно сделать, но ничего не находит. Тогда он вынимает часы и заводит их, как всегда перед сном.

Он снова глядит вокруг. В лесу довольно темно, но, кажется, все спокойно. Он прислушивается, задерживает дыхание и снова прислушивается, но не слышит ни звука – птицы молчат, лес словно вымер; мягкая, тихая ночь. Он сует пальцы в карман жилета и вытаскивает заветный пузырек.

Пузырек заткнут стеклянной пробкой, а на нее надет колпачок из тройного слоя плотной бумаги, обмотанный синей аптекарской ленточкой, он развязывает ленточку и вынимает пробку. Жидкость, прозрачная, как вода, со слабым миндальным запахом. Нагель подносит пузырек к глазам – он наполнен до половины. И тут издали доносится какой-то странный, приглушенный звук – два гулких удара; это башенные часы в городе пробили два. Он шепчет: час пробил! Он поспешно подносит пузырек к губам и выпивает все до капли.

Некоторое время он еще сидел в той же позе, с закрытыми глазами, сжимая в одной руке пустой пузырек, в другой – пробку. Все произошло так легко и естественно, что он даже не успел отдать себе отчет в случившемся. Только немного спустя голова потихоньку снова заработала, он открыл глаза и растерянно огляделся вокруг. Значит, он больше никогда не увидит всего этого – этих деревьев, этого неба, этой земли. Как странно! Яд уже гуляет в его жилах, проникает во все сосудики, прокладывает себе путь по голубым артериям, скоро начнутся судороги, а потом он застынет в неподвижности.

Он явно ощущал горький вкус во рту, и язык его все больше и больше деревенел. Он стал делать какие-то бессмысленные движения руками, чтобы узнать, насколько смерть уже одолела его, начал считать деревья, досчитал до десяти и бросил. Неужели он умрет, действительно умрет этой ночью? Нет, нет, только не этой ночью! Как все это странно!

Да, он умрет, он так ясно чувствует действие кислоты где-то там, внутри. Но почему именно сейчас, немедленно? Господи, только бы не сейчас! Нет, неужели сейчас? У него уже начинает темнеть в глазах! Как гулко в лесу, хотя нет ветра... Почему над верхушками деревьев проносятся красные облака?.. Нет, только не сейчас, только

не сейчас! Нет, слышишь, нет! Что мне делать? Я не хочу! Боже милостивый, что мне делать?

И вдруг целый сонм мыслей бешено закружился у него в голове. Он не готов, он должен уладить тысячу разных дел! Его разгоряченный мозг пылал – столько всего ему надо было еще успеть сделать! Он даже не уплатил по счету в гостинице, он забыл об этом, да, видит бог, такая оплошность, ее необходимо исправить! Нет, этой ночью смерть должна его пощадить! Смилоствисься, смилоствисься хотя бы на час, чуть больше, чем на час! Боже праведный, да он забыл написать еще одно письмо, важное письмо, хотя бы несколько строк одному человеку в Финляндии относительно своей сестры, ведь речь идет о всем ее состоянии!.. В этом взрыве отчаяния его голова работала так напряженно и четко, что он подумал даже о своей подписке на газеты. Да, ведь и от этой подписки он не отказался, значит, газеты будут все время приходить, это никогда не прекратится, вся его комната будет забита газетами до самого потолка. Что ему делать? Ведь он уже полумертв!

Он обеими руками вырывает вереск, кидается плашмя на землю, катается на животе, засовывает себе пальцы в горло, пытаясь вызвать рвоту и освободиться от яда, но все тщетно. Нет, он не хочет умереть, не хочет умереть этой ночью, и завтра тоже не хочет, он вообще не хочет умереть, никогда! Он хочет жить, да, вечно жить и видеть солнце, он не хочет, чтобы эти несколько капель яда оставались в его нутре, он извергнет их, прежде чем они его убьют. Вызвать рвоту, черт возьми, скорее, как можно скорее!

Обезумев от страха, он вскакивает на ноги и начинает метаться по лесу в поисках воды. Он кричит: «Воды! Воды!» И эхо далеко разносит его крики. Несколько минут он просто беснуется, кидается в разные стороны, натывается на стволы, перепрыгивает через кусты можжевельника и громко стонет. Воды он так и не находит. Наконец он спотыкается и падает ничком, взрывает руками землю, поросшую вереском, и чувствует легкую боль в левой щеке. Он хочет приподняться, встать, но падение как-то олушило его, он снова валится на землю, все более и более слабеет и уже не пытается двигаться.

Значит, так тому и быть, – ничего не поделаешь! Боже праведный, он все же умирает! Быть может, если бы у него еще хватило сил найти

воды, он спасся бы. Ох, как печально все это кончится, а когда-то он был так полон ожиданий! Теперь ему суждено умереть от яда под открытым небом! Но почему он не коченеет? Он еще может пошевелить пальцами, поднять веки; как долго это тянется, как долго!

Он провел рукой по лицу, оно было холодным и мокрым от пота. Он упал лицом вниз, так он и остался лежать, не пытаясь даже повернуться. И каждый сустав у него дрожал; из разодранной щеки текла кровь, но он ничего не делал, чтобы ее остановить. Как долго это тянется, как долго! Он терпеливо лежит и ждет. Он снова слышит бой башенных часов, теперь уже пробило три. Он поражен. Неужели яд уже целый час в нем, а он все еще не умер? Он приподнялся на локте и взглянул на часы: да, три часа. Как это все же долго тянется!

А может, оно и к лучшему, что он сейчас умирает! Он вдруг вспомнил о Дагни, которой хотел петь каждое воскресенье утром и вообще делать всяческое добро, и примирился со своей судьбой, даже слезы выступили у него на глазах. Он совсем расчувствовался, молился, тихо плакал и перебирал в голове все добрые дела, которые собирается делать для Дагни. Он будет ее защищать от всего плохого! Быть может, уже завтра ему удастся прилететь к ней и быть возле нее, господи, вот хорошо бы, если бы завтра, и сделать так, чтобы она проснулась, сияя от радости! Как дурно с его стороны, что еще минуту назад он не хотел умирать, хотя и знал, что смог бы доставить ей радость; он в этом раскаивается и просит у нее прощения, теперь он просто не понимает, о чем он тогда думал. Но сейчас она уже может на него положиться, он тоскует от желания поскорее прилететь к ней в комнату и стать у ее изголовья. Через несколько часов, а может, даже через час он будет там, да, обязательно будет. А если он сам не сможет этого сделать, ему наверняка удастся уговорить божьего ангела полететь вместо него, он пообещает ему в награду что-нибудь очень хорошее. Он скажет ему: «Я не белый, мне нельзя, а ты можешь, потому что ты – белый, а за это делай со мной все что тебе заблагорассудится. Ты так смотришь на меня потому, что я черный? Конечно, я черный, но чему тут удивляться? И я готов еще долго, очень долго оставаться черным, если ты окажешь мне милость, о которой я тебя прошу. Я согласен быть черным лишней миллион лет, и даже буду еще чернее, чем теперь, если ты этого потребуешь, и за каждое воскресенье, когда ты будешь петь для нее, ты можешь

прибавлять по миллиону лет, если тебе угодно. Я не лгу, я найду еще многое, что можно тебе предложить, и себя при этом не стану щадить, ты только внимли моей мольбе! Тебе не придется лететь одному, я полечу с тобой, я понесу тебя, я буду махать крыльями за нас обоих, я сделаю это с радостью, и я не запачкаю тебя, хотя я и черный. Я буду все, все за тебя делать, а ты – отдыхать. Кто знает, быть может, я смогу и подарить тебе что-нибудь за это. Что-нибудь, что тебе пригодится. И если я получу какой-нибудь подарок, я тут же отдам его тебе. А вдруг мне посчастливится, и я сумею кое-что заработать для тебя, кто знает...»

Да, в конце концов ему удастся уговорить божьего ангела, в этом он не сомневался...

И снова бьют башенные часы. Он машинально считает удары, мысли его на этом не задерживаются. Главное – запастись терпением. Он молитвенно складывает руки и просит бога поскорее послать ему смерть. Хорошо бы он умер через несколько минут, тогда он успел бы прилететь к Дагни еще до того, как она проснется. Он был бы всем так благодарен и пел бы всем хвалу, ему явили бы великую милость, теперь это его заветное желание...

Он закрыл глаза и заснул.

Нагель проспал три часа. Он проснулся оттого, что солнце светило ему прямо в лицо и воздух в лесу дрожал от оглушительного птичьего щебета. Он приподнялся на локтях и огляделся. Все, что случилось этой ночью, вдруг всплыло в его памяти. Пузырек валялся неподалеку. Вспомнил он и то, как яро молил он под конец бога ниспослать ему скорую смерть. А он все-таки жив. Снова какие-то тайные обстоятельства спутали все его карты. Он ничего не понимал, тщетно силился постичь, что же произошло, и ясно ему было только то, что он еще жив.

Он встал, поднял пустой пузырек и сделал несколько шагов. Нет, что бы он ни предпринимал с самыми честными намерениями, он всегда наталкивался на препятствия. Что же случилось с ядом? Это была чистейшая синильная кислота, доктор подтвердил, что доза достаточная, более чем достаточная. Да он и сам проверил действие яда, отравив собаку пастора. Пузырек несомненно тот же самый, наполненный, как и был, наполовину. Он прекрасно помнит, что

проверил это перед тем, как выпить его содержимое. Пузырек всегда был при нем, он постоянно носил его в кармане жилета. Что за тайные силы преследуют его на каждом шагу?

И вдруг его осенило, что пузырек все же побывал в чужих руках. Он остановился и даже прищелкнул пальцами. Да, он не ошибается. Минутка продержал его у себя целую ночь – это было после той попойки в гостинице, когда он подарил Минутке свой жилет. Пузырек с ядом, часы и кое-какие бумаги лежали в карманах жилета. Все эти вещи Минутка возвратил ему на другой день рано утром. Старая тварь, урод слабоумный, это, конечно, он ухитрился проявить свою гнусную доброту! Какое предательство, какая подлая выходка!

Нагель стиснул зубы от злости. Что он говорил в ту ночь в своем номере? Разве он не заявил во всеуслышанье, что у него никогда не хватит духу принять яд, а эта гниль, эта мерзкая карикатура на человека, этот юродивый сидел рядом с ним, притворно молчал, а в душе не поверил ни одному его слову. Вот негодяй, вот крот паршивый! Поспешил домой, тут же вылил синильную кислоту, потом небось хорошенько прополоскал пузырек и наполнил до половины водой и, сделав это доброе дело, улегся и заснул сном праведника!

Нагель зашагал по направлению к городу. За эти три часа сна он немного отдохнул, и теперь голова его работала ясно, но горькое чувство не покидало его. Он был унижен всем, что случилось, и казался самому себе смешон. Подумать только, он явственно слышал запах миндаля, чувствовал, что язык его деревенеет, ощущал в себе смерть, а ведь в пузырьке была чистейшая вода! Он бесновался, скакал как полоумный через камни и кусты, – и все это из-за плотка колодезной воды! Злой как собака, пунцовый от стыда, он остановился посреди дороги и завыл в приступе бессильной ярости. Но тут же стал озираться по сторонам в испуге, не слышал ли его кто-нибудь, и громко запел, чтобы хоть как-то оправдать свой вопль.

Но, по мере того как он шел, он все более успокаивался, исподволь отдаваясь теплоте этого сияющего утра и тысячеголосому щебету птиц. Навстречу ему ехала телега, возница поздоровался с ним, он ответил. Собака, бежавшая рядом, завиляла хвостом и приветливо заглянула ему в лицо... Почему ему не удалось просто и достойно умереть ночью? Он с грустью думал об этом, он ведь испытал чувство покоя, с легким сердцем принимая наступающий

конец, и был исполнен тихой радости до той самой минуты, как закрыл глаза и погрузился в сон. Теперь Дагни уже встала, быть может, уже вышла из дому, а он ничем не смог ее обрадовать. Как жестоко он был одурачен! Минутка прибавил еще одно доброе дело к списку своих благодеяний. Он оказал ему услугу, спас ему жизнь – точно такую же услугу, которую сам Нагель в свое время оказал незнакомому юноше, не желавшему сойти на берег в Гамбурге. Тогда-то он и заслужил медаль «За спасение на водах», хаха, заслужил медаль за спасенье! Да, вот так и спасаешь людей, ничтоже сумняшеся, творишь добрые дела, пренебрегая опасностью, смело идешь и спасаешь человека от смерти!

Стыдясь самого себя, он незаметно прокрался в свой номер и сел на стул. В комнате было чисто и уютно, протертые окна сияли, и на них даже висели новые, тщательно выплаженные занавески. На столе стоял букет полевых цветов. Никогда еще у него здесь в комнате не было цветов, и этот сюрприз удивил его и так обрадовал, что он стал потирать руки от удовольствия. Что за поразительное совпадение – как раз в такой день! Что за трогательное внимание со стороны бедной служанки гостиницы! Какая она все же милая, эта Сара! А утро и в самом деле выдалось просто удивительное. Даже там внизу, на рыночной площади, у всех радостные лица; продавец гипсовых статуэток сидит себе у лотка и с добродушным видом покуривает свою плиняную трубочку, хотя еще не заработал ни одного эре... Быть может, не так уж худо, что его безумные намерения этой ночью не осуществились? Он с ужасом вспомнил о том страхе, который пережил, когда метался по лесу в поисках воды; при одной мысли об этом его вновь забила дрожь, и сейчас, когда он спокойно сидел на стуле в этой приветливой, светлой, залитой солнцем комнате, его вдруг охватило блаженное ощущение, что он спасен от всяческого зла. А на крайний случай у него в запасе всегда остается хорошее, надежное средство, к которому он еще не прибегал. В первый раз любого может постигнуть неудача – не вышло умереть, значит, живи! Но ведь существует, например, такой предмет, как маленький надежный шестизарядный револьвер, который в случае нужды легко купить в любом оружейном магазине. Отложить – не значит отказаться.

В дверь постучала Сара. Она услышала, что он вернулся, и пришла сказать, что завтрак подан. Когда она хотела уйти, Нагель остановил ее и спросил, она ли поставила эти цветы.

Да, она, но не стоит благодарности.

Он все же горячо пожал ей руку.

– Где вы пропадали всю ночь? – спросила она, улыбаясь. – Вы ведь не ночевали дома?

– Послушайте, – сказал он, не отвечая на ее вопрос, – так мило, что вы поставили мне цветы, к тому же вы протерли окна и повесили чистые занавески. Не могу выразить, какую радость вы мне доставили, и я хочу пожелать вам за это всяческих благ. – И вдруг, поддавшись одному из своих безумных порывов, весь во власти минутного настроения, он с жаром заговорил: – Послушайте, когда я приехал сюда, у меня была с собой шуба, бог ее знает, куда она делась, но она была, это точно. Так вот, я вам ее дарю, да, да, примите ее в знак моей благодарности. Решено – шуба ваша!

Сара громко, от души расхохоталась. Зачем ей шуба?

Да, да, она права, но уж пусть она распорядится шубой, как ей будет угодно. Пусть она доставит ему радость и примет от него этот подарок... Ее смех был так заразителен, что и он засмеялся вместе с ней и принялся шутить. Бог ты мой, до чего у нее красивые плечи! Но поверит ли она, что он знает ее прелести больше, нежели она подозревает? Однажды он заглянул в столовую, чуть приоткрыв дверь: взобравшись на стол, она протирала потолок, ее юбка была высоко подогнута, и он видел ее ноги значительно выше колен, да, да, значительно выше, – удивительно красивые ноги! Хаха-ха! Но так или иначе, он намерен сегодня, еще до наступления вечера, подарить ей браслет. Она получит его через несколько часов, – может в этом не сомневаться. А кроме того, пусть помнит, что шуба принадлежит ей...

Какой он чудной! Он что, совсем рехнулся? Сара смеялась, но была несколько напугана его странными выходками. Позавчера он заплатил прачке, которая принесла ему выстиранное белье, куда больше, чем полагалось. А сегодня ему взбрело в голову отдать ей свою шубу. Видно, не зря о нем ходят по городу самые разные слухи.

Да, он рехнулся, он просто сошел с ума. Должно быть, так оно и есть. Чего только Сара ему не предлагала – и кофе, и молоко, и чай, и даже пиво, все, что только могла придумать, но он, едва сев, тут же встал из-за стола, так ни к чему и не притронувшись. Он вдруг сообразил, что как раз в это время Марта обычно приходит на рынок продавать яйца, – быть может, она уже вернулась; каким счастливым предзнаменованием было бы для него вновь встретиться с ней сегодня, именно сегодня. Он снова поднялся в свой номер и сел у окна.

Вся рыночная площадь лежит перед ним как на ладони; но Марты нигде не видно. Он ждет полчаса, час, зорко наблюдая за всем, что происходит в разных ее концах, но тщетно. Наконец его внимание привлекает сцена, которая разыгрывается перед почтой и собирает немало любопытных: в кругу, образованном столпившимися зрителями, прямо посреди немощной улицы, нелепо припрыгивая, пляшет Минутка. Он без сюртука, босиком и поминутно вытирает пот с лица. Отплясав свое, он собирает у зрителей монетки. Да, Минутка опять взялся за старое, он снова начал плясать на рынке.

Нагель терпеливо ждет, пока люди не разойдутся, и тогда посылает за Минуткой. Тот поднимается к нему в номер, как всегда, исполненный почтения, со склоненной головой и опущенными глазами.

– У меня есть для вас письмо... – Нагель достает конверт, сам засовывает его Минутке в карман сюртука и говорит: – Вы поставили меня в весьма затруднительное положение, мой друг, вы сыграли со мной злую шутку и одурачили меня так ловко, что я просто восхищаюсь вами, хотя, не скрою, и сержусь на вас. Кстати, вы располагаете временем? Помните, я как-то обещал вам кое-что объяснить? Так вот сейчас я намерен это сделать, я считаю, что настал подходящий момент. Но сперва я хочу спросить вас: слышали ли вы, что в городе говорят обо мне, будто я сумасшедший? Разрешите вас успокоить – я не сумасшедший, да вы это и сами видите, не правда ли? Не стану отрицать, что последнее время был несколько возбужден,

чему виной некоторые обстоятельства, мало для меня приятные, но так, видно, было угодно судьбе. Теперь я снова спокоен, и все у меня в полном порядке. Прошу вас помнить об этом. Пожалуй, бесполезно предлагать вам что-нибудь выпить?

Да, пить Минутка не будет.

– Я в этом не сомневался... Короче, я полон к вам недоверия, Грегорд. Вы, конечно, догадываетесь, что я имею в виду? Вы провели меня так хитро, что я больше не намерен делать вид, будто все в порядке. Вы оставили меня в дураках в очень серьезном деле, и все это под видом бескорыстного участия или же сердечной доброты, если вам угодно. Но так или иначе, вы меня обвели вокруг пальца. Скажите, этот пузырек побывал у вас в руках?

Минутка искоса глядит на пузырек и молчит.

– В нем был яд. Этот яд вылили, а пузырек до половины наполнили водой. Нынче ночью я имел случай убедиться, что в нем была чистая вода.

Минутка по-прежнему молчит.

– Вообще говоря, в этом поступке нет ничего дурного. Тот, кто это сделал, поступил так исключительно из добрых побуждений, желая предотвратить несчастье. Это сделали вы.

Пауза.

– Верно?

– Да, – отвечает наконец Минутка.

– Ясно. И с вашей точки зрения вы поступили правильно, но я смотрю на это дело иначе. Зачем вы это сделали?

– Я думал, что, быть может, вы все же...

Пауза.

– Ну, вот видите! Однако вы ошиблись, Грегорд, ваше доброе сердце ввело вас в заблуждение. Разве в ту ночь, когда вы унесли с собой пузырек, я не сказал достаточно ясно, что у меня не хватит духу выпить яд?

– Но я все-таки боялся, что, быть может, вы это сделаете. И вот вы это сделали.

– Я это сделал? Да что вы плетете? Ха-ха, добрая душа, вы сами оказались в дураках! Да, я опорожнил ночью этот пузырек, верно, но имейте в виду: не я пробовал его содержимое.

Минутка с удивлением смотрит на него.

– Ну вот, видите, вы остались с носом! Гуляешь себе ночью по городу, потом спускаешься к пристани и видишь там кошку, которая извивается от боли и в страшных мучениях мечется по причалу. Останавливаешься, естественно, и глядишь, что с кошкой. Оказывается, ей попало что-то в горло, а при ближайшем рассмотрении выясняешь, что у нее в горле застрял рыболовный крючок, она кашляет, извивается, но крючок – ни с места, ни туда ни сюда, а из горла у нее струйкой бежит кровь. Хорошо, в конце концов тебе как-то удается схватить эту кошку, и ты пытаешься освободить ее от крючка, но ей так больно, что ее не удержишь, она рвется из рук, катается на спине, в бешенстве выпускает когти и царапает тебе щеку, – раз, другой, третий, – вот, можете убедиться, что у меня, например, разодрана щека. А кошка уже задыхается, и кровь безостановочно течет у нее из горла. Что же делать? Пока ты размышляешь над этим, башенные часы бьют два. Значит, уже так поздно, что нельзя обратиться к кому-либо за помощью – ведь пробило два часа ночи! И тут-то вдруг вспоминаешь, что у тебя в кармане благословенный пузырек с ядом; ты решаешь прекратить муки этой несчастной твари и вливаешь ей в плотку содержимое пузырька. Кошка думает, что ей влили что-то ужасное, она вся съеживается в комочек и дико озирается по сторонам, потом неожиданным прыжком вырывается у тебя из рук и снова начинает извиваться и метаться по причалу. В чем же дело? Да в том, что в пузырьке была чистая вода, вода не убивает, она только усиливает мучения этой несчастной твари. И кошка продолжает бегать с крючком в горле, кровь по-прежнему льется, она задыхается. Что ж, рано или поздно она все равно истечет кровью или задохнется, она околеет, забившись в угол, обезумев от страха, одна, без всякой помощи...

– Я сделал это с добрым намерением, – говорит Минутка.

– Конечно. Вы все, решительно все, делаете только по самым честным, по самым лучшим побуждениям. Вас просто невозможно поймать на другом поступке, поэтому ваш тонкий и благородный обман с моим ядом не представляет собой ничего нового. Вот, к примеру, вы только что отплясывали там, внизу, на рыночной площади. Я стоял у окна и плядел на вас; я не стану вас упрекать за то, что вы это делаете, я хочу только спросить вас, почему вы сняли

башмаки? Ведь сейчас вы опять в башмаках, так почему же вы сняли их, когда начали плясать?

– Чтобы их не портить.

– Вот этого я и ожидал! Я знал, что вы так ответите, поэтому я и спросил вас. Вы – сама непогрешимость, обутая, правда, в башмаки, вы самая чистая душа в городе! Вы исполнены доброты и бескорыстия, – ни к чему не придерешься, все идет без сучка, без задоринки. Я как-то хотел вас испытать и предлагал вам за вознаграждение признать себя отцом чужого ребенка, и, хотя вы бедны и нуждаетесь, слов нет, в этих деньгах, вы тут же отказались от моего предложения. Ваша душа содрогалась даже при мысли о такой грязной сделке, и я ничего не добился, хотя и предлагал вам двести крон. Если бы я знал тогда то, что знаю теперь, я не стал бы вас оскорблять так грубо; тогда у меня еще не было ясного представления о вас, теперь зато я знаю, что вас надо одновременно и пришпоривать, и твердой рукой держать в узде. Ну да ладно, давайте лучше вернемся к тому, о чем мы говорили... То обстоятельство, что вы сняли башмаки, не привлекая, однако, к этому внимание зрителей, и плясали босиком, не считаясь с болью, которую не могли не испытывать, и не жалуясь, – все это вместе взятое для вас очень характерно. Вы не ноете, не говорите: глядите, я снимаю башмаки, чтобы их не испортить, я вынужден это делать, потому что очень беден! Нет, вы действуете, если можно так выразиться, с помощью молчания. Вы положили себе за принцип никогда ничего ни у кого не просить, и вы неукоснительно его придерживаетесь, однако так и не раскрывая рта, вы добиваетесь всего, чего хотите. Вы неуязвимы в глазах других людей, да и в своих собственных тоже. Я отмечаю эту вашу черту и продолжаю: имейте терпение, в конце концов я дойду до объяснения... Вы как-то сказали о фрекен Гудэ одну фразу, о которой я потом часто думал, вы сказали, что, быть может, она не так уж недоступна, если только умело взяться за дело, вы, во всяком случае, смогли кое-чего добиться...

– Нет, помилуйте, однако...

– Как видите, я все отлично помню. Это было в тот вечер, когда мы оба здесь сидели и пили, вернее, пил я, а вы смотрели. Так вот, вы тогда говорили, что с Мартой – да, вы назвали ее просто Мартой и рассказали, что она вас всегда зовет Юханнес, ведь верно, я не

выдумываю, она зовет вас Юханнес, видите, я помню, что вы и это рассказывали, – так вот, вы говорили, что с Мартой у вас дело зашло весьма далеко, она, мол, разрешала вам всякие вольности, и вы даже сделали весьма гнусный жест рукой...

Минутка вскакивает, красный как рак, и, прерывая Нагеля, кричит:

– Я никогда этого не говорил! Никогда!

– Вы этого не говорили? Что я слышу? Вы отрицаете, что говорили это? Вам угодно, чтобы я позвал Сару и чтобы она подтвердила, что во время нашего разговора находилась в соседней комнате и сквозь эту тонкую стенку слышала решительно все. Нет, просто уму непостижимо! Вы спутали все мои карты тем, что отказываетесь от своих слов! А я как раз хотел расспросить вас кое о чем. Меня все это весьма интересует, и я часто об этом думаю. Но раз вы утверждаете, что этого не было, то ничего не поделаешь. Между прочим, вы можете сесть и не вздумайте бежать сломя голову, как в прошлый раз, из этого все равно ничего не выйдет – я запер дверь.

Нагель закурил сигару и вдруг, словно опомнившись, изменил тон:

– Боже праведный, неужто я мог так ошибиться! Господин Грегорд, убедительно прошу вас простить меня. Вы правы, вы действительно никогда не говорили ничего подобного. Забудьте о том, что сейчас произошло. Это сказали не вы, а совсем другой человек, я сейчас отчетливо вспомнил, что слышал это недели две тому назад. Как мог я хоть на миг допустить, что вы способны опозорить даму и, в первую очередь, самого себя, да еще таким образом!.. Я просто диву даюсь, как могло мне это прийти в голову! Видно, я и вправду не в своем уме... Но обратите внимание, я честно признаю свои ошибки и тут же прошу простить меня. Значит, я все же в своем уме. Верно? И если я говорю сумбурно и чересчур напористо, то не думайте, что это преднамеренно, я вовсе не хочу заговорить вас и сбить с толку. Да это было бы и невозможно, поскольку вы сами так упорно молчите. А я говорю так возбужденно просто поддавшись минутному настроению. Извините, я, кажется, снова отклонился от темы. Быть может, вы теряете терпенье и хотите поскорее услышать то, что я обещал вам сказать?

Минутка молчит. Нагель вскакивает и начинает нервно шагать от окна к двери и обратно. Потом он останавливается, видно, все ему вдруг надоело и опротивело, и он говорит устало:

– Нет, я не могу больше играть с вами в кошки-мышки, я откровенно скажу вам, что думаю. Да, до сих пор я говорил с вами путано, стараясь вас сбить, и делал это с определенной целью – я надеялся кое-что выведать. Я перепробовал для этого самые разные способы, но все оказалось тщетно, и я устал от этой игры. Что ж, я готов вам дать обещанное объяснение, Грегорд! Я совершенно убежден, что в глубине души вы негодяй. Да, в глубине души вы негодяй!

Минутка снова задрожал мелкой дрожью, глаза его, полные страха, растерянно забегали, а Нагель продолжал:

– Вы не говорите ни слова, вы не выходите из роли? Я не в силах вас сдвинуть с места. В вас есть какая-то немая сила совсем особого рода, я восхищаюсь вами и испытываю к вам необычайный интерес. Помните, как я целый вечер говорил с вами, при этом не сводил с вас глаз и уверял, что вы вздрагиваете от моих слов? Я делал это для того, чтобы напасть на след. Я все время следил за вами и разными путями пытался найти, к чему бы придраться, правда, почти всегда безуспешно, не спорю, потому что вы неуязвимы. Но я ни на мгновение не сомневался в том, что вы тихий тайный грешник, притом – большой грешник, вот не знаю только какой. У меня нет никаких доказательств, да, к сожалению, их нет, так что вы можете быть совершенно спокойны, все это останется между нами. Но понимаете ли вы, почему я так убежден в своей правоте, хотя у меня нет доказательств? Видите ли, вам этого не понять. И все же – у вас особая манера опускать голову, когда мы о чем-нибудь говорим. И какое-то особое выражение глаз. И вы как-то неприятно моргаете, когда произносите некоторые слова или когда мы в разговоре касаемся некоторых вопросов. И кроме того, ваш голос! В вашем голосе всегда слышится вздох... О, уж этот голос! Но в конечном счете вся ваша личность в целом вызывает у меня антипатию. Я чую ваше приближение в воздухе, и душа моя тут же начинает дрожать от неприязни к вам. Вы этого не понимаете? И я не понимаю. Но это так. Клянусь, я и сейчас еще убежден, что иду по верному следу, но я не могу поймать вас, потому что у меня нет доказательств. Я спросил

вас, когда вы здесь были в последний раз, где вы находились шестого июня. Знаете, почему я вас об этом спросил? Ведь шестое июня – день смерти Карлсена, а я предполагал, что это вы убили Карлсена.

Минутка повторяет, словно с неба свалившись:

– Что это я убил Карлсена? – И снова молчит.

– Да, так я думал до последнего времени. Именно в этом я вас и подозревал. Вот куда завела меня глубокая уверенность в том, что вы негодяй. Теперь я вас уже не подозреваю в этом преступлении, я признаю, что ошибался, в своем предположении я зашел слишком далеко и прошу меня простить. Хотите верьте, хотите нет, но я глубоко огорчен, что был к вам так несправедлив. Поэтому не раз по вечерам, оставшись один, я мысленно просил у вас прощения. Но хотя я так грубо ошибся, я все же по-прежнему уверен, что вы грязный и низкий человек, и пусть бог покарает меня, если я не прав. Я ощущаю это всеми фибрами своей души даже сейчас, когда стою и смотрю на вас, богом клянусь, это так! Почему я в этом уверен? Заметьте, что поначалу у меня были все основания думать о вас только самое лучшее, и все, что вы потом делали или говорили, было тоже всегда только хорошо и справедливо, даже благородно. Однажды я видел вас во сне, и это был удивительный, прекрасный сон: будто вы стоите посреди большого болота и жестоко страдаете от того, что я над вами издеваюсь, но все же вы благодарите меня, вы бросаетесь передо мной на колени и благодарите за то, что я не терзал вас еще больше, не причинил вам еще более ужасных мук. Вот что мне приснилось про вас, как видите, только хорошее. В городе, пожалуй, нет ни одного человека, который счел бы вас способным на гадкий поступок, о вас идет самая добрая слава, вы пользуетесь всеобщей симпатией, так ловко вы прячете ваше подлинное лицо. И все же пред моим внутренним взором вы представляете как трусливая, пресмыкающаяся божья тварь, у вас для всех припасено дежурное доброе слово, есть и дежурный добрый поступок на каждый день. Но разве вы оклеветали меня, причинили мне зло или выдали кому-нибудь мои тайны? Нет, нет, этого вы не сделали, и именно в этом и заключается сущность вашего поведения, ваш метод жить: ко всем вы доброжелательны, никогда не делаете ничего дурного, вы святой, вы неуязвимы, вы безгрешны перед людьми. Этого более чем достаточно для мира, но недостаточно для меня. Я постоянно подозреваю вас. В первый же

день, как я увидел вас, со мной произошло нечто удивительное. Это было дня два спустя после моего приезда; ночью, ровно в два часа, я увидел вас возле домика Марты Гудэ, у набережной; вы стояли посреди улицы, я не успел заметить, откуда вы вышли. Вы ждали, пока я пройду, а когда я поравнялся с вами, вы бросили на меня косо́й взгляд. В то время мы еще не были знакомы, но что-то заставило меня обратить на вас внимание, и внутренний голос подсказал мне, что вас зовут Юханнес. Говорю как на духу, это истинная правда, именно внутренний голос нашептал мне, что вас зовут Юханнесом и что я должен обратить на вас внимание. Лишь много времени спустя я узнал, что вас и в самом деле так зовут. С той самой ночи я старался не спускать с вас глаз, но вы всегда ускользали от меня. Мне ни разу не удалось поймать вас за руку. В конце концов вы все же вылили яд из моего пузырька, конечно, только из добрых побуждений, из благородного страха, что я, возможно, когда-нибудь решусь его выпить. Как мне вам объяснить, какие чувства все это вызывает во мне? Ваша чистота ярит меня, ваши красивые слова и поступки лишь удаляют меня от моей цели – поймать вас с поличным. Я хочу сорвать с вас маску и довести вас до того, чтобы вы обнаружили свою истинную сущность, кровь стынет в моих жилах от отвращения всякий раз, когда я вижу ваши лживые голубые глаза, я съеживаюсь в вашем присутствии и знаю только одно: вы по натуре предатель. Даже в эту минуту мне кажется, что вы втихомолку потешаетесь надо мной, что, несмотря на ваш сокрушенный вид, на это отчаяние, написанное на вашем лице, вы в глубине души заливаете свинским, хрюкающим смехом над моим бессилием обличить вас, поскольку у меня нет никаких улик.

Но и тут Минутка не произносит ни слова. Нагель продолжает:

– Вы, конечно, считаете, что я бандит, негодяй какой-то, – налетаю на вас и бросаю вам прямо в лицо такие обвинения? Хорошо, это мне безразлично, вы вольны думать обо мне все, что вам угодно. В глубине души вы сейчас все равно сознаете, что я вывел вас на чистую воду, и этого мне достаточно. Но почему вы терпите, чтобы я так с вами обращался? Почему вы не вскакиваете, не плюете мне в лицо и не уходите, хлопнув дверью?

Минутка, казалось, очнулся; он вскидывает глаза и говорит:

– Но вы ведь заперли дверь.

– Глядите-ка, вот вы и проснулись! – ответил Нагель. – Так я и поверю, что вы думаете, будто дверь и в самом деле заперта! Дверь не заперта, глядите, вот я распахиваю ее настежь! Я сказал, что она заперта, чтобы испытать вас, это была ловушка. Но дело ведь вот в чем: вы ни секунды не сомневались в том, что дверь открыта, вы только делали вид, что не знаете этого, чтобы иметь возможность сидеть здесь, как всегда, со смиренным видом: чистая, невинная душа, жертва моей несправедливости! У вас и в мыслях не было бежать отсюда, нет, вы с места не двинулись. Как только я дал вам понять, что я вас в чем-то подозреваю, вы наострили уши, вы хотели узнать, что именно я знаю, насколько я могу быть вам опасен. Видит бог, я знаю, что это так, а вы можете отрицать, если вам угодно, мне все равно... А почему, собственно, я затеял с вами это объяснение? У вас есть все основания задать мне этот вопрос, потому что, казалось бы, все это меня нисколько не касается. Нет, друг мой, ошибаетесь, меня это касается. Прежде всего, я хочу вас предостеречь. Поверьте, я говорю сейчас то, в чем искренне убежден: так или иначе, но вы ведете постыдную жизнь, до поры до времени вам это удастся скрывать, но в один прекрасный день маска спадет с вас, и каждый сможет втоптать вас в грязь. Это – первое. А второе вот что: я предполагаю, что, хотя вы это и решительно отрицаете, вы находитесь с фрекен Гудэ в более близких отношениях, чем хотите показать. Но какое мне дело до фрекен Гудэ? Опять вы правы. На такой вопрос я могу только промолчать, – до фрекен Гудэ мне меньше дела, чем до кого бы то ни было. Но именно наблюдая все это со стороны, я имею право огорчаться, что вы общаетесь с ней и, возможно, заразите ее вашей святой порочностью. Вот почему я затеял с вами это объяснение.

Нагель снова закуривает сигару и говорит:

– Ну вот, теперь я кончил, и дверь не заперта. Вас обидели? Можете смолчать, можете ответить, короче, поступайте, как вам угодно. Но если вы будете отвечать, то пусть за вас говорит ваш внутренний голос. Дорогой друг, позвольте мне также сказать вам, перед тем как вы уйдете: зла я вам не желаю.

Пауза.

Минутка встает, опускает руку в карман своего сюртука и вынимает конверт.

– Теперь я не могу принять это от вас, – говорит он.

Нагель не ожидал такого оборота, он совсем забыл про конверт.

– Вы не хотите принять это от меня? Почему?

– Я не могу принять это от вас.

Минутка кладет конверт на стол и идет к двери. Нагель кидается за ним с конвертом в руке, глаза его полны слез.

– Все-таки возьмите, Грегорд, – говорит он дрогнувшим голосом.

– Нет, – говорит Минутка. И открывает дверь.

Нагель снова притворяет дверь и говорит еще раз:

– Возьмите, возьмите! Давайте, я скажу вам, что я сошел с ума, что вы должны забыть все, что я сегодня говорил. Я просто сошел с ума, и нечего обращать внимание на то, что я нес здесь всякий вздор целый час кряду. Вы же сами понимаете, верно, что раз я не в своем уме, то нечего считаться с моими словами? Но только возьмите этот конверт, я не желаю вам зла, хотя я и совершенно невменяем. Бога ради, возьмите этот конверт, там совсем немного, поверьте, там так мало, что и говорить не о чем, но мне очень хотелось дать вам это перед тем, как нам расстаться, я все время думал о том, что надо оставить вам письмо и вложить в него какие-нибудь сущие пустяки, сколько – не имеет никакого значения, важно только, чтобы это было письмо в конверте. Примите это как прощальный привет. Вот, возьмите, прошу вас, я буду вам так искренне благодарен.

С этими словами он сует Минутке конверт и стремглав отбегает к окну, чтобы тот не мог отдать его назад. Но Минутка не уступает, он кладет письмо на стол и качает головой.

Он уходит.

Да, все складывалось как нельзя хуже. Сидел ли Нагель у себя в комнате или бродил по улицам, он нигде не находил покоя; тысячи разных мыслей вертелись у него в голове, и любая из них заставляла его страдать. Почему все оборачивалось против него? Он не мог этого понять. Но его явно опутывали какие-то нити. Дело дошло уже до того, что даже Минутку он не смог заставить принять этот злосчастный конверт, хотя так горячо этого хотел.

Все было невыносимо печально, ничего у него не получалось. К тому же его начал мучить какой-то нервный страх неизвестно перед чем, словно его где-то подстерегала тайная опасность; он часто вздрагивал, вдруг охваченный каким-то необъяснимым ужасом только от того, что шелохнулись занавески на окнах. Что это еще за новые страдания обрушились на него? Его чересчур резкие черты лица, которые и прежде нельзя было назвать красивыми, стали еще менее привлекательными от того, что он перестал бриться, подбородок и щеки обросли щетиной; ему показалось также, что волосы на висках у него еще больше поседели.

В чем же дело? Разве солнце не сияет, разве он не счастлив от того, что еще жив и может пойти, куда ему вздумается? Разве ему не открыта красота мира? Рыночная площадь и море залиты солнцем, все вокруг – словно в золотом окладе, и даже щебень на мостовой утопает в золотой пыли, а серебряный шар на шпиле колокольни сверкает на фоне чистой лазури как гигантский брильянт.

И вдруг Нагеля охватывает какая-то экзальтированная радость, он приходит в такой неопикуемый, ликующий восторг, что тут же высовывается из окна и от избытка чувств кидает детям, играющим на ступеньках перед гостиницей, горсть серебряных монет.

– Будьте умниками, милые дети! – говорит он, с трудом выдавливая из себя слова, настолько он взволнован. Ну, чего ему бояться? Да и выпадит он ничуть не хуже, чем всегда; к тому же что ему мешает пойти к парикмахеру, побриться и вообще привести себя в порядок? Ведь это зависит только от него. И он тут же отправляется к парикмахеру.

Дорогой он вспоминает, что ему надо сделать и кое-какие покупки; как бы не забыть про браслет, который он обещал Саре. По-детски беспечен, в полном ладу с миром идет он, весело напевая, по своим делам. Настроение у него прекрасное, и бояться ему совершенно нечего – все его страхи лишь плод воображения.

Это прекрасное настроение не покидает его, пока он ходит по городу, голова его полна самых светлых мыслей. Правда, у него было недавно тяжелое объяснение с Минуткой, но оно уже как-то наполовину забылось, о нем осталось лишь смутное воспоминание, словно это произошло не наяву, а во сне. Минутка отказался взять конверт, но ведь у него заготовлен еще один конверт для Марты... Сгорая от желания передать свою льющуюся через край радость другим, он тут же решает найти какой-нибудь способ доставить письмо по назначению. Как же ему это сделать? Он вынимает свой бумажник, чтобы удостовериться, что письмо все еще там. Нельзя ли его тайно переслать Дагни? Нет, Дагни посылать его все же не следует. Он задумался, он ни за что не хотел отказаться от идеи немедленно отправить письмо; собственно говоря, никакого письма не было, ни слова, в конверте лежали только несколько ассигнаций; нельзя ли попросить доктора Стенерсена выполнить это небольшое поручение? И довольный тем, что нашел выход, он направился к доктору Стенерсену.

Было шесть часов вечера.

Он стучит в дверь приемной доктора. Она оказывается запертой. Тогда он проходит через двор, чтобы спросить на кухне, где доктор, но в этот момент его окликают из сада фру Стенерсен.

В саду, за большим каменным столом хозяева дома и несколько гостей пьют кофе. Среди них и Дагни Хьеллан. На ней белая шляпа, украшенная вместо ленты венком из маленьких светлых цветочков.

Нагель хочет тут же уйти, он бормочет в виде объяснения:

– Я, собственно, к доктору, к доктору...

Боже мой, уж не болен ли он, часом?

Нет, нет, он совершенно здоров.

В таком случае они его не отпустят.

И фру Стенерсен потянула его за рукав. Дагни даже встала, она хотела посадить его на свой стул. Он посмотрел на нее, они посмотрели

друг на друга. Она даже встала ради него и сказала ему тихим голосом: «Прошу вас, возьмите этот стул!»

Но он нашел свободное место рядом с доктором и сел там.

От такого приема он несколько растерялся. Дагни ласково посмотрела на него и даже хотела уступить ему свой стул. Его сердце сильно забилося: может, он все же передаст ей письмо для Марты?

Однако немного спустя он успокоился. Разговор был очень оживленный и быстро перескакивал с одного предмета на другой; светлая радость вновь овладела им, голос его звенел от волнения. Он жив, он не умер и не умрет! Вокруг стола, накрытого белоснежной скатертью и уставленного блестящей серебряной посудой, в зеленом тенистом саду сидит небольшое общество, все радостно настроены, все смеются, у всех блестят глаза; разве есть какие-либо основания предаваться унынию?

– О, если бы вы были настолько любезны, чтобы исполнить наши желания, вы взяли бы скрипку и сыграли бы нам что-нибудь, – сказала фру Стенерсен.

Как только ей это пришло в голову!

Когда и все остальные начали его просить об этом, он громко рассмеялся и сказал:

– Да у меня и скрипки-то нет!

Но ведь можно послать за скрипкой к органисту, через минутку ее принесут.

Нет, не надо посылать, это бесполезно, он все равно до нее не дотронется. И кроме того, скрипка органиста испорчена теми рубинами, которые инкрустированы на грифе, звук ее стал от этого стеклянным, нельзя было вставлять рубины в гриф, играть на ней просто невыносимо! К тому же он уже и не владеет смычком, да, собственно, и никогда не владел, ему ведь лучше знать, верно?.. И он начал вдруг рассказывать, что с ним произошло, когда его игра в первый и единственный раз обсуждалась публично, в печати. Этот случай имеет, пожалуй, даже символическое значение. Он получил газету вечером и прочел ее, уже лежа в постели, он был тогда еще очень молод, жил дома, у родителей, и рецензия на его игру была напечатана в местной газете. О, как он был счастлив, читая эту статью! Он несколько раз ее перечитывал и наконец заснул, потушив даже свечи. Ночью он проснулся, еще смертельно усталый,

свеча догорела, и в комнате было темно; он видит, что на полу что-то белеет, а так как у него в комнате стояла плевательница, он подумал: белеет, конечно, плевательница. Стыдно сказать, но он плюнул и услышал, что попал, куда надо. Плюнув так метко, он решил еще раз попробовать, и снова плюнул и попал, потом опять улегся и заснул. А наутро увидел, что он плевал на драгоценную газету, что он оплевал эту хвалебную рецензию. Ха-ха-ха, весьма прискорбный случай!

Все посмеялись над его рассказом, за столом становилось все веселее и оживленнее. Однако фру Стенерсен сказала:

– Но вы действительно сегодня что-то бледны и выглядите хуже обычного.

– Ах, – воскликнул Нагель, – это не имеет ровным счетом никакого значения, я чувствую себя прекрасно!

И он громко рассмеялся над предположением, что он нездоров.

Но вдруг он становится пунцово-красным, встает со скамьи и говорит, что с ним действительно все же что-то не в порядке. Он сам не понимает, в чем дело, но у него такое чувство, будто с ним должно случиться нечто неожиданное, и он чего-то все время боится. Ха-ха-ха, бывало ли подобное с кем-нибудь из присутствующих? Не правда ли, смешно? И это чувство, конечно, ровно ничего не значит, верно? Ведь с ним такое уже случалось и прежде.

И все стали его просить рассказать об этом.

Да стоит ли? Глупая, пустячная история, просто жалко занимать ею время. Им быстро наскучит его слушать.

Нет, нет, ни в коем случае.

Да и рассказывать надо так долго. Началось это по ту сторону океана, в Сан-Франциско, в тот день, как он курил там опиум.

Опиум? Господи, как это интересно!

– О нет, сударыня, это скорее мучительно, раз меня теперь еще терзает беспричинный страх среди бела дня. Не думайте, пожалуйста, что я вообще курю опиум. Мне лишь дважды довелось его курить, причем второй раз и в самом деле не представляет интереса. Но в первый раз я действительно пережил нечто необычайное, это правда. Я попал в так называемый «дэн». Как я туда попал? Совершенно случайно. Я бродил по улицам, разглядывал людей, потом выбирал себе кого-нибудь и шел за ним на некотором отдалении, чтобы посмотреть, куда он меня приведет. Я без стеснения заходил вслед за

моим избранником в какие-то дома и поднимался по лестницам, чтобы увидеть, куда же он идет. В больших городах очень интересно бродить вот так, по ночам, каких только не заводишь удивительнейших знакомств!.. Но сейчас речь не об этом. Итак, я в Сан-Франциско и брожу по улицам. Ночь. Передо мной идет высокая, худая женщина, которую я не выпускаю из виду. Когда она попадает в свет газовых фонарей, мимо которых мы проходили, я успеваю разглядеть, что на ней сильно поношенное платье, но на шее крестик из каких-то зеленых камешков. Куда она идет? Пройдя несколько кварталов, она сворачивает на боковую улочку и идет дальше, а я – за нею по пятам. Наконец мы оказываемся в китайском квартале. Женщина спускается по ступенькам в подвал, я – за ней. Она идет по длинному коридору, я – за ней; по правую руку от нас каменная стена, а по левую – маленькие помещения, в одном – кофейня, в другом – цирюльник, в третьем – прачечная. Женщина останавливается перед одной из дверей, стучит, в окошечке, вделанном в дверь, мелькает чье-то лицо с раскосыми глазами, и женщину впускают. Я выжидаю некоторое время, стою, не шелохнувшись, а затем тоже стучу; дверь снова отворяется, и меня тоже впускают.

В комнате, в которой я очутился, сильно накурено и стоит гул от голосов. В сторонке, у стола, худая женщина о чем-то шепчется с китайцем в синей рубаше навывпуск. Я подхожу ближе и слышу, что она хочет получить под свой крестик какую-то сумму, но не продать его, а только оставить в залог. В дальнейшем выясняется, что речь идет о двух долларах, но женщина уже раньше сколько-то задолжала китайцу. Одним словом, он готов заплатить за крестик три доллара. Хорошо. Она вне себя от волнения, всхлипывает, ломает руки и кажется мне очень интересной; впрочем, китаец в синей рубаше тоже вызвал у меня интерес; он отказывался что-либо сделать, пока крест не будет у него в руках. Либо деньги, либо крест в залог!

– Я посижу немного, – говорит женщина. – Не торопите меня! Я знаю, что в конце концов соглашусь, никуда не денешься, но мне не следовало бы так поступать.

И она снова рыдает и ломает руки, а китаец равнодушно глядит на нее.

– Как вам не следовало бы поступать? – спрашиваю я.

Но по моему выговору она понимает, что я иностранец, и не отвечает.

Повторяю, она кажется мне необычайно интересной, и я решаю что-то для нее сделать. Например, дать ей эти деньги, чтобы посмотреть, что из этого выйдет, причем исключительно из любопытства. Кроме нужной ей суммы, я сую ей в руки еще один доллар и жду, как она им распорядится. Это вызывает у меня особый интерес.

Она благодарно поднимает на меня свои огромные глаза, но ничего не говорит, только кивает несколько раз, и глаза ее наполняются слезами, а ведь я выручил ее просто из любопытства. Хорошо. Она идет к столу, протягивает деньги китайцу и требует, чтобы ей немедленно дали комнату. Она отдала ему все деньги.

Она выходит, и я следую за ней. Мы снова идем по какому-то длинному коридору, по обе его стороны двери с номерами. Одну из этих дверей женщина отворяет и, проскользнув в комнату, захлопывает ее за собой. Я жду несколько минут, но женщина не появляется, я тихонько нажимаю на ручку двери; дверь заперта.

Тогда я захожу в соседнюю комнату и решаю ждать. В комнате большой диван, обитый красным, звонок и бра на стене. Я ложусь на диван, время тянется медленно, мне скучно. Чтобы хоть чем-то заняться, я нажимаю кнопку звонка. Мне ничего не надо, но я звоню. Появляется мальчик-китайчонок, глядит на меня и исчезает. Проходит несколько минут. «Что же ты ушел, дай-ка я еще раз на тебя взгляну», – говорю я сам себе, чтобы хоть как-то убить время. «Почему же ты не идешь?» И я снова звоню.

Китайчонок возвращается, беззвучно, словно бесплотный дух, скользит он в своих войлочных туфлях. Он не произносит ни слова, и я тоже молчу. Он протягивает мне крошечную фарфоровую трубку с длинным тонким чубуком, и я беру эту трубку. Затем он протягивает мне тлеющий уголек, и я закуриваю. Я не просил у него этой трубки, но я курю. Потом у меня начинает звенеть в ушах...

Я ничего не помню, кроме того, что я чувствовал, будто я нахожусь где-то высоко и поднимаюсь все выше и выше над землей, я парю в воздухе, вокруг меня невысказанно светло, а облака, которые бегут мне навстречу, белым-белы. Кто я такой и куда я лечу? Я поднимаюсь невероятно высоко. Я вижу вдалеке, внизу, зеленые луга,

синие моря, долины и горы в золотом сиянии. Я слышу музыку сфер, и все вокруг меня дрожит от звучащих мелодий. Но наибольшее наслаждение доставляют мне белые облака, они текут сквозь меня, и мне кажется, что я вот-вот умру от блаженства. И этому нет конца, я потерял чувство времени и забыл, кто я есть. Но вдруг какое-то земное воспоминанье пронзает мое сердце, и я тут же начинаю падать.

Я падаю, падаю, свет меркнет, вокруг меня становится все темнее и темнее. Я вижу под собой землю и уже знаю, кто я. Там, внизу, города, ветер и дым. Вдруг я перестаю падать, я оглядываюсь и вижу, что я в океане. Я больше не чувствую себя счастливым, я ударяюсь о подводные камни, мне холодно. Под ногами у меня песчаное дно, но вокруг только вода. Я плыву и вижу причудливые водоросли с плотными зелеными листьями, морские цветы, которые колышутся на длинных стеблях, – немой мир, там не услышишь ни звука, но все живет и все движется. Еще несколько взмахов – и я доплываю до кораллового рифа, однако кораллов на нем нет, их уже обломали, и я говорю себе: «Здесь был кто-то до тебя». Я не чувствую себя уже таким одиноким, раз здесь уже кто-то был. Я плыву дальше, я хочу добраться до берега, но делаю два взмаха и останавливаюсь... Я останавливаюсь потому, что вижу на дне перед собой человека. Это – женщина, длинная, худая, вся израненная, она лежит на камне. Я притрагиваюсь к ней и узнаю ее, она мертва, но я не понимаю, что она мертва. Я узнаю ее по крестик с зелеными камнями. Эта та самая женщина, за которой я шел по длинному коридору до комнат с номерами на дверях. Я хочу плыть дальше, но останавливаюсь, чтобы положить ее по-иному. Она лежит, распостертая, на большом камне, и вид ее производит на меня жуткое впечатление. Ее глаза широко раскрыты, но я все же переношу ее с камня на белый песок, я вижу крестик на ее шее и засовываю его под ворот платья, чтобы его не унесли рыбы. Потом я уплываю...

Утром мне рассказали, что ночью эта женщина покончила с собой. Она бросилась в океан с набережной в китайском квартале. На рассвете нашли ее тело. Очень странно, но она умерла. «Быть может, я снова увижу ее, если что-нибудь предприиму для этого», – подумал я... И я еще раз пошел курить опиум в надежде увидеть ее, но этого не случилось.

Как все-таки это странно... А некоторое время спустя со мной приключился еще один такой случай. Я вернулся в Европу, жил дома. Как-то теплой ночью я бродил по городу, спустился к пристани и долго стоял возле насосов, прислушиваясь к разговорам на пароходах. Все было тихо, насосы не работали. Я устал, но домой идти не хотелось, потому что было очень тепло. Тогда я забрался на один из насосов и уселся там. Ночь была такая теплая и тихая, что я не мог сопротивляться дремоте и заснул.

Я просыпаюсь от того, что меня кто-то окликает. Я смотрю вниз: там, на камнях, стоит женщина, высокая, худая, при вспышке газового фонаря я вижу, что платье ее сильно поношено.

Я здороваюсь с ней.

– Идет дождь, – говорит она.

Хорошо. Я, правда, не почувствовал, что идет дождь, но раз так, то надо где-нибудь укрыться, и я прыгаю наземь. В этот момент неожиданно раздается плухой стук, огромный рычаг мелькает в воздухе – насос заработал. Если бы я вовремя не слез, меня бы раздавило в лепешку. Я это вдруг отчетливо понимаю.

Я оглядываюсь; и в самом деле начинает моросить дождик. Женщина поворачивается и идет прочь – я пляжу и узнаю ее, и крестик у нее на шее. Я узнал ее в первый же миг, как увидел, но притворился, будто не знаю ее. Теперь же я захотел ее догнать и пошел очень быстро. Но я так и не догнал ее. Она не шла по земле, она парила, не делая никаких движений, завернула за угол и ускользнула от меня.

Это было четыре года тому назад.

Нагель замолчал. Доктор едва сдерживался, чтобы не рассмеяться, но все же он спросил как можно более серьезно:

– А с тех пор вы ее больше не встречали?

– Встречал. Сегодня утром. Поэтому меня то и дело охватывает страх. Я стоял в своем номере у окна и глядел на улицу, и вдруг она появилась и пошла прямо к гостинице. Она пересекла рыночную площадь, словно шла от пристани, от моря, остановилась под моим окном и взглянула вверх. Я не был уверен, что она глядит на меня, и перешел к другому окну, но она снова нашла меня глазами. Я поклонился ей, тогда она повернулась и быстро пошла назад через рыночную площадь, к пристани. У щенка Якобсена, который с лаем выскочил из дверей гостиницы, шерсть встала дыбом. Все это

произвело на меня впечатление. Я почти забыл ее, ведь столько времени прошло, и сегодня она вдруг снова явилась. Быть может, она хотела меня предостеречь?

Доктор расхохотался.

– Да, несомненно, – сказал он. – Она хотела вас предостеречь, чтобы вы не шли к нам.

– Нет, на этот раз она, конечно, ошиблась. Мне нечего опасаться. Но ведь в прошлый раз меня убило бы рычагом насоса, если б не она. Поэтому мне и стало жутковато. Так вы считаете, что это все пустяки? Да? Ха-ха-ха, хороши бы мы были, если б стали обращать внимание на такие вещи! Просто смешно!

– Нервы и суеверие, – поставил диагноз доктор.

Тут все наперебой стали рассказывать разные истории, а время шло, и день начал клониться к вечеру. Нагель не проронил больше ни слова, его стало знобить. В конце концов он поднялся, чтобы уйти. Он решил не обременять Дагни просьбой передать Марте письмо, лучше уж от этого отказаться. Возможно, ему удастся завтра утром где-нибудь повстречать доктора и попросить его об этой услуге. От его радостного возбуждения не осталось и следа.

Его крайне удивило, что Дагни тоже встала, как только он собрался уходить.

– Вы нарасказали здесь таких ужасов, что мне тоже стало страшно, – сказала она. – Уж лучше мне вернуться домой дотемна.

И они вместе вышли из сада. Нагель так обрадовался, что его даже перестало знобить; теперь он сможет передать ей конверт для Марты, удобнее случая не представится.

– Да, о чем это вы хотели со мной поговорить? – крикнул ему вдогонку доктор.

– Так, чепуха, – ответил он, смутившись. – Просто хотел повидать вас и... Мы ведь так давно не виделись. Прощайте!

Они шли по улице. Оба были взволнованы, не только он, но и Дагни тоже. Наконец, чтобы прервать молчание, она заговорила о погоде; какой теплый нынче вечер.

Да, тихий и теплый.

Он тоже ничего не мог сказать, он шел и глядел на нее. Те же бархатные глаза, те же светлые волосы. Его чувство, затаенное в глубине сердца, вспыхнуло с новой силой, ее близость опьяняла его,

он закрыл глаза ладонью. С каждой их встречей она казалась ему все прекрасней и прекрасней. С каждой встречей! Он разом забыл все, забыл ее насмешки, забыл, что она отняла у него Марту и безо всякой жалости заманивала его в ловушку, бросив, как приманку, свой носовой платок. Он заставил себя отвернуться, чтобы совладать с собой и не поддаться порыву. Нет, на этот раз он должен держать себя в руках. Уже дважды он ставил ее в ужасное положение своей необузданностью. Ведь он мужчина в конце концов! У него перехватывало дыхание, так он боролся с собой.

Они вышли на главную улицу. У гостиницы надо было повернуть направо. Он чувствовал, что Дагни хочет что-то сказать ему. Он молча шел рядом с нею. Может быть, она разрешит проводить ее через лес? Вдруг она обернулась к нему и сказала:

– Благодарю вас за ваш рассказ! Вам все еще страшно? Не надо бояться!

Да, нынче она и добра и мягка. И ему тут же захотелось поговорить с ней насчет письма.

– Я хотел попросить вас об одном одолжении, – сказал он. – Но, наверное, мне не следует к вам обращаться, вряд ли вы пожелаете что-нибудь для меня сделать.

– Но почему же? С величайшим удовольствием, – ответила она.

Она сказала, что сделает это с удовольствием! И Нагель сунул руку в карман за письмом к Марте.

– Я хочу попросить вас передать это письмо. Собственно, даже не письмо, а... Тут нет ничего важного, но... Это для фрекен Гудэ, быть может, вы знаете, где сейчас находится фрекен Гудэ? Она ведь уехала.

Дагни остановилась. Она посмотрела на него странным взглядом, и словно какая-то тень промелькнула в ее синих глазах; несколько мгновений она стояла совершенно неподвижно.

– Для фрекен Гудэ? – переспросила она наконец.

– Да. Если бы вы были настолько любезны. Когда вам будет удобно, это не к спеху...

– Да, да, – сказала она, как бы очнувшись, – давайте его сюда, не беспокойтесь, я передам фрекен Гудэ письмо от вас. – И, спрятав конверт в карман, она неожиданно кивнула головой и добавила: – Да, да, и спасибо за этот вечер. А теперь мне надо идти.

Она снова посмотрела на него и ушла.

Он стоял, не двигаясь с места. Почему она так резко оборвала разговор? Уходя, она посмотрела на него безо всякой злобы. Даже наоборот. И все-таки она ушла как-то вдруг, внезапно. Вот она сворачивает на дорогу, ведущую к пасторской усадьбе... Вот она скрылась за поворотом...

Когда она исчезла из виду, он медленно пошел в гостиницу. Она была в белоснежной шляпе... И так странно посмотрела на него...

Каким странным взглядом посмотрела она на него. Он не понял его значения. Но в следующий раз, когда он ее снова встретит, он постарается искупить свою вину, если он в чем-то провинился. Какая тяжесть у него в голове. Однако пугаться нечего, слава богу, хоть этого он может не опасаться.

Он сел на диван и принялся листать какую-то книгу, но ему не читалось. Он встал и в тревоге подошел к окну. Он не решался признаться себе в этом, но он не хотел глядеть в окно из страха, что увидит там что-то необъяснимое. У него задрожали колени. Что это с ним творится? Он снова сел на диван и уронил книгу на пол. Голова у него разламывалась, он чувствовал себя совершенно больным. У него жар, в этом нет сомнения. Он ведь провел две ночи кряду в лесу, и это не прошло для него безнаказанно – он продрог и простудился. Его начало знобить, еще когда он сидел у доктора в саду.

Ну, да он скоро поправится! Он не имел обыкновения обращать внимания на такие пустячные простуды; завтра он снова будет здоров! Он позвонил и велел подать коньяку, но коньяк не оказал на него никакого действия, он даже не опьянел, он только зря выпил несколько стаканов. Ужаснее всего было то, что в голове у него все стало путаться, он уже не в силах додумать что-либо до конца.

Как, однако, ухудшилось его состояние за какой-нибудь час! Что это? Почему колышутся занавески, ведь нет никакого ветра? Что бы это означало? Он снова встал и посмотрел в зеркало – вид у него был несчастный и больной, и веки совсем красные... «Вам все еще страшно? Не надо бояться...» Прелестная Дагни... Подумать только – белоснежная шляпа!

Стук в дверь, входит хозяин. Хозяин принес наконец счет, длинный счет на двух листках; он улыбается и вообще необычайно любезен.

Нагель тут же вынимает бумажник и начинает судорожно искать деньги, но при этом спрашивает, дрожа от ужаса, сколько же он должен; хозяин отвечает. Впрочем, это ведь прекрасно можно отложить на завтра или на любой другой день.

Боже мой, сможет ли он вообще уплатить по счету? А вдруг не сможет? И Нагель не находит в бумажнике денег. Что? У него вообще нет больше денег? Он бросает бумажник на стол и начинает шарить у себя в карманах, он совсем растерялся и в отчаянии ищет повсюду; в конце концов он даже лезет в карманы брюк, вытаскивает оттуда какую-то мелочь и говорит:

– Вот немного денег, но этого, пожалуй, не хватит, нет, конечно, не хватит! Посчитайте сами.

– Да, – подтверждает хозяин, – этого не хватит.

На лбу у Нагеля выступает пот, он сует хозяину эти несколько крон, он продолжает шарить по карманам, лезет даже в карманы жилета, может, там завалялась какая-нибудь мелочь. Однако и там ничего нет. Но ему, наверное, удастся взять хоть немного денег в долг, может, кто-нибудь окажет ему эту услугу и даст ему займы небольшую сумму! Видит бог, кто-нибудь поможет ему, если он попросит.

Хозяин уже не скрывает своего недовольства, ему даже изменяет его обычная вежливость, он берет со стола бумажник Нагеля и сам начинает искать в нем деньги.

– Да, пожалуйста, посмотрите, – говорит Нагель, – сами видите, здесь одни только бумаги. Я не понимаю, в чем дело.

Но хозяин открывает внутреннее отделение и тут же роняет бумажник на стол; лицо его расплывается в широкую, изумленную улыбку.

– Вот они где! – восклицает он. – Да здесь тысячи! Выходит, вы изволили шутить, вы хотели проверить, понимаю ли я шутки?

Нагель обрадовался, как ребенок, и тут же ухватился за предложенное ему объяснение.

– Ну, конечно, я пошутил, мне вдруг пришло в голову разыграть вас таким образом. У меня еще, слава богу, много денег; посмотрите, прошу вас, посмотрите только!

В бумажнике действительно лежала целая пачка банкнот, большая сумма в ассигнациях по тысяче крон; хозяину пришлось даже ходить менять деньги, чтобы получить то, что ему причиталось. Но еще долго после того, как он ушел, Нагель дрожал от волнения и на лбу у него все еще выступали крупные капли пота. Как он расстроен! Какая гулкая пустота у него в голове!

Потом он лег на диван и впал в тревожное забытие; он метался во сне, громко разговаривал, пел, требовал коньяку и пил его в полусне; он весь горел от жара. Сара ежеминутно заходила к нему, и хотя он все время с ней разговаривал, она мало что понимала из его слов. Он лежал с закрытыми глазами.

Нет, он не хочет раздеваться. Как ей это только могло прийти в голову? Раздеваться посреди дня? Ведь сейчас день, верно? Он явственно слышит щебет птиц. И доктора пусть не зовет. Нет, доктор даст ему желтую мазь и белую мазь, а потом их перепутают, будут накладывать одну вместо другой, и он тут же умрет. Вот и Карлсен умер от этого, она ведь еще помнит Карлсена? Да, да, он умер именно от этого. Так или иначе, но у Карлсена в горле застрял крючок от удочки, а когда пришел доктор со своими лекарствами, выяснилось, что Карлсен задохся, выпив пузырек самой обыкновенной колодезной воды. Ха-ха-ха, хотя и смеяться над этим грешно... Сара, не думайте, что я пьян. Что? «Ассоциация идей», слышите? Я могу это произнести... И слово «энциклопедисты» тоже. Погадайте на пуговицах, Сара, и скажите, пьян я или нет... Послушайте, вот начали работать мельницы, городские мельницы! Господи, в какой дыре вы живете, Сара! Мне хотелось оградить вас, чтобы ваши враги вас не преследовали, так это написано. Убирайтесь ко всем чертям, убирайтесь ко всем чертям! И вообще, кто вы такая? Все вы обманщики, я выведу вас на чистую воду. Не верите? О, я всех вас вижу насквозь! Я не сомневаюсь, что лейтенант Хансен в самом деле обещал Минутке две шерстяные фуфайки, посмотрим, получит ли он их. И вы думаете, что Минутка осмелится когда-нибудь это подтвердить? Разрешите вывести вас из этого заблуждения: Минутка *никогда* не осмелится этого подтвердить, он увильнет от ответа! Можете не сомневаться. Если я не ошибаюсь, то вы, господин Грегорд, сидите себе вон там в сторонке и снова по-свински ухмыляетесь, заслонившись газетой. Разве нет? Ну да мне-то что... Вы еще здесь, Сара? Хорошо! Если вы посидите со мной еще пять минут, я вам расскажу одну вещь. Договорились? Но прежде представьте себе человека, у которого постепенно выпадают брови. Вы в состоянии это запомнить? Человек, у которого выпадают брови. Затем позвольте спросить вас, приходилось ли вам когда-нибудь лежать на кровати, которая скрипит? Погадайте на пуговицах и

скажите, было ли это или нет. Я сильно вас в этом подозреваю. Впрочем, здесь, в городе, у меня все на подозрении, и я ни с кого глаз не спускаю. Да, впрочем... И я хорошо справился со своим делом, я дал вам не меньше двух десятков тем для разговора и внес смуту в вашу жизнь, благодаря мне разыгрывалась одна бурная сцена за другой, и они прерывали ваше уныло пристойное и тупое благополучие. Хо, хо, как гудят мельницы, как гудят! А засим я советую вам, досточтимая девица Сара, дочь Иосифа, есть бульон, пока он горячий, потому что, если он постоит и остынет, он превратится, разрази меня господь, в чистейшую воду... Еще коньяку, Сара, у меня болит голова, виски, затылок, болит так, что просто невыносимо...

– Может, выпьете чего-нибудь горячего? – спросила Сара.

Горячего? Что это ей опять пришло в голову? Ведь тут же весь город узнает, что он пил что-то горячее. Имейте в виду, он вовсе не желает возбуждать недовольство, он намерен вести себя как честный налогоплательщик, гулять по дороге, ведущей в пасторскую усадьбу, только с самыми благими намерениями и не расходиться так вызывающе во мнениях с другими людьми, он клянется в этом... Пусть она не боится. Правда, голова еще свинцовая, да и не только голова, но он нарочно не раздевается, чтобы не разбаливаться. Как говорится, надо клин клином вышибать.

Ему становилось все хуже, и Сара сидела как на иголках. Ей очень хотелось уйти, но стоило ей только сделать движение, он это замечал и спрашивал: неужели она его покинет? Она снова садилась и ждала, чтобы он, утомившись от разговора, забылся, наконец, сном. А он все говорил и говорил без умолку, хотя и лежал с закрытыми глазами, и лицо его так и пылало. Он нашел новый способ избавить кусты смородины в саду у фру Стенерсен от тли. Способ этот очень прост: в один прекрасный день он купит в лавке целое ведро жидкого парафина, потом отправится на рыночную площадь, снимет там башмаки, нальет в них парафин, подожжет их, сперва один башмак, затем другой, и пустится в пляс вокруг них в одних носках, и будет петь. Он это непременно сделает в ближайшее утро, как только выздоровеет, он устроит настоящий цирк, эдакую лошадиную оперу, и будет щелкать кнутом.

Потом он стал награждать странными и потешными титулами своих знакомых. Так, например, поверенного Рейнерта он величал Бильге, утверждая при этом, что Бильге – это титул. Господин Рейнерт, высокочтимый Бильге нашего города, говорил он. В конце концов он понес нечто совсем несусветное, почему-то стал вычислять высоту потолков в доме консула Андерсена. Три с половиной локтя. Три с половиной локтя! – выкрикнул он несколько раз подряд. Три с половиной локтя, конечно, приблизительно. Разве я не прав? Но если говорить серьезно, то в горле у него в самом деле застрял рыболовный крючок, он не лжет, это истинная правда, он захлебывается кровью, и ему очень больно.

Только к вечеру он наконец заснул.

Часов около десяти он вдруг проснулся. Он был один в комнате и по-прежнему лежал на диване. Одеяло, которым его накрыла Сара, валялось на полу, но его уже не знобило. Сара, уходя, закрыла окна, но он их снова распахнул. Ему казалось, что голова его уже совершенно ясна, но он совсем обессилел, ноги у него подкашивались. Беспричинный страх снова овладел им. От малейшего скрипа в комнате или от голоса, доносившегося с улицы, ужас пронзал его до мозга костей. Быть может, если он ляжет в постель и проспит до утра, это пройдет. Он разделся.

Но заснуть не мог. Он лежал и перебирал в памяти все, что пережил за последние сутки, со вчерашнего вечера, когда он отправился в лес и выпил содержимое пузырька, до этого часа, когда он лежит у себя в номере, совсем разбитый и изнуренный жаром. Как нескончаемо долго тянулись эта ночь и этот день! И страх не покидал его, тупое, необъяснимое предчувствие, что его подстерегает беда. За что же это все? Какие странные шорохи раздаются вокруг его кровати. Комната наполнена каким-то жутким свистящим шепотом. Он сложил руки на груди, и ему показалось, что он засыпает. Вдруг взгляд его случайно падает на пальцы, и он видит, что нет кольца. Сердце его тут же начинает бешено колотиться. Он разглядывает палец: на нем едва различимая темная полоска, а кольца нет! Боже праведный, где же кольцо? Ах да, он ведь бросил его в море, он думал, что оно ему больше не понадобится, он ведь должен был умереть, и он сам бросил его в море. А теперь кольца нет, нет кольца!

Он разом вскакивает с кровати. Одевается впопыхах и мечется как одержимый по комнате. Сейчас десять, до полуночи кольцо должно быть найдено, крайний срок – последний, двенадцатый удар! Кольцо, кольцо...

Он стремительно сбегает вниз, выскакивает на улицу и во весь дух мчится к пристани. Из гостиницы его провожают удивленные взгляды, но он не обращает на это никакого внимания. Он снова смертельно устал, ноги у него подкашиваются, но он не замечает этого. Да, наконец-то он нашел причину того тягостного страха, который терзал его весь день, – у него не было больше его железного кольца! И женщина с крестом снова явилась ему...

Вне себя от ужаса, он кидается к первой попавшейся лодке, стоящей у причала, но лодка на цепи, и он не может отомкнуть замка. Он подзывает какого-то человека и просит его помочь, но человек отвечает, что не может этого сделать, потому что это – чужая лодка. Конечно, но Нагель берет всю ответственность на себя, необходимо найти кольцо. Он охотно купит эту лодку. Но разве он не видит цепи? Тогда придется взять другую лодку.

И Нагель прыгает в другую лодку.

– Куда вы? – спрашивает человек, которого окликнул Нагель.

– Я должен найти кольцо. Может быть, вы меня знаете? Видите след на пальце – значит, я не лгу; я бросил это кольцо в море, оно где-то там, на дне.

Человек ничего не понял.

– Вы что, хотите найти кольцо на дне морском?

– Да, да, вот именно! – подхватил Нагель. – Я вижу, вам все ясно. Я должен во что бы то ни стало найти кольцо, вы тоже это прекрасно понимаете. Садитесь со мной и гребите!

– Вы что, на самом деле хотите найти кольцо, которое бросили в море? – переспросил этот человек.

– Да, конечно же! Садитесь скорей. Я дам вам за это много денег.

– Господь с вами, что вы придумали? Вы хотите найти кольцо и достать его рукой, так, что ли?

– Да, рукой. Впрочем, мне все равно как. Когда надо, я могу плавать, как угорь. А может быть, мы придумаем и другой способ.

И незнакомый человек прыгает в лодку. Он садится, чтобы обсудить это дело, но, разговаривая с Нагелем, он все время

отворачивается. Ведь это действительно дурацкая затея – попытаться найти такую крошечную вещицу. Вот если бы речь шла о якоре или цепи, то в этом был бы еще какой-то смысл, но кольцо! Да к тому же точно не зная, куда оно упало!

Нагель и сам начинает понимать всю бессмысленность этого предприятия. Но тогда он решительно не знает, что делать, тогда он пропал... Глаза его остекленели, его трясет не то от страха, не то от лихорадки. Он порывается прыгнуть за борт, но незнакомец крепко хватается его и усаживает на скамью. Нагель тут же сникает, он устал, смертельно устал, он слишком слаб, чтобы с кем-то бороться. Боже милосердный, как ужасно все складывается! Кольцо потеряно, скоро пробьет двенадцать, а кольца нет! Недаром ему был подан знак...

Вдруг в мыслях его наступает полная ясность, и за эти несколько мгновений незатемненного сознания он успевает бог весть сколько передумать. Он вспоминает также – и как только он упустил это из виду, – что еще позавчера вечером написал прощальное письмо сестре и бросил его в почтовый ящик. А он еще жив. Но письмо уже в пути, его нельзя остановить, оно уже далеко отсюда и неизбежно дойдет до адресата. Когда сестра его получит, он обязательно должен быть мертв. Да к тому же и кольцо пропало, так что выхода нет...

Он лязгает зубами и беспомощно озирается по сторонам, море – вот оно, совсем рядом, стоит ему только прыгнуть – и конец. Он косится на человека, сидящего на корме, тот по-прежнему отворачивает от него лицо, но при этом зорко следит за ним и готов схватить его при первом же движении. Но почему же он все время отворачивает лицо?

– Дайте-ка я помогу вам выйти из лодки, – говорит этот человек, обхватывает его и вытаскивает на берег.

– Спокойной ночи, – говорит Нагель и шагает прочь.

Но человек идет за ним следом, он явно не доверяет ему и во все глаза следит за каждым его движением. Нагель в ярости оглядывается, повторяет еще раз: «Спокойной ночи», – и тут же кидается к краю причала, чтобы прыгнуть в воду.

А человек снова хватается его.

– Ничего у вас не выйдет, – шепчет он Нагелю прямо в ухо. – Вы слишком хорошо плаваете, вам не удастся утонуть.

Нагель останавливается и задумывается. Да, он и в самом деле очень хорошо плавает, быть может, ему и не удастся утонуть. Он смотрит на этого человека, заглядывает ему прямо в лицо: перед ним страшная рожа – это Минутка.

Снова Минутка! Опять Минутка!

– Провались ты к черту в пекло, мерзкая, гнусная гадина! – кричит Нагель и убегает. Он качается, словно пьяный, спотыкается, падает и снова поднимается на ноги, все кружится у него перед глазами, но он продолжает бежать, бежать по направлению к городу. Второй раз Минутка срывает его план. Господи, что же делать? Как все мелькает кругом. Что за странный гул стоит в городе. И Нагель снова падает на землю.

С усилием встает он на колени и в ужасе поводит головой из стороны в сторону. Слышишь, с моря кто-то зовет! Скоро пробьет полночь, а кольца все нет. И за ним ползет какая-то тварь, он слышит, как шуршит под ней земля, это пресмыкающееся с отвислым брюхом оставляет за собой мокрый след, – этаким омерзительный живой иероглиф с лапами, растущими на голове, и огромным желтым когтем на носу. Прочь, прочь! Снова доносится зов с моря, и Нагель с воплем затыкает уши, только чтобы не слышать его.

Он вскакивает на ноги. Еще не все пропало, есть еще последнее средство, надежный шестизарядный револьвер, лучшая в мире вещь! И Нагель плачет от радости, он бежит со всех ног и плачет, исполненный благодарности за то, что появилась новая надежда. Но вдруг он вспоминает, что сейчас ночь, что все лавки закрыты, и он не сможет купить револьвер. И, сраженный отчаянием, он падает как подкошенный лицом вниз, лбом оземь, но даже не вскрикивает.

В этот момент из дверей гостиницы выходит хозяин и еще несколько человек, чтобы узнать, что с ним.

Тут Нагель проснулся и в недоумении обвел глазами комнату. Значит, все это ему приснилось. Значит, в конце концов он все-таки заснул. Слава богу, все это только приснилось, он не вставал с кровати.

Несколько мгновений Нагель лежит неподвижно и думает. Он подносит руку к глазам: кольца нет. Он глядит на часы – полночь. Двенадцать часов ночи без нескольких минут. Быть может, беда

миновала, быть может, он спасен! Но сердце его отчаянно колотится, и он дрожит с головы до ног. Быть может, быть может, пробьет двенадцать, и ничего не случится. Он еле удерживает часы в дрожащей руке. Он считает минуты... секунды...

Вдруг часы падают на пол, и он в ужасе вскакивает.

– Зовет! – шепчет он и, не мигая, смотрит в окно. Он торопливо натягивает на себя то, что попадает под руку, открывает дверь и стремглав выбегает на улицу. Он боязливо озирается по сторонам, но никто как будто его не заметил. Со всех ног несется он к пристани, и шелковая спинка его жилета долго белеет в темноте. Вот он уже на набережной, он добегают до конца причала и прыгает в море.

Несколько пузырей появилось на поверхности воды.

На другой год, в апреле, поздно ночью Дагни и Марта вместе шли по городу. Они провели вечер в гостях и теперь возвращались домой. Было темно, да и лед кое-где еще не стаял, поэтому они шли очень медленно.

– Я все думаю о том, что сегодня говорили про Нагеля, – сказала Дагни. – Многое было для меня неожиданно.

– А я ничего не слыхала, – ответила Марта, – я как раз выходила из комнаты.

– Но одного никто из них не знает, – продолжала Дагни. – Нагель еще прошлым летом уверял меня, что Минутка плохо кончит. Не понимаю, как он уже тогда мог это знать. Он говорил об этом задолго, задолго до того, как ты рассказала мне, что Минутка сделал с тобой.

– Неужели он уже тогда говорил это?

– Да.

Они свернули на дорогу, ведущую к пасторской усадьбе. По обе стороны темнел молчаливый лес. Глухую тишину нарушало только постукивание их каблучков по мерзлой, твердой земле.

Они долго шли, не говоря ни слова, потом Дагни сказала:

– Здесь он обычно гулял.

– Кто? – спросила Марта. – Как скользко! Возьми меня под руку.

– Нет, лучше ты меня.

И они молча пошли дальше, рука об руку, прижавшись друг к другу.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке TheLib.Ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)